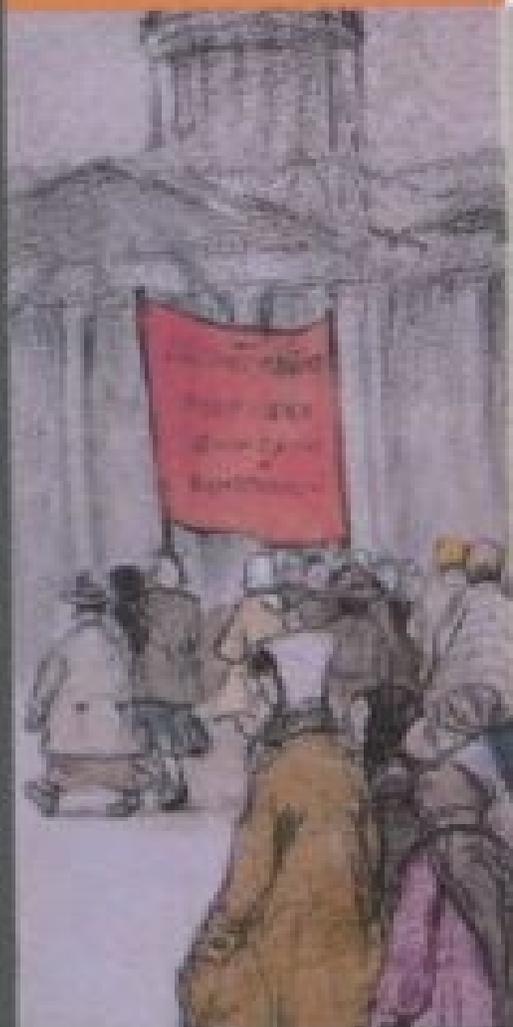


# ЗОЩЕНКО



Бернгард  
Рубен



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Имя одного из немногих оригинальных и самобытных писателей советской эпохи Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958) — создателя знаменитых *зощенковских* рассказов, а также «Сентиментальных повестей», «Возвращенной молодости», «Перед восходом солнца» и других ярких сатирических произведений является неотъемлемой частью русской литературы XX столетия.

Михаила Зощенко долгое время считали популярным, общедоступным юмористом, более того — «смехачом». Но те, кто охватывал советскую реальность во всей ее сути, видели в нем глубокого сатирика и сравнивали с Гоголем. Об этом свидетельствует посмертное писательское воскресение Зощенко в постсоветское время.

В книге Бернгарда Рубена с привлечением обширного документального материала подробно прослеживается сложная творческая и человеческая судьба писателя, произведения и сама жизнь которого отразили современную ему эпоху, когда в России произошел разрыв времен, разлом истории.

- 
- [Б. С. Рубен](#)
    - [ДО ОКТЯБРЯ](#)
      - [1. «МИРНОЕ ВРЕМЯ»](#)
      - [2. ОФИЦЕР-ФРОНТОВИК](#)
      - [3. МЕЖВРЕМЕНЬЕ](#)
    - [СОКРОВЕННЫЙ ПОВОДЫРЬ](#)
      - [1. ХОЖДЕНИЕ В НАРОД](#)
      - [2. «ЛИТИНСТИТУТ»](#)
      - [3. НОВЫЙ ВЗГЛЯД](#)
    - [ВХОЖДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ](#)
      - [1. ДИСК](#)
      - [2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ](#)
      - [3. «СЕРАПИОНЫ БРАТЬЯ»](#)
    - [НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ](#)
      - [1. ПУТЬ ОТКРЫТИЙ](#)
      - [2. ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УСПЕХ](#)
      - [3. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ](#)

- 4. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
- НЕПРОЧТЕННЫЙ ЗОЩЕНКО
- КОНЕЦ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
  - 1. НЕВРОТИЧЕСКИЙ НЕДУГ
  - 2. ПРЕСС ВРЕМЕНИ
  - 3. ТЯГА К ОРДИНАРНОСТИ
  - 4. «АРЬЕРГАРДНЫЕ БОИ»
- ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
  - 1. «СМЕНА КУРСА»
  - 2. СОЦРЕАЛИСТ
  - 3. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
  - 4. «ПИР» И «ЧУМА»
  - 5. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
- ПОСЛЕДНИЙ ВЗЛЕТ
  - 1. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
  - 2. ПОВЕСТЬ «ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА»
  - 3. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ИСЦЕЛЕНИЯ
- ОБВАЛ
  - 1. В МОСКВЕ
  - 2. ОБРЫВ ПУБЛИКАЦИИ ПОВЕСТИ
  - 3. ПЕРВЫЙ КРУГ ХУЛЫ
  - 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД
- КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
  - 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
  - 2. ПУБЛИЧНОЕ ПОНОШЕНИЕ
  - 3. ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ
- ЭПИЛОГ
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
  - ПРОТОКОЛ БЕСЕДЫ М. М. ЗОЩЕНКО С СОТРУДНИКОМ ЛЕНИНГРАДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НКГБ 20 июля 1944 г.
  - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
  - РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1946 ГОДА
  - ВЫСТУПЛЕНИЕ М. М. ЗОЩЕНКО НА СОБРАНИИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
  - Вера Зощенко
  - ПИСЬМО Л. ПАНТЕЛЕЕВА Л. К. ЧУКОВСКОЙ[22]
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. М. ЗОЩЕНКО](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
-

**Б. С. Рубен  
Зощенко**

*Посвящается моей жене и помощнице Раисе  
Моисеевне Рубен*



*Мих. Зощенко*

## ДО ОКТЯБРЯ

### 1. «МИРНОЕ ВРЕМЯ»

Всякий раз для свершения высокой судьбы художника должны были совпасть — в единственном своем сочетании — и дарованный ему талант, и родовой исток, и его душа, ум, характер, и внешние пути, обстоятельства его жизни в данном ему времени. И в этом наличии, сочетании, совпадении — все таинство...

Михаил Михайлович Зощенко родился в Петербурге, но в одной из ранних печатных справок местом своего рождения он назвал Полтаву. Полтава была указана и в статье о нем в первой советской литературной энциклопедии, вышедшей в тридцатые годы. И дата рождения имеет два варианта: 1895 год — если придерживаться его собственных многочисленных автобиографических заметок (эта дата была указана также на его первом надгробии), или год 1894-й — принятый по уточняющим документальным разысканиям, на основании которых отмечался и его столетний юбилей. Такая изначально обозначившаяся *вариантность* жизненных координат проявлялась потом в судьбе Зощенко неоднократно.

Отец его, Михаил Иванович Зощенко, был художником («талантливым художником-передвижником», написал впоследствии о нем сын). И — потомственным дворянином. Ввиду того, что в послеоктябрьскую эпоху социальное происхождение приобрело особо острую значимость, писатель Зощенко постоянно указывал этот биографический факт в печати — не скрывая и не отрекаясь от своего родословия. Еще о родителях: отец — украинец, из Полтавской губернии, мать Елена Иосифовна (Осиповна), урожденная Сурина, русская, в молодости была актрисой. Таким образом, с его природной смуглостью, чернобровостью, чуть певучим голосом, томным выражением лица и затаенной насмешливостью в темно-карих глазах, с его элегантностью, независимо от того, что на нем надето (как описывал его в своих воспоминаниях Корней Иванович Чуковский, считая одним из самых красивых людей, виденных им), с его врожденной деликатностью, вниманием к каждому человеку, с которым он общался, и со всем присущим ему интеллигентным стилем поведения — Зощенко можно было бы определить как *петербуржца полтавского происхождения*.

В семье М. М. Зощенко сохранились документы, содержащие сведения о генеалогии их рода. И на основании копии свидетельства из Полтавского

Дворянского Собрания, выданного его отцу «Дворянину Михаилу Ивановичу Зоценко для уверения о дворянском его происхождении», Михаил Михайлович Зоценко составил свою родословную, включив в нее сына и внука. Эта родословная была названа им «Автобиография», отпечатана на машинке, но не имеет даты. Очевидно, составлена она была в конце сороковых годов, в самое тяжелое время его жизни, когда он искал опоры в себе. Приведем ее текст:

«Бумага, выданная полтавским Дворянским Депутатским собранием 12 декабря 1875 года дворянину Михаилу Ивановичу Зоценко (моему отцу), в которой сказано:

Просителя М. И. Зоценко причислить к роду дворян Зоценков.

Состоит в 3 части Дворянской родословной книги Полтавской губернии.

В приложении:

Из представленных при прошении документов значится:

1. Копия аттестата, выданного 25 (1) 1867 г. за № 1352 из попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного Края России отцу просителя, Ивану Николаевичу Зоценку.

(Прапрадед) иностранный архитектор, „зодчий“, вероятно, получивший при крещении имя Аким.

Сын его, Николай Акимович, получил дворянство по собственным заслугам. (Как сказано.) Из чего явственно, что прадед мой был иностранцем, получившим дворянство по собственным заслугам. Но дворянство это — не национальное, *столбовое* российское дворянство.

Откуда приехал иностранный архитектор — мне неизвестно. Моя мать — русская. Однако ее прабабка — гречанка.

Прапрадед — иностранный переселенец Аким Зоценко, прибывший в Россию в 1789 г.

Сын Николай Акимович — прадед, получивший дворянство.

Сын Иван Николаевич — дед.

Сын Михаил Иванович — отец.

Сын Михаил Зоценко.

Сын Валерий Михайлович.

Сын Михаил Валерьевич».

(В самой копии свидетельства из Полтавского Дворянского Собрания дата его выдачи указана «Декабря 12 дня 1885 года».)

Детство и юность Зоценко прошли в годы царствования Николая II, последнего российского императора. Эти годы позднее называли «мирным временем», поскольку они предшествовали Первой мировой войне, хотя на

тот период выдались и Русско-японская война, и революционные волнения с вооруженными выступлениями 1905 года. Но на семье Зощенко, как и на многих других, эти события не отразились.

Семья жила на уровне тогдашнего небогатого приличного достатка — с кухаркой и няней для детей, в обширной петербургской квартире, где имелись гостиная, столовая, кабинет отца, две детские комнаты, спальня родителей, комната прислуги (помимо, конечно, большой прихожей, кухни, ванной, кладовки). У отца на той же улице, через три дома, находилась отдельная вместительная мастерская, заполненная его картинами. На лето семья, в которой было восемь детей — пять девочек и три мальчика, — непременно выезжала на дачу.

В автобиографической повести «Перед восходом солнца» в главе «Страшный мир» Зощенко вспоминает ряд *сцен* из своего детства и отрочества, с 5 до 15 лет. В них отразились как его городская жизнь, так и дачная, летняя, когда совершалось первое соприкосновение его с природой, с деревней.

Из тех детских дачных впечатлений запомнились: знакомство с пастухом Андрюшкой, который повелевал целым стадом коров, вызывавших у городского мальчика Миши неудержимый страх; ужасные переживания в момент грозы, застигшей его и двух сестер в поле, когда они едва успели укрыться в доме; езда в телеге и удовлетворенное страстное желание самому, как хозяйский сынишка Васютка, править лошадью — держать в руках вожжи, покрикивать на лошадь и поворачивать ее в нужную сторону; зрелище пожара, поглотившего один из домов поселка; злая шутка над ним деревенских мальчишек, заманивших его, не умеющего плавать, в реку и толкнувших на глубокое место, где он вдосталь наглотался воды, пока они не спеша выволокли его на берег...

А насыщенная городская жизнь была заполнена бытом семьи, учебой в гимназии, взаимоотношениями с ровесниками. В детские годы среди сестер и братьев главенствовала, очевидно, старшая сестра, рослая и бойкая Леля, звавшая его Минькой. Ее он запечатлел впоследствии в цикле своих детских рассказов с широко известным рассказом «Елка», который уже много лет продолжают читать своим детям сменяющиеся поколения матерей.

Родители любили его, мать называла Мишенькой, но не спускала очевидных провинностей и в таких случаях брала в руки поясок, приговаривая: «Пойдем, я тебя немножко попорю, чтоб ты лучше помнил о том, что не следует делать». Отец же воспитывал словом и подчас ставил его в положения, когда проверялось, насколько он действительно добрый,

не жадный мальчик.

Отношения между его родителями не всегда были благополучными. Михаил Иванович — высокий, со вкусом одетый, красивый, с черной бородой, как запомнил его маленький Миша, — имел успех у женщин. Он был на восемнадцать лет старше жены. Елена Осиповна догадывалась о его увлечениях, страдала, но никаких объяснений при детях они не допускали. На некоторое время отец уходил из дома и жил в своей мастерской. Потом возвратился в семью. Он умер в возрасте пятидесяти лет от разрыва сердца, как тогда называли инфаркт. Этот роковой сердечный приступ случился дома, на глазах у сына. Смерть отца и его похороны стали самым сильным потрясением мальчика в отрочестве. Он впервые пришел на кладбище, присутствовал в церкви на отпевании сразу нескольких покойников. Гроб отца выносили из церкви художники, товарищи отца. Впереди на бархатной подушке несли орден Святого Станислава 3-й степени, который Михаил Иванович получил за свою мозаичную картину «Отъезд А. В. Суворова из села Кончаковского в поход 1799 года» на стене Суворовского музея. Его картины имелись также в Третьяковской галерее, в Академии художеств, а в советское время — в Музее революции.

Учился в гимназии Зоценко плохо. Даже по тем предметам, которые были ему интересны и которые он знал отлично — ботаника, зоология, — получал тройки. Интересовался он и историей, но не в изложении принятого в гимназии учебника. Учителя считали его рассеянным и обращали внимание родителей на то, что он сидит за партой так, будто происходящее в классе на уроке его не касается.

У него рано и остро выявилось чувство собственного достоинства. Был случай, когда учитель истории произнес его фамилию каким-то повизгивающим, глумливым голосом, не как обычно, а ученики в классе, сразу уловив эту интонацию, поспешили ее подхватить. Зоценко было неприятно, что его вызвали таким тоном, но он хорошо отвечал урок, пока дополнительный вопрос, прозвучавший опять насмешливо, не сбил его. И учитель, пренебрежительно махнув на него рукой, поставил ему двойку. По окончании урока Миша Зоценко бросился за учителем и догнал его на лестнице. Увидев лихорадочно взволнованного ученика, учитель сказал, что спросит его в конце четверти еще раз и натянет тройку. Но Миша Зоценко выпалил, что дело не в этом, что он плюнет в него, если тот еще раз произнесет его фамилию подобным тоном. Учитель потащил было его в директорскую, но вдруг отпустил и велел идти в класс. Через несколько дней, тихо, спокойно произнеся его фамилию, учитель снова вызвал его

отвечать и поставил исчерпывающую эпизод тройку.

Запомнилось Зоценко и испытанное им состояние унижения, когда он вместе с матерью очень долго ждал, сидя на деревянном диване перед мраморной лестницей, пока к ним спустится известный художник и влиятельное лицо в Академии художеств П. П. Чистяков. Мать, взяв с собой двенадцатилетнего сына, пришла к нему в этот богатый особняк уже как вдова художника Зоценко, о чем и просила швейцара доложить «его превосходительству». «Его превосходительство» не пригласил их подняться в свои хоромы, передал, чтобы обождали внизу. Во время ожидания между матерью и сыном состоялся краткий разговор:

«— Если он так долго не идет, значит, он не нуждается в нас. Мама, давай уйдем.

— Не он, а мы нуждаемся в нем. Сейчас, когда папа умер, мы должны получить пенсию. А сколько мы получим, это будет зависеть от Павла Петровича».

Через час по лестнице спустился старик в черном сюртуке и в ответ на почтительный поклон вдовы и высказанную ею просьбу брюзгливо ответил что-то неслышное стоявшему в стороне мальчику. Беседа длилась три минуты. Но мальчик запомнил во всех подробностях поведение этого сановника: и то, как он невежливо разговаривал с его матерью, как сразу отвернулся от нее, едва попрощавшись, и как совсем проигнорировал присутствие здесь же сына умершего художника...

Это обостренное чувство собственного достоинства и неприятие обиды толкнуло его в юности даже на крайний поступок — на попытку самоубийства. На выпускном экзамене в гимназии он получил единицу за сочинение на тему о тургеневских героинях, о Лизе Калитиной. Сама тема ему, более склонному к народному восприятию жизни, не представлялась близкой, но кроме единицы под сочинением было еще написано красными чернилами: «чепуха». «Скорей от бешенства, чем от отчаяния, я пытался покончить со своей жизнью» — так сказал об этом событии Зоценко спустя двадцать лет в автобиографическом комментарии к своей повести «Возвращенная молодость». Там же он отметил: «Эта неуспеваемость по русскому мне сейчас тем более странна, что я тогда уже хотел быть писателем и писал для себя рассказы и стихи». Взрыв, следовательно, исходил из глубины души: литература — мечта, влечение, цель, и вдруг провал, удар в самую чувствительную точку, да еще с нестерпимо обидной для обостренного самолюбия припиской. Так что, видимо, и «бешенство», и «отчаяние» имели в данном событии равновеликое значение. К указанным причинам следует добавить и возраст «туманной юности» с

неустойчивостью в восприятии окружающей действительности и предрасположением к эмоциональным срывам. Он проглотил тогда кристалл сулемы, имевшийся у него для фотографии. И в повести «Перед восходом солнца», в эпизоде «Пытка», описал, как ему делали промывание желудка.

Здесь следует сказать о первых литературных опытах Зощенко. В своей статье-воспоминании «Так начинал М. Зощенко» его вдова Вера Владимировна приводит запись из ведшейся им в 1917–1920 годах тетради, где он хронологически зафиксировал свои ранние пробы:

1902–1906 — стихотворения.

1907 — рассказ «Пальто».

1910 — рассказ «За что?».

Как видим, эти пробы начались с 7–8 лет. По всей вероятности, литературные задатки передались ему от матери, которая, несмотря на обремененность большой семьей, писала для газеты «Копейка» рассказы из жизни бедных людей. Те первые пробы не сохранились. Сохранились два рассказа, написанные в 1914 году еще до германской войны. В одном из них («Двугривенный») воспроизведена сценка в церкви. И есть такое наблюдение:

«В церкви больше всего женщин. Всё беднота... Где же богачи молятся?»

Вот в этом тусклом углу нищие. Серые, оборванные, с жуткими болезнями и робкими глазами».

К гимназической поре относится и еще один характеризующий его эпизод. Однажды он был на елке у своего товарища в очень богатом доме. Кроме подарков, которыми одаряли всех гостей, сестра его товарища подарила лично ему красивый альбом для марок, изящный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах.

А когда гости стали расходиться, она пошла его провожать со своей горничной. Весело болтая, они дошли до его дома. Прощаясь, он пожал ей руку, а потом так же за руку попрощался и с ее горничной. Сестра товарища вспыхнула и пожалела плечами. На следующий день она сказала ему: «Вы, наверно, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг». Он смутился, покраснел, потом ответил: «Я не вижу ничего дурного в том, что так попрощался с ней». Но сестра товарища опять не согласилась с ним: «Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, а потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете». Они прошли две улицы молча. Ему было не по себе. И, сняв свою гимназическую фуражку, он

простился с этой девушкой.

Рассказал Зоценко в «Перед восходом солнца» и о своей юношеской любви. Ее звали Надя, она жила в том же доме и была дочерью генерала. Они виделись каждый день, но Надя посылала ему еще и письма — в красивых длинных надушенных конвертах, над чем посмеивались его сестры. Как и он, Надя была гимназисткой — им было по шестнадцать лет. Они обращались друг к другу на «вы», даже когда говорили о любви. И шли в кино, чтобы в течение всего сеанса, два часа, целоваться, поскольку на улице это считалось недопустимым, неприличным...

Окончив классическую гимназию в 1913 году, Зоценко осенью поступил на юридический факультет Петербургского университета, но учился без интереса к избранной профессии. За первый курс он сдал минимум — один экзамен по римскому праву. Зато много времени проводил в физическом кабинете, где слушал лекции привлекшего его внимание профессора. А весной 1914 года, находясь почти совсем без денег, поехал на заработки на Кавказ, работал там на железной дороге контролером поездов (в курортный сезон ветка Кисловодск — Минеральные Воды, считавшаяся шикарнейшей, традиционно обслуживалась студентами), давал частные уроки.

## 2. ОФИЦЕР-ФРОНТОВИК

Он вернулся с Кавказа в Петербург осенью, с началом «европейской всемирной войны», как называли тогда Первую мировую. И — вместо продолжения учебы в университете записался на ускоренные военные курсы в привилегированном Павловском училище, куда принимали прежде всего дворян. В это же время он был исключен из университета за невзнос платы. Окончив по 1-му разряду четырехмесячные военные курсы и получив первый офицерский чин прапорщика, Зоценко прибыл в марте 1915 года на германский фронт.

В разные годы Михаил Зоценко давал различные толкования своему решению идти на войну. В первой большой и задористой статье 1922 года «О себе, об идеологии и еще кое о чем» он написал: «В 13-м году я поступил в университет. В 14-м поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведам К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист, — поехал добровольцем на войну». А в более поздней автобиографии 1932 года указал: «В 14 году пошел добровольцем на фронт. (Скорей из любопытства, чем из патриотических

чувств.)» И еще, в уже упоминавшемся комментарии к повести «Возвращенная молодость» 1933 года, сказал так: «Осенью, в начале войны... прослушав ускоренные военные курсы, уехал прапорщиком на фронт. У меня не было, сколько я помню, патриотического настроения — я попросту не мог сидеть на одном месте из-за склонности к ипохондрии и меланхолии. Кроме того, я был уволен из университета за невзнос платы». Как видим, из побудительных мотивов им убирается возможный патриотизм, который тогда относился бы к царской России и был бы чужд, осуждаем в пролетарском государстве. Однако в «Перед восходом солнца», лишь частично опубликованной в 1943 году, в самой середине Великой Отечественной войны (публикация была оборвана на половине по грозной команде сверху), писалось уже иначе: «Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтоб на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину». (Правда, здесь же упоминалась и его тоска, меланхолия.)

В ранней же статье 1922 года, написанной раскованно, вольно, даже весело, — о себе, как о «человеке необыкновенном, герое и авантюристе», говорилось им явно с само-иронией. Имелись, конечно, и более серьезные мотивы его ухода на фронт: неприжитость в университете, юношеский романтизм (с находившимися в свое время на Кавказе Лермонтовым и Толстым в душе), благородные принципы, кодекс мужчины. И — зов таланта, как у юного Толстого, устремившегося в Севастополь во время Крымской войны, как и у современника Зоценко, его «однокашника» по Первой мировой войне юноши Хемингуэя...

Он получил назначение в 16-й Гренадерский Мингрельский Его Императорского Высочества Великого князя Дмитрия Константиновича полк Кавказской дивизии. Сначала прапорщик Зоценко был назначен начальником пулеметной команды, затем стал командиром роты. Командовал полком генерал князь Макаев, который после первого же боевого дела, порученного Зоценко, объявил, что очень доволен его ротой. Зоценко был сконфужен такой оценкой, ибо они не прорвались через вражеские заграждения, не выбили немцев из их траншей. Он не знал — его просто не поставили об этом в известность перед боем, — что тут была предпринята всего лишь отвлекающая атака одного подразделения, демонстрация, заведомо обреченная на жертвы, а не само наступление, проводившееся на другом фланге соседним полком. В этой атаке Зоценко был легко ранен осколком в ногу, но, стремясь выполнить поставленную задачу, добежал до колючей проволоки немцев, где вместе с ротой пролежал два часа под неистовым пулеметным и артиллерийским огнем,

когда нельзя было приподнять голову, не то что подняться в рост, и только потом, получив приказ командира батальона, отвел роту на свои исходные позиции.

Одним из самых сильных фронтовых испытаний, выпавших на его долю, была газовая атака немцев под белорусской Сморгонью в ночь на 20 июля 1916 года. Зоценко помнил об этом всю жизнь. Полковой лекарь дважды составлял в тот день донесения об «отравленных ядовитыми газами противника». В итоговом донесении значилось: «Пострадало 3 офицера. <...> Из нижних чинов пострадали 405 человек, из них 14 умерло. <...>». Все трое пострадавших офицера были младшими — два прапорщика и один подпоручик. Подпоручик Зоценко наглотался удушливых газов, когда подавал команды своим гренадерам, прежде чем самому надеть противогаз. Газ немцы методично выпускали из баллонов, используя ветер, дующий в сторону русских. После этой газовой атаки Зоценко два месяца лежал в госпитале.

Вскоре он стал поручиком. А затем князь Макаев перевел Зоценко, которого звал «малыш», на должность полкового адъютанта (офицер при командире полка для служебных поручений и штабной работы). В середине войны Зоценко был уже командиром батальона. Но его молодость и внимательное отношение к подчиненным создавали ему субординационные трудности. Гренадеры с улыбкой отдавали честь своему батальонному. Около его землянки в период затишья целый день толклись люди — шли за советом по личным делам, с просьбой написать письмо. А за спиной он слышал, как они называли его «внучек».

Ему постоянно приходилось решать сложную — особенно в армейских условиях — моральную задачу: быть строгим единовластным командиром и одновременно сдерживать себя в применении суровых мер наказания даже к явным, казалось бы, негодьям. Задача еще более усложнялась его врожденной деликатностью и абсолютным уважением к человеческой личности. Во фронтовых эпизодах его автобиографической повести есть глава «Вор». В ней Зоценко описал случай, когда батальон был на отдыхе, а он, комбат, спал в избе на кровати:

«Сквозь сон я вдруг чувствую, что чья-то рука тянется через меня к столу. Я вздрагиваю от ужаса и просыпаюсь.

Какой-то солдатик стремительно выскакивает из избы.

Я бегу за ним с наганом в руках. Я взбешен так, как никогда в жизни. Я кричу: „Стой!“ И если бы он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился.

Я подхожу к нему. И он вдруг падает на колени. В руках у него моя

безопасная бритва в никелированной коробочке.

— Зачем же ты взял? — спрашиваю я его.

— Для махорки, ваше благородие, — бормочет он.

Я понимаю, что его надо наказать, отдать под суд. Но у меня не хватает сил это сделать. Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. Мне отвратительно, что я погнался за ним.

Вынув бритву, я отдаю ему коробку. И ухожу, раздраженный на самого себя».

Тем не менее его авторитет как боевого командира был общепризнан — и подчиненными, и начальниками. Он уверенно управлял батальоном, показывал личный пример выносливости и отваги.

От тех боевых времен сохранилось несколько фотографий. Вот прапорщик Зоценко в Петрограде, в августе 1915 года, сидящий очень прямо на табуретке с упертой в пол между колен шашкой, без фуражки. Совсем юноша, мальчик. В Петрограде он был тогда, по-видимому, проездом в командировку за пополнением. А вот — через год — уже совершенно бывалый воин, стоит на лесной дороге, в привычной для него полевой форме, уверенный в себе фронтовик-окопник. И еще — групповая фотография. Под фотографией приписка Зоценко, сделанная в 1933 году в духе советского времени: «„Золотопогонная сволочь“ в 1916 году на фронте. Господа офицеры Мингрельского полка Кавказск. Гренад. дивизии. Я командир батальона. В центре. Группка идеологически не выдержана. Наша молодая общественность простит меня — был очень молод! В то время мне не было 20 лет. М. Зоц.». (Фотография была включена в альбом «17 лет жизни М. Зоценко. 1916–33».)

А в самом начале столь памятного для него 1916 года Зоценко испытал и глубокие личные переживания. Ему был предоставлен отпуск, и по приезде в Петроград (Санкт-Петербург переименовали с началом войны) он явился к своей любимой с гимназических лет Наде В. Взволнованное объяснение произошло на скамейке у известного в Питере памятника эсминцу «Стерегущему» — это было давнее место их свиданий, где Надя призналась ему однажды в любви и откуда они шли в кино целоваться. В своей автобиографической повести Михаил Зоценко рассказывает об этом фактически прощальном их свидании с такой немногословной проникновенностью, а любовь к Наде была для него настолько значимой, что здесь следует привести эту небольшую новеллу почти целиком:

«...Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит:

— Как глупо. Зачем вы мне ничего не писали. Зачем уехали так

неожиданно. Ведь прошел год. Я выхожу замуж.

— Вы любите его? — спрашиваю я, еще не зная, о ком идет речь.

— Нет, я его не люблю. Я люблю вас. Я больше никого не полюблю. Я откажу ему.

Она снова плачет. И я целую ее лицо, мокрое от слез.

— Но как я могу ему отказать, — говорит Надя, медленно перебивая себя. — Ведь мы обменялись кольцами. И была помолвка. В этот день он подарил мне имение в Смоленской губернии.

— Тогда не надо, — говорю я. — Ведь я же снова уеду на фронт. И что вам меня ждать? Может, я буду убит или ранен.

Надя говорит:

— Я все обдумала. Я все решу сама. Не надо мне ничего говорить... Я вам отвечу послезавтра.

На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом.

В этом нет ничего особенного. Это естественно. Но я взбешен.

Вечером я посылаю Наде записку о том, что меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю.

Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни.

Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор».

Зоценко пишет, что был «взбешен», встретив Надю под руку с ее женихом назавтра после их объяснения, и потому порвал с ней. Очевидно, в этой реакции были и обида, и гордость, и отчаянность молодости, когда поступки диктуются эмоциями. Но, наверное, сработала также и его интуиция, некое предчувствие грядущих перемен в его жизни, которые все равно разделили бы их судьбы — ее, дочери генерала, получившей в подарок от жениха в день обмена кольцами целое имение, и его, офицера-окопника, сына художника-демократа. Да ведь и того ранее, еще в начале войны, когда он уехал «так неожиданно» для Нади на фронт и весь год не писал ей, — тоже, вероятно, сказались на его поведении те материальные трудности, которые его тогда преследовали и вынудили бросить университет. Так или иначе, это был первый из ряда тех разрывов, какие ему предстояли в скором времени. Однако, несмотря ни на что, любовь сохранилась. Первая, Трепетная, юношеская любовь, памятная на всю жизнь...

Он вернулся в свой полк, на фронт, к своим боевым товарищам-офицерам, к своим солдатам, и воевал еще полный год, в каждый из дней которого мог быть убит. К концу войны он имел пять боевых орденов, чин штабс-капитана, был представлен в капитаны. «Но это не означало, что я

был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях. Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Испортил сердце». Такое резюме дает сам Зоценко в повести «Перед восходом солнца» своему рассказу об участии в Первой мировой войне.

Приведем перечень боевых наград Зоценко, заслуженных им на «германской» войне:

1. Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом — «За отличия в действиях против неприятеля». (Награжден в чине прапорщика.)

2. Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». (Награжден в чине подпоручика.)

3. Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами. (Награжден в чине поручика.)

4. Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. (Награжден в чине штабс-капитана.)

5. Орден Святого Владимира 4-й степени. (Приказ был подписан в январе 1917 года, но орден не получен в связи с эвакуацией в тыл по болезни и последующими революционными событиями. Одновременно его представили к следующему чину, но и это представление осталось на бумаге.)

«Финал» — так названа в автобиографической повести главка-эпизод, описывающая офицерский ужин на отдыхе во втором эшелоне, после которого он почувствовал, что серьезно болен. Военный врач ставит диагноз: порок сердца. «Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу». Это был февраль 1917 года.

Литературные следы от тех боевых лет остались у Зоценко в его фронтовых «полевых книжках» полкового адъютанта и командира батальона. Там между сугубо служебными записями — черновиками приказов и донесений, схемами позиций и другими боевыми пометками появляются эпиграммы на однополчан, наброски сюжетов рассказов и черновики его писем. Письма адресовались женщинам. И следует согласиться с мнением В. В. Зоценко, что «некоторые — например, „К Евгении А...“, при которых имеются даже планы письма-рассказа, или „Письмо тоскующему другу“, — были полностью „литературными произведениями“, но для всех писем характерно одно: изысканный слог, „поэтическая настроенность“ и тема — любовь и печаль, стремление понять, что такое любовь для женщины и что она для мужчины. Из письма в письмо кочуют „поэтические“ вступления, красивые фразы, утонченные чувства. И кажется, эти письма рождены в основном потребностью писать». Для подтверждения своего мнения Вера Владимировна

справедливо ссылается на письмо Зощенко с фронта сестре Валентине от 13 ноября 1916 года, в котором он, намереваясь сделать ее адресатом своих писем-размышлений, говорит о них, как о подходе к своей «цели», которая у него уже «есть»:

«...Так слушай: чтобы не одуреть окончательно и не заплесневеть в одиночестве своем, решил занять чем-то мысли и сознание. Иногда, когда радость, или печаль, или скука томящая резче заставляют думать логически, тогда хочется писать, чтобы как-то проникнуть в анализ разума.  
<...>

Так вот — иногда буду писать тебе. Что — пока безразлично. Ты читай их, и у тебя, несмотря на лень природную, явится желание писать, чтобы письмами своими создать и себе и мне настроение.

Для сердца не придумано законов и искренности чужда логика, и потому не думай долго над словами моими.

А когда прочтешь письмо — то первое впечатление и есть истинное.  
<...>

Я буду читать письма, они сгонят тяжелые позиционные думы и заставят разгладиться несколько морщинок у губ, печать печали моей и дум».

Действительно, с фронтовыми письмами у Зощенко были связаны и личные переживания, и его целевые устремления. И все литературные наброски в Полевых книжках 1915–1917 годов свидетельствуют о происходившем в нем необходимом для творческой личности процессе внутреннего развития. Причем на этом этапе уже начали проявляться его сатирические способности (пока в виде эпиграмм) и склонность к глубокому познанию человеческой природы.

Однако в неслужебных записях Зощенко в Полевых книжках, среди писем, адресованных женщинам, есть четыре письма Наде В. — Наде Русановой-Замысловской, которые важны прежде всего для понимания его отношения к ней. И хотя здесь также немало внимания уделялось стилю, главное в этих письмах то, что они отразили историю первой и самой трепетной любви Зощенко.

Уехав на фронт, он почти год не писал Наде. За это время из юноши, которому было многое неясно в самом себе, в своих конкретных стремлениях, которого крепко поджимало безденежье, материальная скудость, он превратился в молодого мужчину, фронтового офицера, выдержавшего многотрудные боевые испытания, видевшего смерть, гибель людей и все же обретшего внутреннее равновесие. Уезжал на фронт юноша

с мятежной душой, совсем еще не готовый к какой-либо собственной семейной жизни; теперь, возмужав, он все чаще вспоминает о Наде.

Первое письмо ей датировано 24 декабря 1915 года. В нем Зоценко постарался аккуратно объяснить свое поведение в течение всего их знакомства и «дать несколько верных штрихов о себе и своем неопределенном молчании»:

«Я не солгу Вам, Надя, если скажу, что с того времени, как я уехал, я много раз пытался писать Вам и всякий раз не смог закончить письма — видит Бог — не потому что было лень или нежелание писать, нет, скорее слишком много накопилось у меня неясных вопросов, больших и маленьких, которые отягчали бы письмо и заставили бы Вас, быть может, понять по-иному. <...>

<...> В 16 году будет пять лет нашего знакомства, пять лет, маленькая частица жизни, маленький юбилей, и теперь, если смело, без фразы и рисовки подвести итог нашему отношению, то что же выйдет?

Выйдет печальная истина, грустная картина наших отношений: из пяти лет, по крайней мере три года ссоры и маленьких недоразумений, год неопределенных ожиданий и неясных дум и год, быть может, спокойной Дружбы плюс, пожалуй, маленькой влюбленности (с моей стороны).

Сейчас опять не то мы накануне размолвки, не то раздора.

Пусть же теперь не будет этого. Пусть будет спокойное и смелое сознание дружбы.

Я Вам не солгу, Надя, если скажу, что за все время у меня было самое хорошее воспоминание о Вас, и сейчас нередко какое-нибудь маленькое воспоминание встречи ли или письма стоняют скучные позиционные думы и заставляют разгладить несколько маленьких морщинок на лице, которые появились так недавно.

Я не солгу Вам, если скажу, что вспоминаю Вас гораздо чаще, чем это требует простая холодная дружба».

Поскольку писем Нади в архиве Зоценко не сохранилось, можно лишь предполагать их содержание — по тому, что писал ей он. Очевидно, в своем ответе на его декабрьское письмо Надя поведала ему о своей тоске, одиночестве, переживаниях. И не скрыла, что тревожится, тоскует о нем. А Зоценко после такого признания стал более сдержан, потому что его фронтовое бытие не позволяло загадывать далеко, да и само решение в отношении Нади у него еще не созрело окончательно. И в следующем своем письме, датированном 5 февраля 1916 года, он затормозил их сближение, сохраняя дистанцию, которую считал в тот момент нужной. Письмо писалось в два приема, и в нем стилевые красоты и «кочующие»

фразы резонерски перемежались общими витиеватыми советами:

«Вот сейчас получил Ваше письмо, и оно поразило меня.

Я удивился настроению мыслей Ваших, и мне страшно за Ваше душевное опустение и непозволительную тоску.

Мой милый друг, зачем такая печаль, зачем мысли грустные — повод к отчаянию?

Я не гожусь в роли утешителя, но все же хотелось бы если и не утешить Вас, то сильными и красивыми мыслями заставить Вас не быть одинокой.

Откиньте расстояние и приблизьте меня в мыслях своих — я подле Вас, тоже печальный за Вашу печаль, но сильный духом.

Мой милый бедный друг, слышите ли Вы меня и поймете ли? Я подле Вас, спокойным голосом, Вам знакомым, заживляю Вашу тоску и смотрю в широко открытые печальные глаза.

Вы печальная и тоскующая, бойтесь одиночества — от него отчаяние и смерть души. Не окружайтесь мыслями — в них запутаетесь и не найдете выхода. А если мысли тяжелые уже пленили Вас своей остротой и неожиданностью — рвите их и бойтесь медлить.

<...> В печали своей улыбнитесь задумчивой, мне памятной улыбкой, а я расскажу Вам индийскую легенду, что, когда человек улыбается, в душе его расцветает белый прекрасный цветок и этот цветок — лучшая жертва богу вечерних часов.

Так кончил я свое письмо, к Вам, тоскующему другу, и боюсь перечитывать.

7 февраля

Знаете что? Если и после письма останется та же тоска и не будет легко и стыдно за свои мысли печальные — бойтесь и не создавайте одиночества, бегите к людям и любите жизнь.

Ваш Мика

Вы мне напишете? Да?

Я жду и целую».

Такое довольно резонерское письмо должно было, по меньшей мере, охладить Надю в ее чувствах. А тут подоспело и сватовство состоятельного жениха, которого охотно приняли в семье. И Надя не стала сопротивляться судьбе. О чем и сообщила своему Мике...

В его ответном письме, хоть и было оно названо им «поздравлением» со взятыми в эпиграф словами Нади, выразилась вся совокупность мгновенно взорвавшихся в нем чувств. Конечно, он старался сохранить самообладание и свое положение ведущего в их с Надей отношениях. Но

под этим прикрытием все его усилия были направлены на то, чтобы не потерять ее. Он сразу обращается к их прошлому, истолковывая его, взывая к нему. Он напоминает ей об их общих тогдашних рассуждениях и не без ухищрений предостерегает от замужества; наконец, без околичностей умоляет не выходить замуж — за другого. И полностью открывается в своей любви к ней:

*«Поздравление*

Апрель 16 г. Петроград

„Между прочим, я выхожу замуж...

Люблю... А Вас помню.....“

Ваша открытка пришла сегодня — она удивила меня... Она такая отрывистая, не сразу понятная, такая беспомощная... Ну как Вы иногда. Вашу беспомощность я так ясно видел летом, вот в тот день, когда я сказал: люблю. Как Вы радостны были. Помните, как ждали этого? А потом, когда Вы наивная глазами спросили, когда же свадьба, я засмеялся... Простите... Свадьба? Зачем? Если Вы хотите продолжить любовь мою, не требуйте свадьбы и не отдавайтесь мне. Будьте как сказка: всегда желанная, будьте в этом лесу нимфа, у омута — омут, на берегу русалка... Только одно лето... Я говорил Вам это... Не отдавайтесь мне. Сейчас, когда я не опьянен еще близостью Вашей, я так прошу: не отдавайтесь мне. Потом я буду просить, умолять ласково и требовательно, может быть, соглашусь на все условия — не верьте. Будьте неуловимы. Бедная, как Вас поразило это... Вы ведь любили меня... Что это — насмешка или прихоть? Вы не знали. Это — желание любить. Вас.

\*

У Вас есть альбом. Красный. Плюшевый. Смешной, детски наивный альбом. Пойдите возьмите его. Посмотрите, что я написал Вам.

Откройте дневник — что Вы писали... Вы научились понимать меня. Вы поняли. Поняли: если хотите любви, не выходите замуж. Любите, иногда допускайте близость, но не вечно-пошное, испробованное сожителство.

Вы же поняли. Я гордился Вами, моей ученицей. Поняли, чтоб при первом случае выйти замуж.

Матерью хотите быть?

Дневник, Ваш спасательный дневник! Неужели не помог Вам? Вы писали:

„...Любить, пока любить, а изверившись в этом, быть матерью, производительницей. Честной матерью, — которой долг — дети.

Дайте же женщине быть женщиной, а не только матерью. Ну не долго, ну хоть пять лет. Это так мало. Это такая маленькая награда за десятки лет материнства...“

Вы так писали. Кажется, так... Вы замуж выходите... любите... Значит? Значит... Презренье Вам обыкновенной женщины. Трусливой в жизни, такой обаятельной, любимой...

Простите...

Вы замуж выходите... Вот что я Вам скажу на ушко: Через год Вы не узнаете, что любовь и что привычка. Через 2 года будете настойчиво требовать от мужа клятв и доказательств его вечной любви. Он Вам будет говорить долго и скучно о своем обязательно-искреннем чувстве, о душе „понятной ему и любимой“.

Будет доказывать на деле. Вы больше всего бойтесь этого и помните вечно, что доказать любовь любовью же, это не доказательство. <...>

<...> В память лета, моей любви не выходите же замуж!

Вы выходите замуж... Что ж!

Мое поздравление примите, а радость моя в Вашей перемене только та, что я смогу уже законно и при всех целовать Ваши ручки. И только.

Нет... Еще я печален за Ваше счастье.

Ваш.

P.S. Если не поверите мне — порвите все: Ваши дневник, альбом, забудьте красивую нашу любовь и выходите тогда.

А может быть, Вы еще часто вспоминаете лето? Наше лето... Если не выйдете замуж... поймете... Ну поймите... вот я целую Ваши ручки... Поймите же... Тогда... Тогда приходите ко мне. Свадьба? — Извольте!

Я люблю Вас...

Мих. Зоц.».

Вслед за этим письмом, добившись отпуска, он примчался в Петроград сам. Соединения их судеб, как известно, не произошло. И в той жизни, в которую перешел затем Зоценко, Надя Русанова осталась для него воспоминанием — и о первой любви, и о былом времени, и о нем самом, каким он был тогда.

### **3. МЕЖВРЕМЕНЬЕ**

Он был демобилизован и вернулся в Петроград в дни, когда произошло

отречение Николая II. Подобно многим людям демократического склада характера и образа мыслей, Зощенко воспринял это событие как надежду на благоприятные перемены в России. И пошел на службу к Временному правительству. В биографической заметке «О себе» (сентябрь 1927 года), потешливо написанной для «Энциклопедии» авторов и художников юмористического журнала «Бегемот», Зощенко так рассказал о первом полученном им тогда назначении:

«Самая пышная должность у меня была в 17-м году. После Февральской революции. Я был комендантом почт и телеграфа в Петрограде. Мне полагалась тогда лошадь. И дрожки. И номер в „Астории“.

Я на полчаса являлся в Главный Почтамт, небрежно подписывал бумажки и лихо уезжал в своих дрожках.

При такой жизни я встречал множество удивительных и знаменитых людей. Например, Горького. Шаляпина как-то раз встретил у Горького. <...>».

По приезду он увидел Надю и ее мужа — она, как тому и следовало быть после ее помолвки и его демонстративного отъезда, вышла замуж. Разговор между нею и Зощенко был кратким и коснулся произошедшей революции. Надя оказалась чуть ли не единственной среди его знакомых, которая считала это событие ужасным, опасным для России и не ждала ничего хорошего. (Рассказывая об этом в своей повести, Зощенко поведал также, что она затем вместе с мужем и только что родившимся ребенком оказалась среди тех, кто бежали из Петрограда и покинули Россию. Но Надя не исчезла из его жизни навсегда. Кое-какие сведения о ней доходили до него и потом. И под самый конец, четыре десятилетия спустя, ему будет уготовано еще одно, заключительное, свидание с нею.)

А в мае 1917 года он встретился с Верой Владимировной Кербиц, по первому браку Мартанус, которая через три года стала его женой. Отец Веры Владимировны был офицер (капитан), военный топограф. А сама она окончила Петровскую гимназию и два дополнительных педагогических класса. Ко времени знакомства с Зощенко она пережила свою первую романтическую любовь (к юноше, который затем ее оставил и женился на другой избраннице) и первое замужество. В своих «Воспоминаньях», писавшихся много позднее (около 1970 года), но по дневнику тех лет, она так размышляла об этих увлечениях: «Почему с Дмитрием я безвольная, жалкая, слабая, а с Виталием — гордая, смелая, сильная царица? Почему один покорила меня, а другой мне покорился? Почему, почему так?.. Или придет третий?» («Третий» было подчеркнуто.) Тогда же ею было сделано

и такое признание: «Хочу роскоши, довольства, а в роскоши, в богатстве так много красоты, так много поэзии, наслаждения... Этой красоте хочу я теперь служить и молиться, если не могу служить и молиться другому богу — Дмитрию».

Ее первым мужем был Виталий Мартанус, тоже юноша, фронтовик, прапорщик и Георгиевский кавалер. Шла война, и девичьи мечты, естественно, принадлежали молодым героям. Но вскоре Вера Владимировна поняла, что ее Витик, несмотря на Георгиевские кресты, «совсем обыкновенный, совсем будничный, даже не умный, малообразованный». А ее идеал должен был сочетать в себе «поэзию, красоту, силу...», быть «сплошной гармонией красок и звуков». Таким идеалом предстал перед нею Михаил Зощенко, вернувшийся с фронта красавец-«башлык», как его прозвали друзья, познакомившие с Верой, за то, что он особенно красиво носил на своих плечах форменный белый башлык.

Их роман развивался стремительно. Зощенко настолько был увлечен ею, что задавал себе вопрос: «Чем околдовала меня эта маленькая женщина?» Он писал: «Я люблю ее, мне почему-то не хочется, страшно и стыдно признаться даже себе. Я слишком высоко-эгоистично расцениваю себя в жизни. Знаю, что меня можно прельстить телом, но никогда не думал, что покорит неведомое мне обаяние...»

А в «Воспоминаньях» Веры Владимировны есть такие строки: «...в его отношении, в его обращении со мной проскальзывал, сквозь нежную ласку, внимание и предупредительность, такой знакомый тон, милый и ненавистный, тон собственника...»

Таким образом, в их отношениях обозначилось изначальное противостояние характеров.

Эта встреча совпала у Зощенко с пробудившейся тягой к активной литературной работе. И состояние влюбленности, вероятно, также стимулировало данный процесс. Вот что сообщает Вера Владимировна (в статье «Так начинал М. Зощенко») о рассказах, которые он во множестве, с высвободившейся из-под спуда творческой энергией, принялся писать после фронта, читал ей вслух, посылал по почте (хотя они виделись летом этого года через день):

«О чем бы ни писал он тогда, в его рассказах, новеллах, сказках, миниатюрах всегда присутствовала тема любви.

Автору было двадцать два года, и он только что вырвался из войны, где рядом была смерть. К тому же умами молодежи в то время властвовали Арцыбашев, Вербицкая, Каменский и некоторые другие писатели, в

произведениях которых пропагандировался „культ земных наслаждений“, „культ тела“, чувственная любовь и прочее в этом духе. И то, что писал Зощенко, было как бы данью еще не ушедшей моде».

Имело, надо полагать, значение и все то, что переживал он сам в это лето. И что отразилось в его многочисленных письмах Вере Владимировне, которые, как она отмечает, тоже были одновременно литературными произведениями: «Каждое из них имеет даже название, так что скорее это не письма как таковые, а тоже литературные произведения: „Гимн придуманной любви“, „Дайте мне новое“, „Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа...“». Одно из процитированных писем она прямо называет стихотворением в прозе:

«Вместе с осенью пришло что-то новое... Какая-то тревога, может быть, печаль. А часто апатия, почти умирание... И капли дождя, что бьют по стеклу, — беспокоят...

Что они напоминают?

Да, слезы и Вашу печаль...

Помните, как Вы ждали осени? И вот пришла осень. Вот она, такая скучная и дождливая. Печальная. Пришла и покорила Вас, как покорили уже и белые ночи, намеки ночей, и летнее небо, и даже белые цветы яблони. Весной у Вас были весенние, такие радостные глаза и наивные губы. Весной Вы ждали любви.

А когда пришло лето, городское и душное, Вы как-то изменились. В Вас ничего не осталось: весеннего. Летом Вы хотели любви, ибо всегда Вас все подчиняло. Весной Вы были весенняя, летними ночами знойная и чувственная, вечером часто такая же грустная, как задумчивые сумерки. И обаятельное утро рождало в Вас новое. Вас все подчиняло.

И вот пришла осень... Посмотрите — она во всем сейчас. Даже в сумеречных Ваших мыслях. Даже в Ваших глазах. И эти капли дождя, вот что бьют по стеклу, похожи на Ваши слезы. На Вашу большую, осеннюю печаль. Они беспокоят.

Тогда кажется, что нет больше личной жизни, что она ушла, что все умирает...»

Однако, несмотря на обилие «любовных» рассказов в модном стиле и на то, что они, по свидетельству Веры Владимировны, проходили процесс совершенствования от натуралистичности к психологизму, все они оставались у Зощенко в рукописях.

Затем, в сентябре 1917 года он неожиданно уехал в командировку в Архангельск, где был адъютантом местной дружины и секретарем

полкового суда (видимо, по связи с прежней своей учебой на юридическом факультете).

И здесь надобно воссоздать его тогдашнее умонастроение и самоощущение.

Вернувшись в Петроград с германского фронта, Зоценко был на первых порах готов продолжать свое прежнее, доармейское бытие: те же друзья, знакомства, тот же круг общения, интересов. Он даже попадает в один весьма аристократический дом — к княгине Б., хотя раньше ему не приходилось бывать среди аристократии. Но — «Февральская революция сломала сословные перегородки». Зоценко сидит в гостиной княгини с орденом на френче — на такой парадности настоял приятель-правовед, приведший его в этот дом. И в Архангельске, куда он вскоре уехал, он ведет тот же образ жизни. Местные дамы деятельно прочат ему в невесты дочь самого богатого рыботорговца; молодая вдова морского офицера, у которой их составившаяся компания играет по вторникам и субботам в покер, одаривает его неожиданным свиданием (окончившимся, правда, из-за его неуместной откровенности отставкой); у него превосходные английские замшевые перчатки и связь с француженкой, мадемуазель Р., которая старалась увезти его в Париж...

Однако за всей этой «светской» жизнью в Архангельске, как и в Петрограде, у него продолжалось активное освоение потока современной литературы. Он жил литературой и постоянно вбирал в себя ее нашумевшие и просто заметные явления. А Блок и Маяковский особенно повлияли в это время также на формирование его мировоззрения.

Из Архангельска он продолжал переписываться с Верой Владимировной. И по содержанию, и по стилю это были все еще характерные *любвные* письма. Несмотря на их близкие отношения, Зоценко обращается к ней на «вы». Одному из писем предпослан эпитафия — строчки из стихотворения Веры Инбер «Сказки». А в самом письме дважды цитируется (в измененном виде) строчка из песни А. Вертинского «Лиловый негр». Это его письмо было написано 26 ноября 1917 года в ответ на полученное от Веры Владимировны после долгого, как ему казалось, перерыва, в который Зоценко очень тосковал по ней:

«<...> А с тоской плелось сожаление. Сожаление о неслучившемся. Я метался по комнате и просил Бога, и как-то нелепо, неумело:

— Бог, сделай так, чтоб мы увиделись. Сделай. Ты можешь. Ты же все можешь...

Тянулись дни.

А в тот день, когда мне показалось, что чувство стало меньше, и когда

я понял, что еще день, и все пройдет, — пришло письмо. Письмо от Вас.

А... Она так... Она хотела помучить...

И вдруг показалось, что так и должно быть. Как я мог сомневаться, что Вы вовсе забыли меня?

Конечно, нет.

И я смеялся самовлюбленно, как люди смеются, когда миновала опасность и наступил покой и уверенность.

Я читал Ваше письмо. Я упивался. Я к самому лицу подносил бледный Ваш конверт и втайне целовал Ваши губы.

И я опять любил Вас за то, что этим письмом Вы словно явились невидимая и словно шепнули: „Люблю“.

Знаете что? Раньше, когда я не получал Ваших писем, я беспокоился, беспокоился...

Теперь же не дает покоя только одна мысль:

„Кто Вам сейчас целует пальцы?“

И я не знаю, что лучше...

До свиданья... Ау!»

Затем в другом, уже январском письме (1918 г.), в котором явно влияние Ницше, Зощенко писал:

«Глаза мои устали, утомились, и не видел я истину, которую Вы мне дали.

Большое показалось смешным, малое — безобразным, и казалось мне, что Ваше желание — только каприз, а в нем ненужное испытание и насмешка.

Как больно сначала ударили меня Ваши слова: „Приезжайте немедленно, иначе не увидимся...“

Как смеялся я над их безобразием! О, как смеялся я над их бессилием!

Я в смехе хотел найти примирение, но крадучись, ночью, когда я спал, пришла злоба.

Простите меня, что она пришла. Не звал я ее. Маленькое неуклюжее животное, оно больно кусало мои руки, и я спрятался от него в себе самом.

А сегодня, когда оно ушло, я вернулся к старым богам...

Сегодня суждено мне побить себя камнями.

Я хотел и раньше писать искусанными злобой руками... И как я доволен, что я не писал!.. <...>

<...> Все мне казалось таким безобразным, все было увешано отвратительными и старыми истинами. И Ваше требование было насилием.

<...> Нет! Нет злобы больше. И нет камней, которые бы я бросил в Вас.

Они для меня. <...> Потянули Вы меня за руку, как слепца, и мне казалось, что я больно ударюсь о землю. Вырвался я тогда и громко смеялся. Ведь это был месяц, когда я боялся земли и когда моим Богом было лишь Солнце. Это был месяц, когда я думал, что вот еще миг — и я взойду на высоту, может быть на Голгофу, где Мудрость небожителей и истина Богов, где счастье...

Так думал я, ибо со мной была еще моя юность. Месяц этот был, когда она покинула меня за то, что я хотел поверить Мудрости: „Будь верен земле и не доверяйся говорящим о надземных надеждах“.

И я понял.

Размахивая бессильными руками, хотел я лететь, но помните — „Песнь о Соколе“?

„Рожденный ползать, летать не может... Забыв об этом, он пал на землю, но не разбился, а... рассмеялся“.

Так и я, так и я...

И многое теперь мне кажется смешным, а еще больше — грустным. Еще больше — умершим. <...>

Здесь, на Севере, одинокая могила моей юности. И здесь же венок, сплетенный из милых, старых нелепостей!

Как жаль мне своей юности!.. Как плакал я, когда сплетал этот венок из прошлого... И нельзя уже мне вернуться назад, ибо узка и опасна тропинка юности, ибо кругом нее бездна. А кто раз упал и кто ударился о землю, тот верит уже только земле. Нет мне дороги назад! И должен я, как слепец, протягивать свои руки и идти ощупью, чтоб увидеть землю. Боюсь бездны, боюсь и не верю небу... И Вас на пути своем беру теперь за руку и тихо говорю: „Не говори мне больше о небе, дай мне земное, а надземное я уже видел... Когда падал“. <...>

Вот все, чтобы понять меня. <...>

Михаил».

Эти два письма запечатлели глубокое преобразование взгляда Зоценко на любовь, его прощание с романтизмом юности и роль Веры Кербиц в происходившей с ним трансформации.

А что касается появившейся у Зоценко возможности эмигрировать сразу после Октября из России во Францию, в Париж, то такая возможность была для него совершенно реальной. В автобиографическом комментарии 1933 года к «Возвращенной молодости» он писал: «Был момент, когда я из Архангельска хотел уехать за границу. Мне было предложено место на ледоколе. Одна влюбленная в меня француженка

достала мне во французском посольстве паспорт иностранного подданного. Однако в последний момент я передумал». Он успел уехать из Архангельска в Петроград за несколько дней до занятия города англичанами, которые ответили интервенцией на большевистский переворот и арест Временного правительства.

Об этой истории Зоценко рассказывает и в «Перед восходом солнца» — через десять лет после первого упоминания и, разумеется, уже в другом тоне, соответственно иному времени. Теперь он сразу отвечает французскому полковнику, пригласившему его в посольство для получения иностранного паспорта, что не собирается никуда уезжать и не просил свою знакомую француженку о протекции. Он не слышит никаких вразумлений насчет того, что происходит в стране, насчет пролетарской революции. У него нет сомнений. Он ясно понимает: «Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже».

При всем, казалось бы, различии этих двух трактовок «парижского» эпизода, тут нет глубинного противоречия. В самом деле, он мог увлечься на миг этой перспективой — Франция, Париж! Великая французская литература с ее прославленными именами! Да только его собственная душа, вся его натура, судьба его были связаны с Россией, с ее языком, с ее жизнью, с ее литературой...

Но как бы ни окрашивалось спустя годы в его воспоминаниях то переломное время, оно было для молодого Зоценко очень трудным, глубоко изменившим его жизнь и его самого. Причем не только и не столько в том, о чем он *изящно* писал Вере Владимировне. И что лишь намеком, в подтексте присутствовало там. Этот личный разлад, связанный с социальным кризисом, откровенно запечатлелся, очевидно, лишь в его письмах из Архангельска, адресованных матери:

«Архангельск, декабрь 1917 г.

Последнее время болел я, мамочка. Не слишком сильно, нервы да сердце. Да и как не болеть?

Не знаешь, что завтра будет: то ли швейцаром устроиться, то ли грузчиком.

Офицеры-то нынче не в моде, вот и подыскиваешь службу, вот и болеешь.

А недавно еще хорошо было! Думал: вот-то хорошо, что попал на Север. Ни тебя не трогают, ни ты никого не кусаешь. Вовсе провинциальная добродетель!

Ведь и устроился хорошо, город приветливо принял, гимназистки провинциальные смеялись радостно и глазки приятные делали,

провинциальные дамы, ухмыляясь чрезвычайно, кого-то прочили, о ком-то намекали, что-то советовали. И всем было весело, весело.

Потом пришли солдаты и погоны сняли. И жалованье отняли. И стали мы самые простые, самые бедные, бедные.

Пальцами на нас показывают: „У-у, буржуй нерезаный!“

И каждый плюет и язык кажет.

И за что бы? „Революций мы не пуцали“, с оружием в руках не выходили... Сидели себе смиренно.

...Но что это?

По-прежнему смеялись радостно гимназистки и глазки приятные делали, по-прежнему дамы, ухмыляясь чрезвычайно, кого-то прочили, что-то советовали...

Говорили: „Вот... Теперь нужно жениться...“

Они говорили, они советовали подобно тому, как предлагают невыгодную, но единственную сделку человеку, попавшему в беду.

Иные из нас признали за лучшее и мудро решили жениться.

Но мудрость такая пригодна кроту! Я вижу здесь женщин: многие из них обезьяны со смешными ужимками и обезьяньими ласками.

Все они самки, и все они увешаны отвратительными истинами.

О, как смеялась душа моя над их безобразием! И разум мой сказал: нет.

Ибо я знаю, что придет дорога лучшая, чем эта тропинка слепцов.

Я пока подожду.

И пока я дерзко смеюсь всем в лицо. Всем...

И с тайным страхом спрашиваю себя: „Силен ли ты? Не лучше ли сразу? Ведь помни: чем сильнее борьба, тем больше мучений“.

Да, пока силен. Ибо я опираюсь на свою мудрость. Пока силен, но я не знаю, что дальше. Ведь я с пафосом не говорю себе: „О, я пробью себе дорогу“. Нет. Все случай, все случай.

И если дерзкую улыбку я прогоню с лица и если подойду к той полной даме, что прочила кого-то для меня, то, право, мама, не хвали, а пожалей.

Тогда: „Рожденный ползать летать не может“.

Пока же я силен. Пока я с улыбкой смотрю на вереницу пестрых обезьян.

Вот они... вот, как в жеманном менюэте, они расходятся и сходятся и долго и манерно приседают... У них, сто слов знающих по-французски „людей“, — уменье говорить на всех языках и тайно пудрят нос и душатся сиренью.

Вот я в провинции...»

И через три месяца:

«Архангельск, 27 марта 1918 г.

Так хочется домой, мамочка, что все время сижу с упакованными вещами и жду. И сам не знаю чего.

До сих пор нет у меня службы, и с Архангельском я ничем не связан, кроме белья, которое я отдал прачке...

Денег нет, и было бы очень скверно, если б прошлый месяц не выиграл я немного. Но это на исходе. Это давно на исходе.

А впрочем, не деньги, право, не деньги задерживают меня здесь. Я боюсь... Я стал какой-то Обломов. Нет ни энергии, ни воли.

И не я, а судьба тянет меня куда-то. И кажется мне, что пройдет еще месяц — и если я не уеду, не убегу, то останусь здесь навсегда. О, это трагическое болото, этот Архангельск!

А в Петрограде... Живут же люди! Кушают свою восьмушку хлеба, любят, умирают...

Чего же больше? Такова жизнь.

Работу я найду в Петрограде. Конечно.

И должен я уехать отсюда. Обязательно.

Я не узнаю себя за эти полгода. Я так изменился.

Стал даже религиозен. А может, это ханжество? Часто хожу в польский костел и слушаю орган. Молюсь.

Впрочем, когда человеку хорошо, он боится только черта, когда плохо, он говорит: „Господи, господи, верую в тебя и надеюсь на твое милосердие...“

Да, такова жизнь...

Может быть, это и плохо, мамочка, но все же я хочу ехать в Петроград.

А вдруг вы все уехали куда-нибудь?

Нет, вы сообщили бы.

Ну, целую, целую.

Михаил».

Таковы были в те трудные архангельские месяцы кардинальные жизненные перемены, настроение и повседневные житейские обстоятельства молодого Зоценко, сквозь которые он прочувствовал, что «судьба тянет меня куда-то», что он «должен уехать отсюда» и что «хочет ехать в Петроград», где люди «кушают свою восьмушку хлеба, любят, умирают...» В *этот* Петроград, а не в заманчивый Париж.

# СОКРОВЕННЫЙ ПОВОДЫРЬ

## 1. ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

Таким образом, уехав из Петрограда при Керенском, Зощенко возвращается сюда при большевиках. И вместо Парижа он оказывается на низеньком табурете в петроградском подвале с чьим-то потрепанным сапогом на коленях и рашпилем в руках, подравнивая только что прибитую подметку. Этот момент описывается в «Перед восходом солнца»: «Я — сапожник. Мне нравится моя работа. Я презираю интеллигентский труд — это умственное ковыряние, от которого, должно быть, исходят меланхолия и хандра. Я не вернусь больше к прошлому. Мне довольно того, что у меня есть». Вполне по-интеллигентски и по-русски...

Итак, дворянин и боевой офицер, Зощенко принял большевистский Октябрь. Отринув предложение эмигрировать и вообще все свое прежнее бытие, он за последующие три года неоднократно менял свои занятия и места пребывания, что нашло подробное отражение и в повести «Перед восходом солнца», и в целом ряде автобиографических статей и материалов. Вот отрывок из его заключительного комментария к повести «Возвращенная молодость», где говорится об этом периоде скитаний — после того, как он в марте 1918 года вернулся из Архангельска в Петроград:

«В июле 1918 года я поступил в пограничную охрану. Сначала служил в Стрельне, потом в Кронштадте.

Из пограничной охраны перевелся добровольцем в Красную армию и в ноябре 1918 года отправился в действующую армию на Нарвский фронт.

В Красной армии я был командиром пулеметной команды и потом полковым адъютантом.

Я не коммунист и в Красную армию пошел сражаться против дворянства и помещиков — против среды, которую я в достаточной мере хорошо знал.

Я пробыл на фронте полгода и по болезни сердца (порок, полученный после отравления газами в германскую войну) уволился из армии.

После этого я переменял десять или двенадцать профессий, прежде чем добрался до своей теперешней профессии.

Я был агентом Уголовного розыска (в Ленинграде).

Был инструктором по кролиководству и куроводству (в Смоленской губернии, город Красный, совхоз Маньково).

Был старшим милиционером в Лигово.

Изучил два ремесла — сапожное и столярное. И даже работал в сапожной мастерской на Васильевском острове (на 2-й линии, против Академии художеств). <...>

Последняя моя профессия до писательства — конторское занятие. Я был конторщиком и потом помощником бухгалтера в Петроградском военном порту».

Это писалось в 1933 году, и указанная здесь очередность испробования им специальностей и мест его работы несколько отличается от той, что позднее была дана в «Перед восходом солнца». Но, что самое главное, в своей автобиографической повести он категорически утверждает, что была одна-единственная причина всех географических перемещений, социальных и профессиональных перемен, которые происходили с ним в те годы. Эту причину своих жизненных скитаний Зощенко видел только в своей болезни — в хандре, тоске, меланхолии, ипохондрии... Конечно, это утверждение сочеталось с замыслом повести — рассказом о поисках истока болезни и о самоизлечении от нее (о чем обстоятельный разговор впереди). Известно, однако, что поворотные решения человека вызываются, как правило, совокупностью причин, в том числе подспудных.

Стремление к психологическому перелому в самом себе соединялось у Зощенко с полной социальной переориентировкой. Это не было расчетливым приспособительством к новым условиям, классовой мимикрией во имя самосохранения, хотя не учитывать действительность также было нельзя. Столь резкая смена социальных вех была естественным продолжением органичного для него демократизма (вспомним его отношение к солдатам на фронте) и осуществлением, как ему мнилось, высоких идеалов общечеловеческой справедливости — Свободы, Равенства, Братства, — воспринятых его душой с детства. В большевиках он увидел решимость воплотить эти идеалы в действительность...

И, очевидно, то было требуемое движение к раскрытию его таланта. Будто некий вышний поводырь, удержав его сперва от эмиграции, провел затем по тому жизненному кругу в России, неизвестному ему ранее, в котором он должен был встретить своих будущих героев. И когда он в «Перед восходом солнца», перечислив географические места, где побывал, и профессии, коими тогда занимался, заканчивает весь этот перечень бесстрастной, как бы в общем списке, констатацией, что в 1921 году стал писать рассказы, естественно и закономерно сделать вывод, что произошло это его писательское раскрытие в *результате трехлетнего хождения в народ*. Ведь талант образует и правит судьбу своего обладателя, и ведет его

по заветному пути с помощью самых разных побудителей, даже меланхолии, как в случае с Зоценко.

Еще одним побудителем к «перемене мест» был голод в тогдашнем Петрограде. И осенью 1918 года Зоценко едет в Смоленскую губернию, где в городе Красном, в бывшей помещичьей усадьбе «Маньково», ставшей совхозом, жила его старшая сестра Елена (Леля). Там он недолго работал на птицеводческой ферме, «прилично сдав экзамены на звание птицевода», как сказал об этом в «Перед восходом солнца». И не без иронии добавил: «Я брожу среди птиц с книгами в руках. Некоторые породы птиц я видел только в жареном виде. И вот теперь учебники мне приходят на помощь». Таким же способом, должно быть, он стал в «Маньково» и инструктором по кролиководству. А потом — была Красная армия, Нарвский фронт...

Разумеется, в этот трехлетний период им велись и попутные литературные поиски. Прежде всего он очень много читает. Зимой 1918 года увлекается Ницше и Пшибышевским, а по возвращении из Архангельска даже пишет «Философские раздумья», которые имели у него и второе название — «Боги позволяют» и в которых совершенно очевидно сильное воздействие Ницше на его размышления о человеке. И позднее, через два года, в марте 1920 года, Вера Владимировна получает от него письмо, в котором говорилось: «...посылаю тебе две любимейшие мои книги — конечно, Блок и, конечно, Ницше». Речь шла о сочинении Ницше «Так говорил Заратустра».

В это же время, в 1918 году, Зоценко впервые пробует печататься. Поначалу решает опубликовать кое-что из опытов любовной тематики. В. В. Зоценко приводит в своей статье его письмо к «Принцессе Грезе» — сотруднице «Журнала для женщин»: «У меня есть несколько милых нелепостей, несколько печальных „cartes postales“ и несколько писем, не посланных женщинам, ибо часто они не были достойны. Я пришлю их Вам, если Вы позволите, Принцесса? Мой друг сказал, что это подойдет к журналу вашему...» По неназванным причинам публикация не состоялась. Не состоялась и вторая попытка, хотя написанные им после работы в совхозе «Маньково» два рассказа были уже совершенно иного толка. Об одном — «Чудесная дерзость» — Вера Владимировна сообщает, что в нем Зоценко «выразил презрение к „бесславному“ премьеру Керенскому и невольное восхищение „чудесной дерзостью большевиков“». Однако в «Красную газету» Зоценко представил второй рассказ. В «Перед восходом солнца» дается эпизод, названный «Сыр бри» — об этой его попытке:

«Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена „Красная газета“.

В газете „Почтовый ящик“. Там ответы авторам.

Я написал маленький рассказ о деревне. И послал в редакцию. И вот теперь не без волнения ожидаю ответа.

Я написал этот рассказик не для того, чтобы заработать. Я — телефонист пограничной охраны. Я обеспечен. Рассказ написан просто так: мне казалось это нужным — написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом — М. М. Чирков.

Моросит дождь. Холодно. Я стою у газеты и просматриваю „Почтовый ящик“.

Вижу: „М. М. Чиркову. — Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри“.

Я не верю своим глазам. Я поражен. Может быть, меня не поняли?

Начинаю вспоминать то, что я написал.

Нет, как будто правильно написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой... Боже мой! Для кого же это я так написал? Разве так следовало писать?.. Старой России нет... Передо мной — новый мир, новые люди, новая речь...»

Естественно, он тотчас решает, что никогда более не «склонится к интеллигентскому труду». Но полученный хлесткий щелчок, этот «сыр бри», вызывает в нем нужную внутреннюю работу, плодотворное осознание того, что перед ним — «новый мир, новые люди, новая речь». Он на собственном опыте понял, как *не надо* писать. И это обретенное понимание направляет его не к отступлению, а к упорному поиску своего пути в литературе. Более того, в этот момент он окончательно утверждает в своей главной жизненной цели, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях и В. В. Зощенко:

«В декабре восемнадцатого года он зашел ко мне, приехав на несколько дней с фронта, из Красной Армии. В коротенькой куртке, переделанной им самим из офицерской шинели, в валенках...

Я сидела перед топящейся печкой — в крошечной моей „гостиной“ на Зеленой улице, дом 9.

Он стоял, прислонившись к печке.

Я спросила его:

— Что же для вас самое главное в жизни?

И была уверена, что услышу: „Конечно же, вы!“

Но он сказал очень серьезно и убежденно:

— Конечно же, моя литература...

И это была правда. Правда всей его жизни, потому что не было у него ничего „главнее“ его литературы, которой он отдал всего себя без остатка.

Здесь точно зафиксирована свойственная уже вполне сложившемуся,

как характер, Зоценко линия его жизненного (и житейского) поведения.

И еще одно уяснение произошло тогда же, судя по его последующим шагам: коли заниматься литературой всерьез, профессионально, надобно войти с нею в непосредственный контакт, а не через газетный «почтовый ящик».

## 2. «ЛИТИНСТИТУТ»

Так, наряду с освоением простонародного круга жизни ему потребовалось еще вхождение в круг литературный, освоение изнутри шедших там процессов, что тоже заняло около трех лет (причем оба «хождения» шли частью параллельно).

Эти уже совершенно целенаправленные литературные поиски начались вслед за полугодичным пребыванием его на фронте гражданской войны под Нарвой и Ямбургом в 1-м Образцовом полку деревенской бедноты, где он был командиром пулеметной команды, потом полковым адъютантом, и откуда снова попал в госпиталь по болезни сердца.

А летом 1919 года агент уголовного розыска Зоценко, ведомый своим сокровенным поводом, появился в только что открывшейся Студии при издательстве «Всемирная литература», которым руководил сам Горький. «Всемирка», как ее называли энтузиасты этого масштабного дела, предназначалась дать русскому читателю в образцовых переводах лучшие произведения стран и народов всего мира. И Студия должна была готовить для издательства кадры переводчиков. Нечто вроде курсов молодых переводчиков — таков был первоначальный замысел ее организаторов, быстро претерпевший, однако, кардинальные изменения.

Расположилась Студия в самой обширной квартире весьма вычурного снаружи дома, еще недавно принадлежавшего богатому греку Мурузи. В этом доме на углу Литейного проспекта и Спасской улицы жил в прежние — «мирные» — годы известный писатель и публицист Мережковский, который впоследствии, как «белоэмигрант», был вычеркнут (вместе со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус) на семьдесят советских лет из отечественной культуры. И в этом доме, уже в шестидесятые годы, до суда над ним и ссылки, проживал будущий Нобелевский лауреат по литературе Иосиф Бродский, также вынужденный потом эмигрировать из-за невозможности жить и творить в родной стране. Таким образом, дом Мурузи, стоящий и поныне в Санкт-Петербурге (вернувшем себе исконное название в начале 90-х годов), получил свою литературную судьбу.

Подобно другим студийцам «с улицы», Зощенко пришел в этот дом по объявлению (тогда вообще открывалось много всевозможных студий — театральных, цирковых, рисовальных, вышивальных, и повсюду были расклеены объявления). Народ в Студии при «Всемирке» собрался различный. Выделялись два вундеркинда — пятнадцатилетний школьник Владимир Познер, знавший наизусть Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматову и сам непрерывно писавший эпиграммы, пародии, юморески; и университетский студент Лев Лунц, поэт, тоже по виду юный школьник, свободно говоривший на пяти языках и прочитавший на них гору книг. Тут же за партой сидели широкоплечий, рослый, в кожанке и высоких сапогах, парень-коммунист Глазанов и благовоспитанный Михаил Слонимский, застенчивый, с печальными глазами молодой человек из литературной семьи, у которого дед, отец, дядя и тетя — все были писатели. Эти двое, побывавшие на войне, были переполнены впечатлениями, которые намеревались воплотить в своих произведениях. Имелись здесь, разумеется, и начинающие поэтессы. Эта часть студийцев совершенно не интересовалась мастерством перевода, их влекло собственное творчество, и Студия скоро превратилась в их клуб. Им требовалось активное литературное общение, чтение друг другу написанного, немедленный отклик.

Один из организаторов Студии К. И. Чуковский так написал о них в своих воспоминаниях:

«...их можно было принять за лунатиков, одержимых литературой как манией. Их жаркие литературные споры могли со стороны показаться безумными. Время стояло суровое: голод, холод, гражданская война, сыпной тиф, „испанка“ и другие болезни. К осени четверо наших лучших студистов погибли — кто в боях с Колчаком, кто — на койках заразных барачков. Нужна была поистине сумасшедшая вера в литературу, в поэзию, в великую ценность и силу словесного творчества, чтобы несмотря ни на что, в таком мучительно-тяжелом быту исподволь готовиться к литературному подвигу».

Эта вера в литературу поддерживалась у студистов и самими руководителями Студии, ведущими постоянные семинары. В этих стенах, писал К. И. Чуковский, «бушевал Виктор Шкловский, громя и сокрушая блюстителей старой эстетики; ...таблицами рифм и ритмов соблазнял свою паству Николай Гумилев; ...чудесные плел кружева из творений Белого, Лескова и Ремизова хитроумный Евгений Замятин...» И еще: «Студия с первых же дней походила на Вавилонскую башню. Каждый пытался навязать молодежи свой собственный литературный канон. Мудрено ли,

что в первый же месяц студисты разделились на враждебные касты: шкловитяне, гумилевцы, замятинцы». В этот перечень надо добавить и «чуковистов»...

Можно сказать, что судьба, круто проварив Зоценко в котле жизни, теперь со всею тщательностью позаботилась поместить его в благодатный литературный питомник и создала самые удачные условия для быстрого писательского созревания. Вплоть до организационных деталей: даже лекции читались по вечерам, чтобы учебу, без помех, было возможно совмещать с постоянной работой.

Торжественное открытие Студии — вытертые насухо после недавнего потопа полы, очищенные от похабщины стены, топящийся камин — в брошенной квартире, загаженной последними обитателями-беспризорниками, состоялось, как сообщает Чуковский, в июне девятнадцатого года. А уже в сентябре Студия в доме Мурузи прекратила свое существование. Но эти всего-навсего три месяца преобразились для Зоценко — с продуктивностью творящего взрыва — в целый этап практического литературного формирования. По интенсивности освоения знаний и творческих поисков эти три месяца стали, в сущности, его «литинститутом» или, по крайней мере, основополагающей частью нужной ему академической подготовки.

Держался он в студии отъединенно, замкнуто. «Нелюдимый, хмурый, как будто надменный, — вспоминает К. Чуковский, — садился он в самом дальнем углу, сзади всех, и с застылым, почти равнодушным лицом вслушивался в громкокипящие споры, которые велись у камина. Споры были неистовы. Все литературные течения того переломного времени врывались сюда, в дом Мурузи, но в первое время было невозможно сказать, какому из этих течений сочувствует Зоценко. Он прислушивался к спорам безучастно, не примыкая ни к той, ни к другой стороне».

Безучастность его была, конечно, внешней, прикрывала стремление разобраться во всем том литературном кипении самостоятельно и ограждала его независимость, достоинство. Он вообще чуждался бесцеремонности, панибратства. Обусловили дистанцирование и жизненные испытания, каких не доводилось переживать «литературным мальчикам» Студии.

Первый же реферат Зоценко, написанный по заданию Чуковского о поэзии Блока, оказался сюрпризом для всего семинара. Перед Зоценко на ту же тему прочитала свой вполне традиционный реферат одна студистка — поэтесса Елизавета Полонская, которая в своих воспоминаниях описала то достопримечательное занятие:

«Потом Зощенко начал читать свою статью, но вдруг оборвал чтение.

— Другой стиль, — заявил он.

Чуковский взял у него тетрадку:

— Давайте я прочту.

Корней Иванович стал читать вслух, привычно подчеркивая интонацией отдельные слова. Так он читал детям „Крокодил“ и „Тараканище“. Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота. Не помню, что именно было написано у Зощенко, но в чтении Чуковского это было действительно смешно „по стилю“.

Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал:

— Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения.

Зощенко взял свою тетрадь, свернул ее трубочкой и небрежно сунул в карман...»

«Своевольным, дерзким своим рефератом, идущим наперекор нашим студийным установкам и требованиям, Зощенко сразу выделился из массы своих сотоварищей, — говорит К. И. Чуковский в своей большой мемуарной работе о Зощенко (из серии интереснейших очерков „Современники“). — Здесь впервые наметился его будущий стиль: он написал о поэзии Блока вульгарным языком заядлого пошляка Вовки Чучелова, физиономия которого стала впоследствии одной из любимейших масок писателя. Тогда эта маска была для нас литературной новинкой, и мы приветствовали ее от души. Именно тогда, в тот летний вечер девятнадцатого года, мы в Студии впервые почувствовали, что этот молчаливый агент уголовного розыска с таким усталым и хмурым лицом обладает редкостной, чудодейственной силой, присущей ему одному, — силой заразительного смеха».

Задатки этой «чудодейственной силы» передались Зощенко, как видно, также по наследству — от отца-художника, помещавшего в иллюстрированной «Ниве», наиболее популярном в дореволюционной России журнальном издании, комические рисунки-картинки из жизни украинских крестьян. Здесь обнаруживает себя исток и юмора, и народности в писательском таланте Зощенко-сына.

За блоковским рефератом последовали уже непосредственные пародии — на Чуковского, Замятина, Шкловского. По глубине содержания они не уступали статьям профессиональных критиков, а сарказм автора с поразительной меткостью демонстрировал уязвимость пародируемых мэтров. Выявилось, что Зощенко обладает абсолютным слухом к слову, стилю, интонации.

К. И. Чуковский вспоминал:

«Еще резче выразилось его строптивное нежелание подчиняться нашей студийной рутине через две или три недели, когда я задал студистам очередную работу — написать небольшую статейку о поэзии Надсона.

Через несколько дней я получил около десятка статей. Принес свою работу и Зоценко — на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги.

Принес и подал мне с еле заметной ухмылкой:

— Только это совсем не о Надсоне...

— О ком же?

Он помолчал.

— О вас.

Я уже стал привыкать к его своевольным поступкам, так как еще не было случая, чтобы он когда-нибудь выполнил хоть одно задание преподавателей Студии. Чужим темам предпочитал он свои, предуказанному стилю — свой собственный.

Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку „От Чехова до наших дней“. С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя до абсурда. Пародия по значительности своего содержания стоила критической статьи, но никогда еще ни один самый язвительный критик не отзывался о моих бедных писаниях с такой сосредоточенной злостью. Именно в этом лаконизме глумления и сказалось мастерство молодого писателя.

Судя по заглавию, в пародии изображался гипотетический случай: что и как было бы написано мною, если бы я вздумал характеризовать в своей книге творчество Андрея Белого, о котором на самом-то деле я никогда ничего не писал.

Пародия меня не обидела. Ее высокое литературное качество доставило мне живейшую радость, тем более что к тому времени я уже успел отойти от своего первоначального стиля, над которым издевался пародист.

<...> Своей пародией он, начинающий автор, горделиво отгораживался от моего менторского влияния смехом и громко заявлял мне о том. Иначе, конечно, и быть не могло: без такого стремления к интеллектуальной свободе он не стал бы уже в ближайшие годы одним из самых дерзновенных литературных новаторов».

Справедливо отметить на этом примере благородство, педагогический

талант и подлинную заботу о Литературе самого К. И. Чуковского.

### 3. НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Писал Зощенко в тот период и серьезные критические статьи. Даже на какой-то момент счел, что именно литературная критика есть его подлинная стезя, столь увлекли его занятия на отделении Чуковского. Но главное все же было в стремлении наилучшим образом подготовить себя к работе писателя. Он задумал и распланировал целую книгу — «На переломе» — обзор литературы 1910–1920-х годов, состоящий из большого цикла статей по разделам: «Реставрация дворянской литературы», «Кризис индивидуализма», «На переломе», «Ложно-пролетарская литература», «Литературные фармацевты», «Нигилисты и порнографы». В поле его зрения находились прозаики и поэты — Лаппо-Данилевская, Софья Фонвизин, Зайцев, Гиппиус, Вера Инбер, Северянин, Вертинский, Блок, Маяковский, Арцыбашев, Вербицкая, А. Каменский... Со всею этой литературой Зощенко был знаком до Студии, но здесь его познания стали целенаправленно рассматриваться им применительно к своей будущей практической деятельности.

И чтобы найти собственную истинную дорогу в литературе, он посчитал необходимым строго критически рассмотреть ее тогдашние направления. Очевидно, это стремление подкреплялось и призывом полюбившегося ему в то время Ницше к «переоценке всех ценностей». Он уже пересмотрел и в корне изменил свое социальное положение и политические взгляды. Теперь подошло время для взглядов литературных.

Произведения из намеченного им раздела «Реставрация дворянской литературы», умильно описывающие жизнь светского общества (Лаппо-Данилевская, С. Фонвизин) Зощенко характеризует как «трафарет», «словабульварности» по стилю и как «убогую жизнь с ханжеской моралью, с копеечной философией» по содержанию. А вот его основные мысли о литературе, отнесенной им к разделу «кризис индивидуализма» (цитируется по статье В. В. Зощенко):

«Как же странно и как болезненно преломилась в сердце русского писателя идея, созданная индивидуализмом, — о свободном и сильном человеке!

С одной стороны — арцыбашевский Санин, в котором „сильный человек“, которому все позволено, грядущий человек-бог, обратился в совершеннейшего подлеца и эгоиста. А радость его жизни — в искании

утех и наслаждений. И бог любви — в культе тела».

«...Лишь один сильный человек во всей литературе — арцыбашевский Санин».

«Но Санин — это меньшинство, это лишь одна крайность индивидуализма, другая страшнее, другая — пустота, смертная тоска и смерть».

«С другой стороны — безвольные, „неживые“ люди».

«Вся почти литература наша современная о них, о безвольных, о неживых или придуманных, — Зайцев, Гиппиус, Блок, Ал. Толстой, Ремизов, Ценский — все они рассказывают нам о неживых, призрачных, сонных людях».

«Арцыбашев и Зайцев — два русских интеллигента с двумя крайними большими идеями свободного от всякой морали человека.

И первый создал „подлого Санина“, второй — влюбленного в смерть.

И влюбленный в смерть стал жить в каком-то бреду, во сне.

Тогда казалось, что вся жизнь — призрак и все люди — призраки.

Тогда сначала быт, а потом реальная жизнь ушли из литературы.

Бред, измышления своего „я“ родили какую-то удивительную, ненастоящую, сонную жизнь. Поэты придумали каких-то принцесс, маркизов и „принцев с Антильских островов“. И мы полюбили их, мы нежно полюбили виденья, придуманных маркиз и призрачных, чудесных Незнакомок.

Жизнь окончательно ушла из литературы».

Так, критикуя и отвергая литературу, которую он называл «поэзией смерти и безволя», Зощенко решительно отказывался и от своих недавних пристрастий к изящно-любовной тематике и стилистике.

Теперь он не сомневался в том, что должен отразить реальную жизнь. С ее реальным, повседневным бытом. Через этот неподдельный быт как поведенческую данность будущих героев. И Зощенко-критик — при некоторой неточности и субъективности своих оценок, в частности, Б. Зайцева, — энергично расчищал дорогу Зощенко-прозаику, которому предстояло сказать в литературе новое слово.

Следующая отдельная глава плана — «На переломе» — имела в другом варианте иное, уточняющее название — «Побежденный индивидуализм». Она посвящалась Блоку и Маяковскому. Считая Блока «трагическим рыцарем», «рыцарем Печального Образа», певцом призрачной, мечтаемой любви и дистанцируясь от всей этой лирической части его творчества, Зощенко отмечает его «Двенадцать» как «героическую поэму»: «Тут уж новые слова, новое творчество, и не оттого,

что устарели совершенно слова, и мысли, и идеи наши, нет, оттого, что параллельно с ними, побочно, живет что-то иное, что, может быть, и есть пролетарское».

В своем анализе современной ему русской литературы Зощенко безоговорочно принимал только Маяковского:

«Он гениальнейший поэт хаоса, разрушения.

Он совершеннейший „тринадцатый апостол“.

Он заморозил меня огромной силой своей, волей к разрушению, идеей физической силы.

Так привыкли мы к поэзии манерной Северянина, к прекрасной Гиппиус, к прекрасным строчкам Зайцева, нам поистине удивительна огромная воля к жизни поэта после умирания, пустоты, отчаяния и непротивления».

Маяковский для Зощенко в это время «тринадцатый апостол», несущий «новое свое евангелие». И тут опять, как философский фон, возникает Ницше с его требованием «переоценки всех ценностей» и учением о «сверхчеловеке», о пришествии которого вещал пророк Заратустра.

Следует отметить также, что Зощенко обращает пристальное внимание на новизну формы в творчестве Маяковского: «Все ново, кричит, как афиша, чтоб услышали, чтоб в память врезалось, впилося бы в мозг».

А раздел «Литературные фармацевты» в предполагаемой книге отводился критикам-формалистам — Брику, Шкловскому, Эйхенбауму, Чуковскому. В набросках статьи для этого раздела Зощенко возражал всем тем, кто при изучении произведений искусства ставит во главу угла скрупулезный подсчет, «сколько было си бемолей в целом цикле Вагнеровских произведений» и «сколько каких букв было в Пушкинской поэме». Он категорически не принимает постулат формалистов, что всякое произведение есть сумма самоценных стилистических приемов, оно имманентно, цель его только в самом себе, и потому творец свободен от каких-либо общественных идей. В тех же набросках есть запись Зощенко и о своем литературоведческом наставнике К. И. Чуковском: «формальными подсчетами заняты десятки страниц прекрасных изысканий о Некрасове».

«Фармацевтика» — этот свой термин применил он и в открытом споре в Студии, внезапно выступив против здешних адептов формального метода. В тот день, 10 сентября 1919 года, в «Чукоккале» — рукописном альманахе Корнея Чуковского, который он вел всю жизнь, — появился первый автограф Зощенко: «Поменьше литературной фармацевтики!» Этот его призыв следовал за записью другой участницы диспута, сделавшей на том

памятном занятии доклад, который и вызвал неожиданное по горячности выступление Зощенко. В ее записи говорилось «о многозначительном дне, когда чуковисты пошли походом на сторонников формального метода». К. И. Чуковский, посчитавший тот эпизод событием, заслуживающим быть зафиксированным в его анналах, предоставил слово обоим противникам.

Много лет спустя, в своих воспоминаниях, опубликованных в середине 60-х годов, К. И. Чуковский постарался — в возможных для того времени пределах — объективно рассказать и о своей позиции в том давнем диспуте: «Больше всего споров вызывала тогда модная литературная ересь, чрезвычайно притягательная для многих студистов. Называлась она — формализм. Многое в этой ереси казалось мне чуждым и даже враждебным. Но была в ней одна милая моему сердцу черта: внимание к форме литературных творений, которое по многим причинам было прежними критиками приглушено и ослаблено. Да и к самим создателям формального метода я не мог не питать симпатий — талантливые, молодые, широко образованные, они весело разрушали застывшие догматы свирепствовавшей в то время вульгарно-социологической школы. Но нет таких литературных (и не только литературных) течений, которые не превратились бы в пошлость, едва только их адепты увидят в них абсолютную истину. <...>».

Как известно, эта свирепствовавшая вульгарно-социологическая школа определила далее теоретический «базис» соцреализма, а формализм с его культом художественной формы и полвека спустя преследовался как вредное явление, противостоящее высокоидейному содержанию...

Помимо увлечения литературной критикой, помимо рефератов и пародий, Зощенко во время Студии непрерывно писал и приносил Чуковскому свои рассказы, фельетоны, начал даже исторический роман. И эту концентрацию нужных ему сведений, собственных литературных проб, знакомств, примеров, впечатлений, полученных в тот сжатый срок, можно сравнить с плотностью такого физического вещества, малый кубик которого весит тонны. Кроме постоянных Гумилева, Замятина, Чуковского, Шкловского, здесь дважды выступал Блок, и Зощенко с глубоким вниманием слушал, как он читал «Возмездие», «Соловьиный сад», «Скифов». Сама атмосфера Студии всецело настроила Зощенко на профессиональный лад. И, наконец, он обрел здесь приятелей — своих будущих товарищей по «Серапионову братству», образовавшемуся полтора года спустя и ставшему заметным явлением литературного процесса.

# ВХОЖДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ

## 1. ДИСК

В январе 1920 года у Зощенко умерла мать. Она скончалась от «испанки» — тяжелейшего гриппа, эпидемия которого захватила Петроград. Ей было 45 лет. О том, что пережили этой зимой он и остававшиеся в Питере две сестры, Юлия и Тамара, Зощенко написал уехавшей от них сестре Валентине: «Три месяца лютых и незабываемых мы сидели, как кроты, в черной холодной комнате, и уже третий месяц, как мамы нет в живых. Такая была лютая, совершенно лютая, совсем лютая зима. И так случилось, что одно время не было света, дров и хлеба. И это случилось накануне смерти».

Смерть матери и ее похороны на Смоленском кладбище рядом с могилой отца он описал в двух маленьких, по полстранички, главках своей автобиографической повести — «Двенадцатое января» и «Я ничего не хочу» (являющимися высокими образцами поздней психологической прозы Зощенко). А за ними — тоже полстраничная — главка «Новый путь», связанная с предыдущими и рассказывающая о том, как он стал женатым человеком:

«На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка.

Я везу эти вещи на новую квартиру.

В моей жизни перемена.

Я не мог остаться в квартире, где была смерть.

Одна женщина, которая меня любила, сказала мне:

— Ваша мать умерла. Переезжайте ко мне.

Я пошел в загс с этой женщиной. И мы записались.

Теперь она моя жена.

Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону.

Это очень далеко. И я с трудом толкаю мою тележку.

Передо мной — подъем на Тучков мост.

У меня больше нет сил толкать мою тележку. Ужасное сердцебиение. Я с тоской посматриваю на прохожих. Быть может, найдется добрая душа — поможет мне взять это возвышение.

Нет, прохожие, равнодушно посматривая, проходят мимо.

Черт с ними! Я должен сам... Если б только не перебои сердца...  
Глупо умереть на мосту, перевозя кресла и стол.

Изнемогая, я вкатываю тележку на мост.

Теперь легко».

Речь здесь, понятно, идет о Вере Владимировне, на которой Зощенко женился в 1920 году, а впервые это было напечатано в 1943 году, и весьма сдержанный тон, с которым он говорит о ней, определялся их тогдашними отношениями. (Это было вообще единственное упоминание о ней в «Перед восходом солнца».)

Взаимоотношения между ними с самого начала складывались сложно и неровно. Зощенко дважды делал ей предложение. На первое предложение в 1919 году он получил отказ. (Тогда у Веры Владимировны появился новый знакомый, и, видимо, возникал другой вариант устройства личной жизни.) И второе предложение не обошлось без словопрения. Вера Владимировна, как она пишет в воспоминаниях, заявила: «Я хочу „свободного брака“». Зощенко ответил: «Нет! брак так брак! Никаких „свобод“». Тем не менее сам Зощенко за трехлетний добрачный срок их близкого знакомства перманентно находился в отъездах из Петрограда. А перед его поездкой в Смоленскую губернию они даже решили расстаться совсем.

Сущностью, сердцевиной их взаимоотношений для Веры Владимировны была любовь — направленная на нее, принадлежащая ей. О себе же она писала: «...я никогда не могла так „жертвенно“ любить его! Я всегда требовала его любви и была несчастна, потому что не могла ее получить — такую, как мне надо... <...>» И в другом месте воспоминаний: «А что надо было делать? Наверное, больше интересоваться его „душой“, его „мыслями“ — спрашивать его о них, а не бросаться безотчетно в его объятия, лишь только мы оставались вдвоем. — Интересоваться его жизнью, его „буднями“... Быть для него другом, женой... А я была только „любовницей“!»

Сложности их будущего семейного союза обозначились, наверное, еще в том разговоре, о котором Вера Владимировна вспоминала после его смерти в своей статье «Так начинал М. Зощенко» — когда он на ее вопрос «Что же для вас самое главное в жизни?» вместо ожидаемого и желанного «Конечно, вы!» — ответил: «Конечно же, моя литература». Причем, как показало время, к литературной работе сразу присоединилось и все то, что создавало ему нужное настроение и сделалось органичным стилем жизни.

Это *главное* захватило его уже целиком. В душе Зощенко, должно быть, как удар колокола, прозвенел сигнал: «Пора!» Действительно, было

уже пора проявить себя, ему шел двадцать седьмой год, и если не теперь, то когда?! Он дважды прошел фронт, пережил политические и социальные потрясения, испытал себя во многих жизненных пробах и, наконец, со всем тщанием постарался разобраться в том единственном деле, которое звало, притягивало его всю жизнь, — чтобы обрести собственное место в этом творческом деле. И теперь, поняв окончательно свое назначение, он резко, мгновенно оборвал свои литературоведческие экзерциции, бросил начатую книгу, которая способствовала этому пониманию своего места, ушел из милиции, из угрозыска, на спокойную должность конторщика, потом помощника бухгалтера в Петроградском военном порту «Новая Голландия» и стал прямо на службе писать рассказы, совсем иные, нежели еще вчера сочинявшиеся «милые нелепости» или «сыр бри». Писал он в ту зиму 1920/1921 года и дома, допоздна, часто при лампаде, поскольку подача электричества была ограничена и производилась с перебоями. А затем, прожив у Веры Владимировны около двух лет, он переселился от нее в Дом искусств, открывшийся стараниями М. Горького в бывшем дворце известного богача Елисеева (вскоре после прекращения работы Студии в доме Мурузи). Переселился, даже несмотря на рождение в 1921 году сына.

И Дом искусств, ставший в тот момент литературным центром Петрограда и получивший свойско-сокращенное прозвание ДИСК, принял его в свое богемное общежитие.

«...этот огромный домина, — пишет К. Чуковский, который первым начинал хлопотать о выделении елисеевского дворца писателям, — выходил на три улицы: на Мойку, на Большую Морскую и на Невский — и трехэтажная квартира Елисеевых, которую предоставили Дому искусств, была велика и вместительна. В ней было несколько гостиных, несколько дубовых столовых и несколько комфортабельных спален; была белоснежная зала, вся в зеркалах и лепных украшениях; была баня с роскошным предбанником; была буфетная; была кафельная великолепная кухня, словно специально созданная для многолюдных писательских сборищ. Были комнатухи для прислуги и всякие другие помещения, в которых и расселились писатели: Александр Грин, Ольга Форш, Осип Мандельштам, Аким Волынский, Екатерина Леткова, Николай Гумилев, Владислав Ходасевич, Владимир Пяст, Виктор Шкловский, Мариэтта Шагинян, Всеволод Рождественский... И не только писатели: скульптор С. Ухтомский (хранитель Русского музея), скульптор Щекотихин, художник В. А. Милашевский, сестра художника Врубеля и другие.

Здесь же водворились три студиста, те, которые уже успели

приобщиться к писательству: Лева Лунц, Слонимский и несколько позднее — Зоценко».

Разместились писатели и художники сообразно времени — *опрошенно*, в полуподвальных комнатухах для прислуги и прочих подсобных каморах, а не в комфортабельных елисеевских спальнях. Но им и незачем было превращать персональные опочивальни в казарму, поскольку каждой творческой личности нужна для работы и житья лишь своя отдельная келья...

ДИСК, этот клуб-монастырь искусств, открылся в ноябре 1919 года и сразу закипел собственной творческой жизнью. Управлялся Дом искусств Высшим советом, куда входили писатели, художники, критики — А. Ахматова, Ю. Анненков, А. Волынский, М. Добужинский, Е. Замятин, К. Петров-Водкин и другие причастные к искусству лица. Литературным отделом руководил К. Чуковский. Его стараниями были организованы библиотека и книжная лавка, началось, несмотря на бесчисленные препятствия, издание журнала «Дом искусств», наладились постоянные публичные лекции и литературные вечера. В сентябре 1920 года здесь принимали приехавшего в Россию из Англии Герберта Уэллса, этот вечер вел М. Горький. Сюда из Москвы приезжал Маяковский — читать новую поэму «150 000 000»; по несколько раз выступали Горький и Блок; частым гостем был знаменитый юрист и судебный оратор, почетный петербургский академик Кони, близко знавший Толстого, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Гончарова, Чехова; о своем понимании театра вел речь Немирович-Данченко, о работе художника — Петров-Водкин. Не говоря уже о выступлениях поэтов, прозаиков, литературоведов, населявших ДИСК или ведущих семинары в возродившейся здесь Студии. Здесь выступал О. Мандельштам, и А. Грин впервые прочел свою повесть «Алые паруса»...

Таким образом, у Зоценко продолжился его «литинститут».

В его автобиографической повести есть раздел «1920–1926», который начинается главкой «Дом искусств»:

«Этот дом на углу Мойки и Невского.

Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера.

Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже две критические статьи и четыре рассказа. И все они очень одобрены.

Я хожу по коридору и смотрю на литераторов.

Вот идет А. М. Ремизов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов — отец-настоятель „Обезьянней вольной палаты“. Вот

стоит Е. И. Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке.

Он с кем-то разговаривает по-английски.

Идет Шкловский. Он в восточной тубетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит — кроме себя и противника.

Я здороваюсь с Замятиным.

Обернувшись ко мне, он говорит:

— Блок здесь, пришел. Вы хотели его увидеть...

Вместе с Замятиным я захожу в полутемную комнату.

У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара. Высокий лоб. И нетемные, волнистые, почти курчавые волосы.

Он стоит удивительно неподвижно. Смотрит на огни Невского.

Он не оборачивается, когда мы входим.

— Александр Александрович, — говорит Замятин.

Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас.

Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие.

Блок протягивает руку — она вялая и безжизненная.

Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытии... Я бормочу извинения.

Немного глухим голосом Блок спрашивает меня:

— Вы будете выступать на вечере?

— Нет, — говорю я. — Я пришел послушать литераторов.

Извинившись еще раз, я торопливо ухожу. <...>

<...> Я думаю — неужели это пресыщение?»

Эта глава идет в его повести вслед за приведенным выше эпизодом «Новый путь» (где Зощенко рассказал о своей женитьбе) и относится по времени к 1920 году, когда он еще не переселился от Веры Владимировны в ДИСК, а упоминаемые им статьи и рассказы не были опубликованы. Но — «все они очень одобрены», то есть читались в рукописи, обсуждались, имели успех в здешнем кругу. Причем отдельные словечки и выражения из них — такие, как «поручик ничего себе, но сволочь», «блекота», «человек, одаренный качествами», «не для цели торговли, для цели матери» — стали широко цитироваться и вошли в обиход как «зощенковские». Верный симптом признания.

К. И. Чуковский, рассказывая о Зощенко периода Дома искусств, констатировал: «Здесь-то и расцвело дарование Зощенко, здесь началась его первая слава. Здесь он прочитал только что написанные „Рассказы

Назара Ильича господина Синябрюхова“. Восхищаясь многоцветною словесною тканью этого своеобразного цикла новелл, студисты повторяли друг другу целые куски из „Виктории Казимировны“ и „Гиблого места“».

И тут, в ДИСКе, Зоценко вступил в литературное сообщество «Серапионовы братья», которое составилось частью из студистов, частью из активных молодых авторов, устремившихся в ДИСК как в средоточие литературной жизни Петрограда, тогдашней культурной столицы страны.

В 1930 году в нескольких номерах журнала «Звезда» был напечатан роман Ольги Форш «Сумасшедший Корабль», в котором описывался ставший уже знаменитым ДИСК, его обитатели и давалась общая картина литературной жизни тех лет на фоне событий эпохи. В следующем 1931 году роман вышел отдельным изданием, а затем в течение почти шестидесяти лет, до 1988 года, ни разу не переиздавался, несмотря на неоднократные попытки автора и на то, что «Сумасшедший Корабль» продолжал свое плавание в памяти литературоведов и библиофилов.

В романе под вымышленными именами говорилось о реальных лицах. Из обитателей ДИСКА, например, Слонимский стал Копильским, Зоценко — Гоголенко, сама Ольга Форш предстала сразу в трех видах — как автор романа, как писательница Долива и как историк литературы педагог Сохатый. И в своем авторском тексте она так зафиксировала происходивший тогда в сфере культуры переломный процесс:

«В Сумасшедшем Корабле сдавался в архив истории последний период русской словесности. Впрочем, не только он, а весь старорусский лад и быт. Точней сказать, для быстрой замены России четырьмя буквами СССР ампутировались еще не изжитые временем былые формы. И как сводка работы русской мысли и воли к жизни предстали Четверо. Они заканчивали кусок истории.

Четверо — Гаэтан с „голубым цветком“ Новалиса, пересаженным в отечественный город, Инопланетный Гастролер с своим „Романом итогов“ русского интеллигента, матерой мужик Микула, почти гениальный поэт, в темноте своей кондовой метафизики, берущей от тех же народных корней, что и некий фатальный мужик, тяжким задом расплющивший трон. Четвертым сдавателем был Еруслан, тот, чья воля была, как у Васьки Буслаева, разукрасить нашу землю, как девушку».

Под именем Гаэтана автором романа был выведен Александр Блок (в драме Блока «Роза и крест» имеется персонаж — трувер Гаэтан); Инопланетный Гастролер — Андрей Белый с его самым значительным произведением, романом «Петербург»; Микула — поэт Николай Клюев (в

строках о нем есть намек на Григория Распутина); Еруслан — А. М. Горький.

Ольгу Форш связывали с Горьким многолетние дружеские отношения. В 1927 году она провела у него в Сорренто три недели. Стараясь отразить в романе роль Горького в период разрыва русской истории и отмены «старорусского лада и быта», Ольга Форш пишет:

«Он пришел как рабочий и вместе интеллигент. И еще: он пришел не как отдельный человек, а как синтез, предваривший свершение революционных событий. Он сплав интеллигента и рабочего в гармоничное целое и стоит в последнем десятилетии как славный памятник и как укоризна истории, потому что он — встреча двух классов, и встреча без взаимного истребления.<...>

<...>...основное свойство Еруслана — художник.

Это свойство художника принимать в себя, пронизываться природой объекта, сделало то, что он мог уже тогда, раньше всех, со всей искренностью чувствовать одновременно за „нас“ и за „них“ и с одинаковой силой защищать перед „нами“ „их“, а перед „ними“ „нас“.

Словом, когда вступило в силу правительство „е г о“, он лег мостом между ими и нами.

Сейчас позабыли, но мы все *прошли по нему*.

Осенью двадцатого года его усилиями открыт был для нас Сумасшедший Корабль, и Дом ученых, и многое еще...»

«Интеллигенция и революция», «интеллигенция и пролетариат» — такие жгучие идеологические проблемы волновали тогда деятелей искусства, которые приняли большевистский Октябрь и надеялись на разрешение вопросов культуры в гуманистическом направлении. И Горький был в этих упованиях их главным оплотом.

Когда Ольга Форш писала свой роман (К. Чуковский упоминает в своем «Дневнике» о ее намерении «написать хронику Дома искусств» в мае 1928 года), в СССР уже пришла на смену русской классической и предреволюционной литературе литература *советская*. И в ряду наиболее заметных новых прозаиков, таких, как Пильняк, Бабель, Леонов, Эренбург, находилась и когорта «серапионов» — Всеволод Иванов, Федин, Зощенко. Но в «Сумасшедшем Корабле» среди его обитателей Зощенко — под именем Гоголенко — упоминается лишь мельком, один раз. Это понятно: действие романа происходило в 1920–1922 годах, когда Зощенко еще готовился к вхождению в литературу и только начинал печататься. И поселился он в ДИСКе в конце указанного периода. Однако именно Ольга Форш, не называя его, дала там весьма важную и глубокую оценку его

сложившегося затем творчества: «Единственный случай в литературе, когда писателем был угадан не единоличный герой, а выхвачен целиком весь быт грядущего».

## 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Непосредственное вхождение Зощенко в литературу состоялось в 1922 году, когда последовал сразу целый ряд его публикаций, что можно было бы по-военному назвать «фронтальным наступлением» в отличие от более обычного дебюта с разовым, как заявка о себе, выступлением в печати. Один за одним и во многих периодических изданиях — журналах, альманахах, газетах — были напечатаны его рассказы «Гришка Жиган», «Лялька Пятьдесят», «Черная магия», «Веселая жизнь», «Любовь», «Метафизика», а центральным событием в этом ряду стало появление его первой книги «Рассказы Назара Ильича господина Синеврюхова» (причем один из «синеврюховских» рассказов — «Виктория Казимировна» — увидел свет еще до выхода книги в альманахе «Серапионовы братья»), И все эти публикации не исчерпали того количества рассказов, которые он написал за предыдущий 1921 год.

Здесь особо надо отметить, что в том 1921 году, когда Зощенко, весь погрузившись в работу, с охватившим его творческим подъемом писал эти свои уже совершенно профессиональные рассказы, он не делал попыток их печатать — только читал на вечерах в ДИСКе и на заседаниях «Серапионовых братьев». Как видно, он хотел теперь (памятуя «сыр бри») заранее убедиться в их настоящей ценности, действовать наверняка. Он со всей серьезностью и полученным опытом готовил свое вхождение в литературу — и потому, что считал это дело исключительно ответственным, и потому, что обладал обостренным чувством собственного достоинства.

Так, рассказ «Старуха Врангель», написанный в апреле 1921 года (а опубликованный лишь через два года в книге «Разнотык»), был сперва прочитан на заседании «Серапионов», где было решено показать его (вместе с рассказом М. Слонимского) Горькому, который уже проявлял интерес к этому литературному «братству». И 2 мая 1921 года Михаил Слонимский, исполнявший у них функции координатора, пишет Горькому: «Многоуважаемый, дорогой Алексей Максимович, посылаю Вам две рукописи: М. Зощенки — рассказ „Старуха Врангель“ и свой рассказ. Зощенко — новый Серапионов брат, очень, по мнению Серапионов,

талантливый». Горький, находившийся в России, в Питере, откликнулся через два дня — он немедленно прочел рассказы и захотел побеседовать с обоими авторами. И так же, не откладывая, встретился с ними. Из майской дневниковой записи Зощенко известно, что Горький весьма одобрил рассказ. (Впоследствии, в автобиографии, приложенной к «Возвращенной молодости», Зощенко указал, что Горький тогда же «помог мне материально» и «устроил академический паек».)

Затем, в том же мае, Зощенко читает этот рассказ в ДИСКе, что было описано К. И. Чуковским в своем «Дневнике» и явилось первым упоминанием там имени Зощенко:

«<...>Вчера вечером в доме Искусств был вечер „Сегодня“ с участием Ремизова, Замятина — и молодых: Никитина, Лунца и Зощенко. Замятин в деревне — не приехал. Зощенко — темный, больной, милый, слабый, вышел на кафедру (т. е. сел за столик) и своим еле слышным голосом прочитал „Старуху Врангель“ — с гоголевскими интонациями, в духе раннего Достоевского. Современности не было никакой — но очень приятно. Отношение к слову — фонетическое.

Для актеров такие рассказы — благодать. „Не для цели торговли, а для цели матери“ — очень понравилось Ремизову, к-рый даже толкнул меня в бок. Жаль, что Зощенко такой умирающий: у него как будто порвано все внутри. Ему трудно ходить, трудно говорить: порок сердца и начало чахотки. <...> Человек было 150, не больше. <...>».

После этого чтения А. М. Ремизов ввел Зощенко в свою шутейную «Обезьянью великую и вольную палату» («Обезвелволпал») и вручил «Обезьяний Знак», представлявший собой его собственноручный рисунок. Членами этой «палаты» были Александр Блок, А. Белый, М. Горький, М. М. Пришвин, Анна Ахматова, Н. Гумилев и другие приятные Ремизову лица. Отметим, что А. М. Ремизов был, вероятно, первым, кто увидел связь Зощенко с Гоголем в самой сути его рассказов (К. И. Чуковский, говоря о «фонетическом» отношении Зощенко к слову, уловил прежде всего в них «гоголевскую интонацию» и «дух» раннего Достоевского).

Примерно та же история, что со «Старухой Врангель», повторилась с рассказом «Рыбья самка», написанным еще в 1920 году. У «Серапионов» рассказ читался в 1921 году. Тогда же его прочел и Чуковский, а в августе 1921 года в своей дневниковой записи Зощенко фиксирует: «Очень понравилась Алексею Максимовичу „Рыбья самка“». Но опубликовал рассказ впервые в 1923 году. Аналогично было, как уже говорилось, и с «Рассказами Назара Ильича господина Синябрюхова». Еще за год до издания книги все обитатели ДИСКа широко использовали слова и

выражения ее героя, ставшие там крылатыми.

К этому напряженному литературному бытию добавились в 1921 году и семейные хлопоты — когда у Зоценко родился сын. И нужно было на лето снять дачу и перевезти туда жену с ребенком. Должно быть, поэтому Горький, организовавший и возглавивший Комиссию по улучшению быта деятелей искусства, и оказал ему при первой же встрече материальную помощь, которая однако быстро разошлась на многие нужды. Он еще продолжал работать помощником бухгалтера в «Новой Голландии», но денег все равно не хватало. Сохранившиеся письма Зоценко к жене дают представление о бытовой стороне его тогдашней жизни. Вот письмо от июня 1921 года:

«Вера, ты странный человек. Мы условились взять твои сапоги — я взял. Заплатил 10 тысяч.

Теперь ты пишешь (мне передала мама письмо), чтоб я тебе прислал эти деньги и еще 10 тысяч.

Денег у меня нету. Достать их раньше как через неделю не смогу. Об этом нужно было раньше думать. И потом: ты только переехала. Я думаю, достаточно хозяевам пока половины цены.

Мне вот сейчас нужно платить 6 тысяч за дрова. Черт их знает, откуда достать, придется продать крупу или селедки.

Хлеб я получу в понедельник, только во вторник приеду сам. Твой же хлеб выслал тебе.

Если нужно, могу прислать крупы. Напиши.

Посылаю порошок для мальчика и книги.

Все остальное: корыто, блузки, костюм, хлеб привезу сам.

Пока целую. Мих. <...>

Поцелуй мальчика. Мих.

Во вторник побранимся».

(В письме упоминается мать Веры Владимировны — Мария Михайловна.)

А в другом письме, посланном вскорости, чувствуется его удовлетворенность и даже веселость от получения им академического пайка, кроме тех продуктов, которые выдавали населению по карточкам:

«Пущено июля 1 дня.

С совершенным своим решпектом посылаю Вам, жена моя Вера, один малый куверт песку — сахарного рефинада, другой малый куверт, но побольше — белой вермишели и вовсе малый оковалок свинины.

Оные съестные припасы питания получены мною добавочным

образом из ученого Дома в размере от руки ниженаписанном:

*песку рефинада* —  $\frac{5}{8}$

*белой вермишели* (оную вермишель вкусно уваривать в коровьем молоке) — 1 ф.

*крупы* с крысиным пометом — 2 ф.

*оковалок кабана* некрупного зело с костями и со сбоем — 1  $\frac{1}{2}$  ф.

Сие все, окромя протчей съестной рухлядишки и курительного табаку.

Впредь выдача припасов приостановлена, дондеже из Кремля разрешения не получим.

Но и сие нужно пока держать в селенсе, дабы пашквиль и кривотолки не случились.

Засим предворяю Вас, што жизнь в Санкт-Петербурхе премного слаще в холостом образе, чем в женатом, и даже жизнь эта сладчайшая.

Так вчерась случилось посетить театр, где усладил слух и зрение отменной музыкой и позорищем комедиантов и плясунов. И так сие востряхнуло молодые годы, годы даже вьюношеские, што буде случится машкерад, пребуду и в машкераде.

Сапоги же Ваши изготовлены весьма изрядно, и оные сапоги во избежание покражи содержатся мною за картиной родной Вашей бабушки, што висит в углу красной гостиной комнаты.

Засим до свидания — куранты бьют пять пополудни.

Повелеваю пребыть Вам и семье нашей в добром здравии.

Супруг Ваш Михаил, он же кавалер ордена Обезьяньего Знака».

Как видим, в 1921 году Зощенко говорит о своем «кавалерстве» в «Обезьяньей великой и вольной палате» весело и не без гордости, не то что в 1943 году, когда он карикатурно, слегка прикрывшись объективностью, изобразил Ремизова (находившегося в эмиграции) и, понятно, вовсе не упомянул о своей причастности к учрежденной им в то время «Палате». И когда даже само название подобного имени могло считаться уже смелостью...

Но, конечно, главной его литературной компанией в 20-е годы были «Серапионовы братья». Именно здесь прошли предварительную *обкатку* — чтением и обсуждением — его первые опубликованные рассказы.

### **3. «СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ»**

Так нарекла свое сообщество группа молодых литераторов, составившая это «братство» в феврале 1921 года в Петрограде и взявшая

для него название одного из романов почитаемого ими немецкого романтика, мистика и сатирика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Подобно персонажу романа, графу П., объявившему себя пустынноиком Серапионом времен римского императора Деция и ушедшему от светского общества в лес, где он жил со своими виденьями, считая их реальностью, истиной, они видели свою истинную обитель в Литературе, которую решительно отделяли от всякой политики. И главной целью этих «братьев» явилось служение именно Литературе. А для атрибутики сообщества «серапионы», имея в виду великое старание, требуемое в их работе, придумали пароль-приветствие, которым обменивались друг с другом при встрече: «Здравствуй, брат. Писать очень трудно».

Они быстро привлекли к себе внимание в литературных кругах. Петроградский бюллетень «Новая книга» в первом номере 1922 года информировал: «В феврале истек год со дня основания в Петрограде литературного общества „Серапионовы братья“. За этот год общество устроило 50 закрытых литературных вечеров, на которых „братьями“ были прочитаны и подвергнуты критическому разбору новые произведения членов общества. Кроме этих закрытых вечеров молодые беллетристы (М. Зощенко, Вс. Иванов, Л. Лунц, Ник. Никитин, Мих. Слонимский, Конст. Федин и др.) выступали в Доме искусств и Доме литераторов в публичных живых альманахах». (Нетрудно подсчитать, что «молодые беллетристы» собирались на закрытые заседания для бескомпромиссного обсуждения своих работ еженедельно.)

Следом появилась и статья главного редактора «толстого» московского журнала «Красная новь» А. Воронского о новых именах в художественной прозе. Перечисляя эти имена (большинство из которых были «серапионы» — Всев. Иванов, Ник. Никитин, Конст. Федин, Мих. Зощенко), Воронский писал: «При всем различии в характере их творчества, есть у них всех много общего: они вышли из революции, пережили ее, стремятся каждый по-своему ее отобразить, их тянет к быту, к современности, к недавним дням. Их реализм причудливо порой переплетается с Гофманом, — это потому, что в нашем быту так много страшного, фантастического, не укладывающегося в нормальные рамки». (Тогда еще можно было писать столь раскованно. А. К. Воронский был расстрелян в 1937 году.)

Вскоре петроградский журнал «Литературные записки» напечатал статью Евгения Замятина «Серапионовы братья», где весьма проникательно разбирались произведения Зощенко, Вс. Иванова и Никитина. И в том же 1922 году «Литературные записки» в своем третьем номере, вышедшем в августе, опубликовали целую большую тематическую

подборку материалов — «Серрапионовы братья о себе» и дали их коллективное фото. (Эта публикация стала значительным документом в истории советской литературы: к ней обращались впоследствии как с литературоведческими целями, так и сугубо политическими, для идеологической компрометации «серрапионов» и прежде всего Зоценко.)

Подборку открывал Михаил Слонимский с кратким рассказом о создании их сообщества:

«Первое собрание Серрапионовых братьев состоялось 1-го февраля 1921 года, в Доме Искусств. Были тогда: Зоценко, Лунц, Никитин, Груздев, Виктор Шкловский, Каверин, я и поэты — Вл. Познер и Е. Полонская. Через месяц явились Всеv. Иванов, Федин и позже всех Николай Тихонов, поэт.

Решили собираться вольно, без устава, и новых членов принимать, руководствуясь только интуицией. Тоже — и в отношении „гостишек“. Все, что писали, читалось на собраниях. То, что нравилось, признавалось хорошим; что не нравилось — плохим. Пуще всего боялись потерять независимость, чтобы не оказалось вдруг „Общество Серрапионовых братьев при Наркомпросе“ или при чем-нибудь другом. Печатались и печатаемся в разных местах, вразброд, но надеемся в будущем на свой журнал. Пока выпустили только один свой альманах (в изд-ве „Алконост“). Этот же альманах печатается в „Русском Творчестве“ в Берлине. Туда же (Алексею Толстому и Максиму Горькому) отправлен второй альманах...»

Уточним: В. Шкловский приходил на их собрания как «гость», а упомянутый Вл. Познер не вернулся более в Россию из Парижа, куда уехал вскоре с родителями.

В числе других членов сообщества Зоценко опубликовал тогда статью «О себе, об идеологии и еще кое о чем» (из которой уже цитировались некоторые биографические подробности). Но кроме сведений «о себе», Зоценко написал там и о своих политических и литературных взглядах. Верный своему чувству истинности, он во всеуслышание настаивал на всем том, что не разделяет, а объединяет людей: на любви к Пушкину, на отрицании ненависти к кому бы то ни было, на том, что быть «просто русским» важнее узкопартийной принадлежности. И хотя он по чистосердечности принимал на веру лозунги и обещания большевиков, его статья оказалась самой актуальной среди всех выступлений «серрапионов».

Половина из них вообще не касались никакой политики, другие говорили о революции почти в историческом плане и как о факте в своей дописательской биографии, но об идеологии, о раздававшихся требованиях к писателям «идеологически определиться», о надвинувшейся угрозе

идеологической униформы — никто не сказал ни полслова. Они как бы откинули от себя всю эту злободневность и политику, переадресовав их в манифест, подписанный Лунцем.

Лев Лунц был широко образованным молодым человеком, свободно владевшим пятью языками и прекрасно знавшим мировую литературу. Дарования его были блестящи и многогранны — поэзия, проза, драматургия, публицистика, научная работа (по окончании университета в 1922 году его оставили на кафедре западноевропейской литературы). Всеми литературными жанрами, в которых он работал, Лунц овладевал стремительно, увлеченно, писал зрело и глубоко. Он умер от воспаления мозга в 1924 году в Гамбурге, двадцати трех лет.

И именно он стал знаменосцем — «прапорщиком» — «Серапионовых братьев». А его статья в подборке «Литературных записок» явилась настоящим манифестом этой группы. Манифестом, в котором теоретические проблемы литературы рассматривались в контексте обстоятельств тогдашней действительной жизни. Называлась статья «Почему мы Серапионовы Братья». Приведем ее с некоторыми сокращениями:

«1

„Серапионовы Братья“ — роман Гофмана. Значит, мы пишем под Гофмана, значит, мы — школа Гофмана.

Этот вывод делает всякий, услышавший о нас. И он же, прочитав наш сборник или отдельные рассказы братьев, недоумевает: „Что у них от Гофмана? Ведь, вообще, единой школы, единого направления нет у них. Каждый пишет по-своему“.

Да, это так. Мы не школа, не направление, не студия подражания Гофману.

И поэтому-то мы назвались Серапионовыми Братьями. <...>

Мы назвались Серапионовыми Братьями, потому что не хотим принуждения и скуки, не хотим, чтобы все писали одинаково, хотя бы и в подражание Гофману.

У каждого из нас свое лицо и свои литературные вкусы. У каждого из нас можно найти следы самых различных литературных влияний. „У каждого свой барабан“, — сказал Никитин на первом нашем собрании.

Но ведь и Гофманские шесть братьев не близнецы, не солдатская шеренга по росту. <...>

А споров так много. Шесть Серапионовых Братьев тоже не школа и не направление. Они нападают друг на друга, вечно не согласны друг с другом, и поэтому мы назвались Серапионовыми Братьями.

В феврале 1921 года, в период величайших регламентаций, регистраций и казарменного упорядочения, когда всем был дан один железный и скучный устав, — мы решили собираться без уставов и председателей, без выборов и голосований. <...>

## 2

<...> Мы верим в реальность своих вымышленных героев и вымышленных событий. Жил Гофман, человек, жил и Щелкунчик, кукла, жил своей особой, но также настоящей жизнью.

Это не ново. Какой самый захудалый, самый низколобый публицист не писал о живой литературе, о реальности произведений искусства?

Что ж! Мы не выступаем с новыми лозунгами, не публикуем манифестов и программ. Но для нас старая истина имеет великий практический смысл, непонятый или забытый, особенно у нас, в России.

Мы считаем, что русская литература наших дней удивительно чинна, чопорна, однообразна. Нам разрешается писать рассказы, романы и нудные драмы — в старом ли, в новом ли стиле, — но непременно бытовые и непременно на современные темы. Авантюрный роман есть явление вредное; классическая и романтическая трагедия — архаизм или стилизация; бульварная повесть — безнравственна. Поэтому: Александр Дюма (отец) — макулатура; Гофман и Стивенсон — писатели для детей.

А мы полагаем, что наш гениальный патрон, творец невероятного и неправдоподобного, равен Толстому и Бальзаку; что Стивенсон, автор разбойничьих романов, — великий писатель; и что Дюма — классик, подобно Достоевскому.

Это не значит, что мы признаем только Гофмана, только Стивенсона. Почти все наши братья как раз бытовики. Но они знают, что и другое возможно. Произведение может отражать эпоху, но может и не отражать, от этого оно хуже не станет. И вот Всев. Иванов, твердый бытовик, описывающий революционную, тяжелую и кровавую деревню, признает Каверина, автора бестолковых романтических новелл. А моя ультра-романтическая трагедия уживается с благородной, старинной лирикой Федина.

Потому что мы требуем одного: произведение должно быть органичным, реальным, жить своей особой жизнью.

*Своей особой жизнью.* Не быть копией с натуры, а жить наравне с природой. Мы говорим: Щелкунчик Гофмана ближе к Челкашу Горького, чем этот литературный босяк к босяку живому. Потому что и Щелкунчик и Челкаш выдуманы, созданы художником, только разные перья рисовали их.

## 3

И еще один великий практический смысл открывает нам устав пустынного Серапиона.

Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. „Кто не с нами, тот против нас! — говорили нам справа и слева. — С кем же вы, Серапионовы Братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?“

С кем же мы, Серапионовы Братья?

Мы с пустынным Серапионом.

Значит, ни с кем? Значит — болото? Значит — эстетствующая интеллигенция? Без идеологии, без убеждений, наша хата с краю?..

Нет.

У каждого из нас есть идеология, есть политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит. Так в жизни. И так в рассказах, повестях, драмах. Мы же вместе, мы — братство — требуем одного: чтобы голос не был фальшив. Чтоб мы верили в реальность произведения, какого бы цвета оно ни было.

Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность. Пора сказать, что некоммунистический рассказ может быть бездарным, но может быть и гениальным. И нам все равно, с кем был Блок — *поэт*, автор „Двенадцати“, Бунин — *писатель*, автор „Господина из Сан-Франциско“.

Это азбучные истины, но каждый день убеждает нас в том, что это надо говорить снова и снова.

С кем же мы, Серапионовы Братья?

Мы с пустынным Серапионом. Мы верим, что литературные химеры особая реальность, и мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь. И, как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать.

4

Братья!

К вам мое последнее слово.

Есть еще нечто, что объединяет нас, чего не докажешь и не объяснишь, — наша братская любовь.

Мы не сочлены одного клуба, не коллеги, не товарищи, а —

**БРАТЬЯ!**

Каждый из нас дорог другому, как писатель и как человек. В великое время, в великом городе мы нашли друг друга, — авантюристы, интеллигенты и просто люди, — как находят друг друга братья. Кровь моя говорила мне: „Вот твой брат!“ И кровь твоя говорила тебе: „Вот твой

брат!“ И нет той силы в мире, которая разрушит единство крови, разорвет союз родных братьев.

И теперь, когда фанатики-политиканы и подслеповатые критики справа и слева разжигают в нас рознь, бьют в наши идеологические расхождения и кричат: „Разойдитесь по партиям!“ — мы не ответим им. Потому что один брат может молиться Богу, а другой Дьяволу, но братьями они останутся. И никому в мире не разорвать единства крови родных братьев.

Мы не товарищи, а —  
БРАТЬЯ!»

Итак, Литература — вот Бог-объединитель для «серапионов», вот та реальность, в которой они вместе, вот в чем их родство, единство крови, их прибежище и братская жизнь, несмотря ни на что происходящее вокруг. И вот когда проявляется в них высокий дух, их истинность и взаимная любовь. Эта реальность — Литература — состоит из отдельных писателей и отдельных произведений, написанных в широком спектре тем, жанров, стилевых направлений. Из произведений, чуждых фальши, делающих реальностью своих вымышленных героев и вымышленные события, и из подлинных талантов, способных на их создание. А вопросы политики, идеологии — это принадлежность другой реальности, повседневной жизни, в которой каждый из творцов тоже имеет право быть самим собой, иметь свои приверженности, свой лагерь. Но то единство крови по Литературе, которое сделало их родными Братьями, не разорвут никакие иные силы окружающего мира, даже в дни мощного политического напряжения, даже в период величайших регламентаций, регистраций и казарменного упорядочения. Ибо в Литературе, исповедуя истинность произведения, творец становится выше любых пристрастий, в том числе «дьявольских»... Таков был пафос романтической статьи Льва Лунца.

Но эта уверенность (а скорее заклинание) в прочности Братства, помимо указанной соединяющей силы, должна была иметь еще одну неперемнную скрепу, само собою разумеющуюся и потому не высказанную впрямую, — высокую человеческую порядочность, тот всепроникающий нравственный закон поведения каждого «серапиона» по отношению друг к другу и в жизни вообще, который и поднимал бы их над повседневным бытом и над политикой. И в сфере которого, в конечном счете, должны были впоследствии решаться все их внутренние проблемы. Здесь каждому из них предстояло выдержать или не выдержать испытание временем. Ибо здесь как раз и вступал в полную силу «свой барабан», шаг за шагом

неизбежно определяющий движение по самой жизни, не только в литературе...

А пока — свобода творчества, искренность таланта, реальность и органичность литературного произведения, полная независимость искусства от идеологии, политики, пропаганды и безусловная порядочность взаимоотношений — все это было как раз то самое, чего жаждала и душа Зощенко и что привело его в Серапионово Братство.

Естественно, у них не обходилось и без курьезов. Один случай описал в своих воспоминаниях В. Каверин. Произошло это все в том же насыщенном событиями 1922 году. Как пишет Каверин, франтовато приодевшийся Зощенко — у него только что вышла в свет первая книга «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» — пришел на очередное заседание «серапионов» попозже других и вместе с тремя хорошенькими актрисами гастролировавшего в Петрограде драматического театра. В тот субботний вечер читали поэты — Николай Тихонов и единственная среди них «серапионова сестра» Елизавета Полонская. «Гостишек» не было, и приход Зощенко с приглашенными им актрисами нарушил, как показалось Каверину, сердечную атмосферу собрания — он вообще являлся ревнивым сторонником замкнутости их «ордена». Пришедшие актрисы тоже стали читать стихи. После чего раздраженный Каверин обрушился на них с язвительной критикой. Девушки обиделись и ушли. Зощенко их проводил. Все «братья» крепко ругали Каверина. А когда вернулся Зощенко, все разом замолчали, увидев, что его смуглое лицо стало бледным от бешенства. Но Зощенко, не повышая голоса, жестко назвал Каверина ханжой и потребовал, чтобы «серапионы» его осудили. Однако Каверин по-мальчишески самолюбиво не счел себя виноватым, уперся и объявил, что готов к встрече «лицом к лицу», чтобы решить спор... Дуэль не состоялась. Зощенко два дня не выходил на улицу — ждал секундантов Каверина, как и полагалось в таких случаях, ведь он назвал его ханжой. А Каверин, написавший несколько предсмертных записок, ибо был уверен, что недавний офицер Зощенко, имеющий к тому же право в данной ситуации на выбор оружия, запросто его убьет, упорно ждал секундантов от своего противника у себя дома. Они вскоре встретились лоб в лоб на другом собрании «серапионов», которые тут же энергично стали их мирить, и они обнялись, поцеловались...

«Серапионы», конечно, прекрасно сознавали, что своим успешным вхождением в литературу они во многом были обязаны Горькому, и гордились этим. И после его отъезда из России за границу в 1922 году они

постоянно переписывались с ним. А Горький продолжал следить за их судьбой и старался всячески их поддержать. Вот статья М. Горького «Группа „Серапионовы братья“», написанная им за границей весной 1923 года и опубликованная тогда же бельгийским журналом в переводе на французский язык. Рассказав о «Студии переводчиков» при издательстве «Всемирная литература» и перечислив (с некоторыми неточностями) участников создавшейся «группы», студистов и нестудистов. Горький говорит:

«...Все они начали писать рассказы и стихи, подвергая работы свои взаимной жестокой критике и подробной оценке руководителей.

Эта критика скоро внушила им общий лозунг:

„Писать очень трудно“.

Они хорошо помнят этот лозунг и при встречах шутя говорят друг другу: „Здравствуй, брат! Писать очень трудно“. Талантливость этих юных людей, а также искусство руководителей их дали за два года совместного труда результаты, которые я решаюсь назвать исключительными... <...> Все они жили в условиях невыносимо тяжелых, некоторые из них, истощенные голодом и холодом, нередко принуждены были лежать целые сутки, для того чтоб не так остро чувствовать голод. Хлеб и селедка считались роскошью среди них, целые недели приходилось питаться только сушеными овощами. Эти условия особенно тяжело отзывались на юношах, уже ранее подорвавших свое здоровье, каков, например, М. Зощенко, отравленный на войне ядовитым газом. <...> Нет сомнения, что многие из них погибли бы в эти тяжелые годы холода и голода, если б всех „братьев“ не связывало искреннее и крепкое чувство действительной дружбы и если б они не умели самоотверженно помогать друг другу. Это они умеют. В тяжелой истории русской литературы я не знаю ни одной группы писателей, которая бы жила так братски, без зависти к таланту и успеху друг друга, с таким глубоким чувством солидарности и бескорыстной любовью к своему делу, которое я, не находя другое слово, называю священным.<...>

Я слежу за духовным ростом „Серапионовых братьев“ с великими надеждами. Мне кажется, что эти молодые люди способны создать в России литературу, в которой не будет ни квиетизма, ни пассивного анархизма Льва Толстого, из нее исчезнет мрачное садистическое инквизиторство Достоевского и бескровная лирика Тургенева. Русское „скифство“, „евразийство“ и прочие виды скрытого славянофильства или хвастливого национализма не найдут сторонников среди „Серапионовых братьев“. „Серапионовы братья“ аполитичны, но они активны, влюблены в

начало волевое, глубоко понимают культурное значение труда и заинтересованы просто человеком, каков он есть, вне сословий, партий, национальностей и верований. Они хорошо понимают, что Россия может нормально жить только в непрерывном общении с духом и гением Запада».

Затем Горький дает персональную и достаточно похвальную характеристику «тех людей, от которых, — как он писал, — не один я ожидаю обновления русской литературы»: Льва Лунца, Вениамина Зильбера (Каверина), Михаила Слонимского, Всеволода Иванова, Николая Никитина, Константина Федина, Николая Тихонова, В. Познера... О Зоценко им было сказано: «Значителен Михаил Зоценко, автор оригинальной серии „Рассказов г. Синябрюхова“, писатель почти уже сложившийся, он нашел свой стиль, свои слова...»

Оставляя в стороне субъективные высказывания Горького о Толстом, Достоевском и Тургеневе, сообщим, что на русском языке в сокращенном виде эта статья — в обратном переводе с французского — была напечатана в том же году журналом «Жизнь искусства». Но в тридцатитомное собрание сочинений Горького, издававшееся в 1949–1955 годах, разумеется, не вошла (после сокрушительного для литературы постановления ЦК ВКП(б) 1946 года). Полный ее текст увидел свет лишь в период «оттепели» в 1963 году в томе «Литературного наследства», целиком посвященном теме «Горький и советские писатели». Публикация сопровождалась, однако, издательским комментарием:

«...Провозглашенные некоторыми „серапионовцами“ лозунги „аполитического“ искусства, идеи „независимости“ художника от требований революционной эпохи тогда не встретили должного отпора со стороны Горького. Более того, в статье „Серапионовых братьях“ сочувственно говорится о художественной заинтересованности молодых писателей „просто человеком“, без учета той классовой роли, которую он играет в действительности.

Здесь, как и в некоторых других горьковских высказываниях о „серапионовцах“, проявились идейные заблуждения Горького начала 20-х годов, приводившие его порой к мысли об отказе от сознательной политической целенаправленности в искусстве. Вскоре Горький пересмотрел эти взгляды, осудив попытки „найти свободу творчества вне строгих указаний истории, вне ее основной, организующей идеи“».

И отсутствие статьи Горького о «Серапионовых братьях» в его тридцатитомном собрании сочинений, и злободневно критический редакционный комментарий к статье даже в таком академическом издательстве, как «Наука», выпускавшем многотомную серию

«Литературное наследство», объясняется длившимся действием постановления ЦК ВКП(б) 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

Главным фигурантом этого постановления был Михаил Зощенко, которого — вместе с Анной Ахматовой — подвергли растаптывающему осуждению. Его произведения объявлялись чуждыми советской литературе, а сам он — проповедником гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности. И эта аттестация Зощенко родословно связывалась с литературной группой «Серапионовы братья», членом которой он состоял в 20-е годы.

Но произойдет данный разгром спустя четверть века после вхождения Зощенко в литературу.

# НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ

## 1. ПУТЬ ОТКРЫТИЙ

Казалось, то было не восхождение — взлет.

Но взлет этот заслуженно увенчал настойчивые поиски Зощенко своего собственного пути на литературный олимп.

При всем жанровом многообразии его творчества слава Зощенко связана с созданием *своего* — «зощенковского» — рассказа, в котором самобытно, по-новому соединились и преобразовались общеизвестные элементы данного жанра. Рассказа, в котором явился новый герой-сказчик, заместивший как бы полностью самого автора и, главное, обозначивший собою одну из существеннейших и определяющих черт наступившей в России эпохи. Именно этот небывалый ранее в литературе герой и сделался знаменитым «зощенковским типом», считавшим себя безусловно «человеком культурным, полуинтеллигентным» и изъяснявшимся на комично изуродованном языке. А сконструированный, вернее, сотворенный Зощенко рассказ был той «ракетой», которая вывела этого героя на орбиту всероссийского читательского успеха. Таким образом, в современном ему литературном процессе Зощенко решал новаторскую задачу.

Общее направление тогдашних литературных поисков было связано со стремлением отобразить произошедший в стране революционный перелом. Под рукой у писателей были классические формы того или иного жанра. Рассказ, например, мог вестись от автора или прямо от лица «бывалого» человека, исповедующегося перед читателем или передающего ему захватывающую историю («сказ»). Практиковались и различные сочетания данных форм. В этом общем движении литературы Михаил Зощенко упорно искал свою стезю. Причем его искания поражают не только настойчивостью, но и самоотвержением: он был готов поступиться — и поступился! — вожделенным для каждого писателя местом в «большой» литературе, в «толстых» журналах.

Прежде всего он точно оценил свои первые опубликованные рассказы: они были написаны профессионально, добротнo, но — традиционно. Впрочем, и критика не давала ему заблуждаться относительно них даже в похвальных отзывах. А он уже был нацелен писать по-новому, чувствовал, что может и должен *это* сделать. Наверно, весьма важным стал для Зощенко в его поисках отзыв о нем Е. Замятина в статье «Серрапионовы

братья»:

«Зощенко, Вс. Иванов и Никитин — „изографы“, фольклористы, живописцы. Новых архитектурных, сюжетных форм они не ищут... <...> а берут уже готовую: сказ. Зощенко применяет пока простейшую разновидность сказа: от первого лица. Так написан у него весь цикл „Рассказов Синибрюхова“. <...> Отлично пользуется Зощенко синтаксисом народного говора: расстановка слов, глагольные формы, выбор синонимов — во всем этом ни единой ошибки. Забавную новизну самым стертым, запятым словам он умеет придать ошибочным (как будто) выбором синонимов, намеренными плеоназмами („пожить в полное семейное удовольствие“, „на одном конце — пригорок, на другом — обратно пригорок“, „в нижних подштаниках“). И все-таки долго стоять на этой станции Зощенко не стоит. Надо трогаться дальше, пусть даже по шпалам».

Конечно, Зощенко не захотел оставаться «изографом», живописцем-фольклористом. Он двинулся «по шпалам», на поиски. Одно направление указывал Замятин: совершенствовать используемую пока «простейшую разновидность сказа». Надо было найти новую форму, новую конструкцию рассказа. На еще одно направление поиска обращал внимание А. Воронский (главный редактор журнала «Красная новь»). Отметив, что «Зощенко идет от Лескова и Гоголя. Это — хорошие учителя», Воронский писал:

«<...> Тема о Синибрюховых очень своевременна. Только нужно уметь по-настоящему связать ее с нашей эпохой. <...> Иначе будут получаться либо недоговоренности и неопределенности, либо безделушки и бонбоньерки, либо прямо контрреволюционные вещи. У Зощенко есть неопределенность. <...>

Сатира и смех теперь нужны, как никогда, и о Синибрюховых нужно писать, но пусть читатель чувствует, что частица великого революционного духа бьется в груди писателя и передается каждой вещи, каждой странице. А для этого с вершин, с вершин эпохи нужно смотреть, а не копошиться в мелкостях одних и „блекоте“. М. Зощенко одарен. Субъективно он близок к нам, большевикам, он молод. Зощенко не стоит на месте. У него есть вещи еще лучше, чем рассказы Синибрюхова. <...> Следует поэтому относиться к нему внимательней и строже. <...>».

Здесь было о чем задуматься Зощенко: как и полагалось большевику, Воронский прямо требовал от него политической определенности и взгляда «с вершин эпохи». При всей неприемлемости для Зощенко этих требований, следовало определить связь своего героя с наставшей жизнью. Возникла, таким образом, проблема типизации героя. Очевидно, все эти

проблемы — формы рассказа, героя, темы — были для Зощенко объективно заданы в его собственных поисках, решать их пришлось бы и без подсказок со стороны. Но опытные Замятин и Воронский подтверждали их наличие.

А о том, какой путь проделал Зощенко при сотворении своего знаменитого по форме и содержанию рассказа с прославившим подлинного автора героем-сказчиком, отлично написала во вступительной статье к первому тому собрания сочинений Зощенко 1929 года критик и литературовед Евгения Журбина (сам он высоко оценил эту статью и дружески относился к ее автору, что случалось у него с критиками очень редко). И с пытливым целью проследить ход и результат его творческого поиска приведем — как узловые точки всего этого процесса — выдержки из статьи Журбиной, сохранившей, на наш взгляд, до сих пор исследовательское значение:

«...Несмотря на внешнюю отдельность зощенковской позиции — путь Зощенко к основному его „изобретению“, сделавшему его одним из самых популярных современных прозаиков — к сказовой новелле особого типа — крепко связан с судьбами послереволюционной литературы.

<...> Сказ был стилем всей литературы 1920–1923 гг. Сказ казался выходом из положения, способом вовлечь новый, неописанный материал быта.

Писатели неизменно стремились к „экзотике“ быта и к „экзотике“ психологии.

<...> Наиболее сложные и квалифицированные формы сказа культивировались „Серапионовыми братьями“, к которым принадлежал и Зощенко.

<...> Зощенко был одним из немногих вышедших с честью из сказового потока литературы. Зощенко не бежал от сказа. Он сорганизовал его в стройную литературную систему.

<...> Здесь Зощенко соприкасался и с Фединым, и с Слонимским, и с Замятиным, и с многими другими. Это был путь, по которому шла тогда литература, желавшая во что бы то ни стало сохранить и продолжить традиции „высокой“ литературы — большую реалистическую вещь с героем в центре, героем, наделенным психологией и психологической судьбой. <...>

Для Зощенко время после написания первых вещей — время поисков. <...>

В поисках жанра Зощенко обращается к новелле чеховского типа, пытаясь применить ее к современному материалу. <...> Рассказчик в

рассказе — сам писатель, ведущий рассказ на правильном литературном, интеллигентском языке.

<...> Совершенно очевидно, что такая манера не могла быть сколько-нибудь актуальной в современной литературе. <...> Традиционная писательская поза мертвила современный материал. <...>

Зощенко снова начинает работу над сказом. Работа идет под знаком поиска героя-сказчика. <...>

На границе между первыми, большими для Зощенко, рассказами и между позднейшими коротенькими лежат „Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова“. <...>

<...> Но Назар Ильич, так же как и Семен Семенович Курочкин из „Веселых рассказов“, не были стержневыми жизненными типами, при помощи которых можно было бы построить социально значимую вещь. Они примыкали к громадной плеяде „чудаков“, с которыми продолжали возиться в послереволюционной литературе.

<...> Перед Зощенко по-прежнему стоял вопрос о герое и о жанре.

В поисках героя и жанра Зощенко обратился к юмористической журнальной традиции. Это был окончательный отход от „большой“ литературы.

Жанр юмористического рассказа чрезвычайно близок жанру традиционного фельетона — иногда до полного ступенчатого различия между ними. <...> Рассказ такого типа культивировался, например, в „Сатириконе“. Сатириконовские традиции послужили для Зощенко материалом, от которого он оттолкнулся.

<...> Зощенко не бытописатель. Быт не в такой степени изобилует теми ситуациями и тем сказом, которые привлекают Зощенко. И ситуация и говор — конечно, обобщение, выжимка из быта и из говора, нужная автору для его целей.

От схемы юмористического рассказа остались только ее принципы — острый и злободневный сюжет, проходящий полный круг на коротком расстоянии рассказа. Все остальное претерпело существеннейшие изменения, изменилось до полной неузнаваемости. В юмористической литературе одна и та же схема перелицовывается сотни раз. Зощенко открыл громадное количество новых схем, которые будут использованы и в большом количестве уже используются в этой литературе, оставив при этом у себя в руках патент на свое изобретение. Ни одно использование его традиций не может конкурировать с его рассказом, т. к. ни одно из них не достигает той степени сложности и тонкости обработки, на которой неизменно стоит Зощенко.

<...> Зощенко сломал канонизованную схему юмористического рассказа. Это до такой степени ощутимо, что рассказ Зощенко позднейшей формации выглядит большей частью пародией на юмористический рассказ и осмысленной издевкой над читателем юмористического рассказа.

Завоевав своего читателя простой, сжатой, „доступной бедным“, по собственному выражению Зощенко, манерой — он *уводит читателя от пустого и бесплодного эффекта юмористического рассказа* — не дает читателю ожидаемого им по инерции конца и заставляет его задуматься над „вторым“ планом рассказа, над скрытым его смыслом. Рассказ начинает напоминать реальное жизненное многообразие и звучит для читателя реалистически. Это та ступень, на которой Зощенко перерастает из специально юмористической литературы в собственно литературу. Это тот же путь, который прошел Чехов.

Каким образом удалось Зощенко создать новый жанр в рамках традиционного юмористического рассказа? Совершенно очевидно, что это произошло при помощи введения и умелого использования сказа. Движение сюжета поручено не интеллигенту-писателю, а герою, наконец найденному.

Соединение юмористического сюжета со сказом открыло новые возможности. Создается два плана восприятия. Один план — восприятие сказчика и его манера излагать события, и другой план — описываемые сказчиком события во всю их величину и смысл, сказчиком обычно не охватываемые, но видные читателю» («как подразумеваемые автором» — уточнено далее в статье).

«Технология» зощенковского поиска и открытия проанализирована Е. Журбиной, как видим, достаточно исчерпывающе. Добавим только, что из сатириконцев, традиции которых Зощенко освоил еще в начале пути, о чем упоминает Е. Журбина, — изо всех тех блестящих авторов «Сатирикона» самое важное значение для него имел опыт Тэффи. В своих воспоминаниях Вера Владимировна Зощенко сообщает о сохранившейся отдельной статье, посвященной Тэффи, которую он написал в период Студии и в которой, по ее мнению, «в некотором роде, ключ к пониманию творчества самого Зощенко — юмориста, сатирика».

Вот основные положения из этой его статьи о Тэффи: «Тут смешны не анекдотические столкновения людей и не сами люди-шаржи, прекрасно смешит интимный ее сказ, мягкий ее юмор в смешных, нелепых словах. <...>

Ее книги — сборник шаржей и удивительных карикатур. <...>

Тэффи берет жизненную карикатуру людей и снимает еще карикатуру.

Получается какой-то двойной шарж.

<...> Однако оставлены 2–3 характернейшие черты — и в этом все мастерство и талантливость, — безобразно преувеличенные, дают жизнь и движение героям.

Я подчеркиваю здесь пошлость и глупость. С этим-то и оперирует, главным образом, писательница. <...>

Итак, сущность рассказов, основа их печальна, а часто и трагична, однако внешность искренне смешна. <...>

Все коротко. На три секунды. Все напряженно. Нельзя скучать. Природа ушла вовсе, и если и есть, то смешная.

Все на 3-х страницах. Идея вся определена, не спрятана под конец, не растянута на сто страниц».

Такова была «технологическая цепочка» многосложной работы, проделанной Зощенко на пути к своему рассказу, в конструкцию которого, словно летчик-истребитель в самолет-истребитель из песни Высоцкого, вписан герой-сказчик. (Кстати, один известный поэт назвал Высоцкого, имея в виду его соответственный песенный цикл, «Зощенко в песне».)

Сколько километров киноплёнки первоначальный герой Чарльза Чаплина прокатался на роликовых коньках, создавая комические ситуации среди такой же, как он, благополучной публики, проводящей время на скетинг-ринке; или набегался в парке, подсаживаясь к дамам, давая пинка мужьям, прячась от полисменов; или возвращаясь к себе домой, элегантно одетый, в крепком подпитии, демонстрировал уморительные трюки между оскаленными мордами звериных шкур на полу в холле, затем на внутреннем балконе своего небедного жилища; сколько было на этих километрах автомобильных и прочих погонь, приключений, мелодраматических ситуаций, эксцентрики, кремовых тортов в лицо, оплеух, потасовок, сколько пронеслось воров, бродяг, джентльменов, пожарных, полицейских, служащих, вызывавших хохот зрителей! И вдруг герой-трюкач, его котелок, фрак, ботинки, глаза, выражение лица, походка — все преобразилось: явился Чарли, на экране пошли кадры «Иммигранта», «Собачьей жизни», потом «Малыша», «Золотой лихорадки», наконец, «Огней большого города»...

Какого же героя обрел и высветил на своем литературном «экране» Михаил Зощенко?

Поиск своего героя он повел с первых публикаций. Самым ранним его сказчиком был герой «Рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова». Эти рассказы, одобрительно принятые на чтениях «серапионов», никем из

них не были расценены как юмористические. И К. Чуковский, написавший о восхищении студистов «многоцветною словесною тканью этого своеобразного цикла новелл», избег классифицировать их по комическому разряду, хотя и говорил, что многие слова и словечки тех рассказов быстро вводились обитателями ДИСКА в повседневную речь, сплошь и рядом применялись ими к обстоятельствам собственной жизни. Но от поэтессы Е. Полонской известно также признание метранпажа типографии, где рассказы печатались: «Я никогда не слышал, чтобы наши наборщики так смеялись! Книга будет иметь успех». Когда она рассказала об этом на очередном собрании, кто-то из «серапионов» моментально вспомнил про успех у наборщиков «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя... В такой двойственной реакции на «Рассказы Синебрюхова» отразились заключенные в судьбе героя и комизм, и подлинный трагизм; это сочетание оказалось присущим юмору Зощенко органически и определяло силу его воздействия.

При издании рассказов имела место и такая деталь. Договорившись о размере пая для напечатания этой своей первой книги, Зощенко при передаче рукописи в типографию выдвинул требование: не ставить его фамилию на обложке самой книги, а обозначить ее лишь на титульном листе. Ему хотелось убедить читателя в безусловном авторстве этого «господина Синебрюхова». Одновременно он настоял, чтобы обложка книги была выполнена из простой оберточной бумаги и напоминала лубочное издание.

Кем же был этот герой-сказчик, представляемый Зощенко читателю в качестве взаправдашнего автора книги?

Русский крестьянин, выдернутый из деревни и брошенный в окопы мировой войны, он говорит о себе в «Предисловии» к *своим* рассказам:

«Я такой человек, что все могу... Хочешь — могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть рукоделом займусь, — все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов — там, может быть, рассказ рассказать, или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, — пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.

...образование у мене, прямо скажу, не какое, а домашнее. Ну, а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитый.

...Да только ход развития моей жизни... начиная с германской кампании, прямо скажу, не такой.

Вот теперь, где бы мне хозяином пожить в полное свое удовольствие, я

крохобором вот хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская.

Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и — нет, не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.

Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники».

Со всею откровенностью, как бы обращаясь к *миру*, к людям (эту бесхитрость и нестеснительность Зоценко передает и последующим своим сказчикам), поведал Назар Ильич о том, как на фронте, в Польше, полюбил «прелестную полячку» Викторину Казимировну и на что пошел ради нее — «превозмог себя», — но досталась полячка прапорщику. И о том, как после Февральской революции послал его ротный командир, гвардейский поручик и «князь ваше сиятельство», с фронта в имение к своему отцу с письмом, а в итоге этого «великосветского приключения» он «принял и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь...».

Назар Ильич остался без семьи — в деревне его сочли покойником, поп отслужил панихиду, жена вступила в «советский брак», малолетний сын умер от «испанской болезни». И сделался он «очень даже посторонний человек в жизни», хотя и продолжал работать, где придется. Одно из упомянутых им мест службы (как бы по следу самого Зоценко) — городская милиция...

Вот какого героя увидел в тогдашней жизни и взял себе в сказчики Михаил Зоценко — не красноармейца из Образцового полка деревенской бедноты, в котором он служил во время Гражданской войны, а вчерашнего офицерского вестового, «княжьего холуя», как его обозвал, ударив в ухо, выборный командир роты, тот самый прапорщик, которому досталась «прелестная полячка»...

(Примечательно, как классово-высокомерно, по-большевистски охарактеризовал этого героя, раскрестьяненного мировой войной и революцией, А. Воронский в своей рецензии на книгу Зоценко: «Синебрюхов — жаден, животен, хитер, туп, жалок и смешон. И рассказано про него автором хорошо; свежий, сочный, молодой язык, — удачная в общем стилизация разговорной речи людей с растеряевых улиц, легкость и занимательность сюжета, — жалость и негодование, просвечивающие сквозь смех по поводу несчастной жвачности Синебрюховых».)

Однако при всей своей колоритности, Назар Ильич в роли сказчика был ограничен собственной биографией и собственной индивидуальностью. А Зоценко стремился к обобщению, искал «тип». И в очередной большой сказовой новелле «Веселая жизнь», публиковавшейся в двух его сборниках следующего года, повествование ведется уже неким

неназванным рассказчиком. В данном случае рассказывается комическая история о том, как старенький отставной генерал, всю жизнь томившийся под каблуком жены, решил, наконец, «пожить разгульно».

Приведем только одну сценку, в которой генерал со своим камердинером является к очаровавшей его циркачке:

«— Имею, — говорит, — честь отрекомендоваться, — военный генерал Петр Петрович Танана. Давеча сидел в первом ряду кресел и видел всю подноготную. Я, военный генерал, восхищен и очарован. Ваша любовь, мои же деньги, — не желаете ли проехаться на Кавказ? Нужно жить да радоваться. Развязывай, брат Дидюлин, корзину.

У циркачки руки трясутся.

— Ах, ах, — отвечает, — мерси, генерал, не тревожьтесь беспокоиться. Не могу я так раз, раз, по-воробьиному, решиться на такое щепетильное дело. Я очень порядочная и за такие слова могу враз выгнать человека из помещения.

Генерал встает.

— Нету, — говорит, — не выгоняйте, умоляю вас. Я военный генерал Петр Петрович Танана, и всякие обиды и в особенности оскорбления действием мне невозможно перенести.

— Ах, ах, — говорит циркачка, — извиняюсь, генерал, я не хотела вас обидеть.

— Ну-с, — говорит генерал, — это ничего. Сердце у меня нежное и характер кроткий. Беги, брат Дидюлин, в полпивную, неси полдюжины пива. Нужно жить да радоваться.

Побежал Дидюлин в полпивную, возвращается, — сидят у зеркала генерал с циркачкой, будто новобрачные».

В «Веселой жизни» у Зоценко впервые появился некий безымянный и словно бы совсем заместивший автора сказчик, через лексику, взгляд, психологию которого в рассказе возникает особый *эффект отражения*. Вместо классического литературного рассказчика, в обязанность которого входило прежде всего объективное изложение события, Зоценко вводит своего сказчика с заведомо субъективным, а точнее, искаженным видением происходящего. И комизм произведения будет теперь зависеть не только и подчас не столько от сюжета, от лексики и несуразных поступков самих героев, сколько от курьезности в передаче, трактовке, оценке этим сказчиком описываемого им события и действующих здесь лиц, — то есть от степени несоответствия его восприятия этическим и эстетическим нормам культурного человека. А степень такой несообразности виртуозно задавалась, конечно, скрывшимся за двойные кулисы истинным автором.

В «Веселой жизни» налицо та двойная карикатура, о которой писал Зощенко в своей статье о Тэффи: само по себе остро сатирическое отношение автора к решившему, наконец, «пожить разгульно» старому генералу и прежним обычаям усиливается «эффектом отражения» их данным сказчиком. Так сказчик становится активно действующим лицом даже в тех историях, где рассказывает не о себе. Причем лицом уже собирательным, типизированным.

Но и этот сказчик, искомый по форме, не мог удовлетворить Зощенко по сути — он был из прошлой жизни и говорил о том, что прошло, исчезло напрочь. В то время как на сцену общественной жизни уже вышла из-за кулис иная масса людей...

Тогда Зощенко придумывает нового сказчика — Семена Семеновича Курочкина, своего «дорогого приятеля», «весельчака, говоруна, рассказчика», который «по профессии не то слесарь, не то механик, а может быть, и наборщик», что должно было сделать его фигуру вполне современной. И создает целый цикл его «Веселых рассказов» по большей части уже на послеоктябрьском материале (там имелся даже «Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин встретил Ленина»).

Но цикл оказался собранным механически, заданно, и большинство вошедших в него рассказов зажили вскоре самостоятельной жизнью — без этого конкретного, «паспортного» сказчика, который был как бы обновленным вариантом Синебрюхова. Новый материал требовал новой формы, уже разведанной Зощенко в «Веселой жизни».

Так на зощенковском «экране» утвердился доселе небывалый сказчик, выявленный в современной жизни и обобщенный в тип, и — пошли кадры «Аристократки», «Нервных людей», «Бани», «Гостей», «Прелестей культуры», «На живца»...

При всем обилии в окружающей жизни материала, который на каждом шагу — на улице, в столовой, кино, трамвае — прямо-таки рвался в очередной его рассказ (среди самых известных, например, три «трамвайных» — «На живца», «Мещане», «Не надо иметь родственников»), судьба еще раз позаботилась о том, чтобы Зощенко познал, почувствовал эту жизнь изнутри.

В 1922 году был закрыт Дом искусств. Знаменитый ДИСК — «Сумасшедший Корабль», — который держался на плаву исключительно благодаря покровительству своего основателя М. Горького, скоротечно пошел на дно, как только Горький уехал за границу лечиться.

Но несколько писателей получили комнаты в другом отсеке того же здания. Зощенко и Слонимский оказались в большой густо населенной

коммунальной квартире на пятом этаже, куда поднимались по лестнице черного хода, со двора.

В этой типичной советской «коммуналке» — с натуры — Зощенко написал «Нервных людей», один из своих шедевров. И в этой же квартире была создана известнейшая «Аристократка», ставшая его «визитной карточкой», эмблемой зощенковского рассказа вообще. М. Слонимский рассказал впоследствии о факте ее сотворения:

«Вспоминаю, как он, посидев у меня, пошел по делам в своей кепочке (он так до конца дней и не сменил кепку на мягкую шляпу). И вдруг через какой-нибудь час, может быть даже меньше, стук в дверь, и он появился снова у меня в комнате. Он был несколько возбужден, улыбался, в глазах как бы застыл смех.

— Понимаешь, — сказал он с некоторым недоумением, — написал сейчас рассказ.

— Как так? Ведь ты же уходил...

— Да нет. На лестнице схватило, и пришлось вернуться. Все-таки, знаешь, — прибавил он вдруг, — это вроде болезни. Вообще от хорошей жизни писателем не становятся. Надо что-то претерпеть или вообще быть больным.

Смех в его глазах растаял.

Рассказ, который он написал тогда, был „Аристократка“...»

А сам Зощенко так поведал об этом же факте в 1930 году, делясь с начинающими писателями опытом своей работы в журнале «Литературная учеба»:

«Я писал где попало. Я мог писать в трамвае, на улице. Например, „Аристократку“ я написал на лестнице, — т. е. весь план этого рассказа я набросал на лестнице. Я вспомнил одну фразу из события, которое мне рассказали, и на лестнице, на конверте письма, набросал сразу почти весь рассказ».

Имелось три опубликованных варианта «Аристократки». Первый вариант, появившийся в периодике, назывался «Как Семен Семенович в аристократку влюбился» и был еще подогнан под собираемый цикл «Веселых рассказов» Курочкина (по меткому определению литературоведа Цезаря Вольпе «записан на подставное лицо»). Но в том же 1924 году, когда была издана книга с этим циклом и под этим заглавием, вышел в свет еще один сборник Зощенко, — на титул которого было вынесено уже новое название ведущего рассказа — «Аристократка». Начинался рассказ фразой, где пускай лишь на мгновение, но все-таки обозначал себя по старинке истинный автор, представляющий читателю сказчика: «Григорий Иванович

икнул два раза подряд, вытер подбородок рукавом и сказал...» Наконец и этот рудимент, как последний лишний кусочек мрамора на завершаемой статуе, был убран, рассказ обрел свою классическую форму: «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме».

Это — из случавшегося с самим типизированным сказчиком, из его «собственной» жизни. Теперь — из тех случаев, где он — свидетель и комментатор окружающей действительности: «Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет». («Нервные люди»)

Еще — из рассказа «Прискорбный случай»:

«Как хотите, товарищи, а Николаю Ивановичу я очень сочувствую.

...А был этот человек в высшей степени сознательный. Другой бы выпивший человек начал бузить и расстраиваться, а Николай Иванович чинно и благородно прошелся по проспекту. Спел что-то там такое. Вдруг глядит — перед ним кино.

„Дай, — думает, — все равно — зайду в кино. Человек, думает, я культурный, полуинтеллигентный, чего мне зря по панелям в пьяном виде трепаться и прохожих задевать?..“

Купил он за свои пречистые билет. И сел в переднем ряду. Сел в переднем ряду и чинно-благородно смотрит.

Только, может, посмотрел он на одну надпись, вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит, и темнота на психику благоприятно действует.

Поехал в Ригу наш Николай Иванович, все чинно-благородно — никого не трогает, экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонько в Ригу едет.

Вдруг стала трезвая публика выражать недовольствие по поводу,

значит, Риги.

— Могли бы, — говорят, — товарищ, для этой цели в фойе пройти, только, говорят, смотрящих драму отвлекаете на другие идеи...»

Еще — из рассказа «Мещане»:

«Этот случай окончательно может доконать человека.

Василия Тарасовича Растопыркина — Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного чорт знает с какого года, — выкинули с трамвайной площадки.

...Стягивали вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров.

Конечно, слов нет, одет был Василий Тарасович не во фраке.

Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в пять часов шабашит и сразу домой прет. Он, может, маляр. Он, может, действительно, как собака грязный едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает и ходить пешком ему трудно.

И не может он, ввиду скромной зарплаты, автомобиль себе нанимать для разъездов и приездов. Ему автомобили — не по карману. Ему бы на трамвае проехаться — и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились!»

Такою вырисовывалась людская панорама, увиденная Зощенко в повседневности и воспроизведенная им через своего героя-сказчика с *его психологией, поступками, новоязом.*

## 2. ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УСПЕХ

Если в 1922 году вышла в свет всего одна книга Зощенко, первая в его жизни, то в следующем 1923-м были изданы уже четыре книги рассказов, и темп этот нарастал. Литературовед Цезарь Вольпе (опубликовавший накануне Великой Отечественной войны журнальный вариант своей «Книги о Зощенко» и погибший осенью того же 1941 года при переправе через Ладожское озеро из блокированного Ленинграда) подсчитал, что с 1922 по 1926 год вышло 25 сборников рассказов Зощенко.

За 5 лет — 25 книг! Конечно, из этого числа — много переизданий. И многие книжечки — небольшие, а то и вовсе малюсенькие, для дорожного чтения в поезде или просто в трамвае. Но показателен сам факт такого повального интереса читателей и издателей к этим рассказам и внезапно объявившемуся автору. Интерес этот ширился как эпидемия. Читатели искали его книги, покупали их нарасхват, издателям было выгодно его печатать — в 20-е годы большинство издательств являлись акционерными

или кооперативными товариществами. Его печатали «Эрато», «Былое», «Картонный домик», «Эпоха» (Берлин), «Радуга», «Новелла», «Ленгиз», «Смехач», «Прибой», «Бегемот», «ЗиФ» («Земля и Фабрика»), Причем многие из них выпускали сборники его рассказов и «полновесными» книгами и одновременно брошюрками карманного формата в сериях своих «библиотек сатиры и юмора». А о юмористических журналах и их приложениях (скажем, «Веселая библиотека „Бегемота“») и говорить нечего — Зоценко стал там заглавным автором. Указанный пятилетний период завершился выходом в свет его капитального сборника «Уважаемые граждане», который выдержал за четыре года 10 изданий (5 изданий только в 1927 году).

Вот пример тогдашней феноменальной популярности Зоценко, взятый из книги Цезаря Вольпе (которая в полном объеме была напечатана лишь пятьдесят лет спустя и, несмотря на прошедший срок и хронологический обрыв исследования, остается интереснейшей монографией о Зоценко):

«В 1928 году Госиздат устроил особый книжный базар. Для лучшего распространения книг в течение нескольких дней сами писатели должны были продавать свои книги. Были сооружены киоски, над каждым прилавком повешена напечатанная на картоне фамилия торгующего здесь писателя, и базар открылся. Бульвар около Дома книги был переполнен толпами покупателей. Здесь продавал Тынянов, здесь — Тихонов, здесь — Федин, вот тут — Корней Чуковский. И с каждым можно было вступить в разговоры и от каждого унести книжку с автографом.

Некоторые киоски пользовались особенной популярностью. Можно было, так сказать, наглядно видеть степень успеха писателя у читателей. И самое большое столпотворение было около того киоска, в котором продавал Зоценко.

За прилавком стоял человек небольшого роста, с грустной улыбкой, с какой-то почти грациозной манерой держаться. Он произносил слова тихим, усталым голосом, как замечательно сказал В. Шкловский, „с манерой человека, который хочет очень вежливо кончить большой скандал“. И вокруг него кипели страсти, бурлила и напирала толпа, теснившаяся к киоску. Киоск трещал и угрожал рухнуть на виновника столпотворения.

Казалось, что у всех этих людей нет никаких других устремлений, кроме желания посмотреть на Зоценко и унести с собой от этого впечатления запас бодрости и веселья, недели на две по крайней мере.

Я помню двух молодых парней, с блаженными лицами взиравших через головы теснящихся у киоска на Зоценко. Один из них время от

времени подымал руку по направлению к киоску, тыкал туда пальцем и с расплывшейся физиономией произносил: „Гы-ы-ы! Зощенко!!!“»

Рассказанная Ц. Вольпе история дает зримую картину необычайной популярности Михаила Зощенко, стремительно пришедшей к нему в 20-е годы. (Напомним, что девять лет назад к участвовавшему в этом книжном базаре общепризнанному литературному мэтру Корнею Ивановичу Чуковскому, автору многих книг, работник уголовного розыска Зощенко приходил в Студию на семинарские занятия и лекции, не напечатав тогда еще ни строчки.) Однако эпизодик с двумя молодыми парнями из этой истории иллюстрирует не столько даже саму популярность Зощенко, сколько ее феномен: ведь парни-то, судя по зарисовке, представляли собой как раз зощенковских «героев», осмеянных им в его рассказах, они сами были из того множества «уважаемых граждан» и «нервных людей», которыми он заселил свои наиболее сатирические книги и о которых указующе говорили как о «зощенковских типах». Феномен этот прямо отразился в заголовке еще одного знаменитого его сборника — «Над кем смеетесь». (Данный сборник имел в виду Осип Манделъштам, говоря о «самой лучшей книжке Зощенки».) Как и «Уважаемые граждане», сборник «Над кем смеетесь» издавался «Землей и Фабрикой» — подряд четырежды изданиями в 1928 году. Таков был спрос на юмориста Зощенко. А разгадка этого феномена заключается в особенностях сатиры и юмора Зощенко, органично сочетавших смех, грусть и доброту к человеку.

Находился Зощенко в центре внимания и сугубо профессиональной среды. Туча литературных мародеров-плагиаторов из газетных рассказчиков и фельетонистов бросилась подражать ему; критики и литературоведы разбирали написанное им по косточкам, искали и находили литературных предтеч среди классиков (назывались, как обычно, Гоголь, Достоевский, Чехов, а прежде всех — Лесков), нередко ругали, свысока признавали, намеренно не замечали, по-разному объясняли причины столь массового успеха у читателей.

Наконец, в том же знаменательном для него 1928 году издательство «Academia» — наиболее респектабельное, историко-культурной направленности, с научной и редакционной тщательностью выпускавшее широкий спектр книг по философии, теории литературы и искусства, солидные мемуары, собрания сочинений известных европейских авторов и знаменитую библиотеку «Сокровища мировой литературы», — начало издавать новую серию «Мастера современной литературы», представляющую лучших отечественных писателей. В этой, как выразились бы теперь, престижной серии в порядке установленной

очередности были запланированы книги о И. Бабеле, Бор. Пильняке, Викторе Шкловском, Мих. Кольцове, В. В. Маяковском, Всеволоде Иванове, Бор. Пастернаке, И. Эренбурге, Н. Асееве, Максиме Горьком, Леониде Леонове. А открыла серию стоявшая в той именной дюжине под первым номером книга о М. Зощенко. Она содержала три исследовательских статьи и статью самого Зощенко «О себе, о критиках и о своей работе». Виктор Шкловский рассуждал в этой книге «О Зощенке и большой литературе», а объемное исследование лингвиста и литературоведа В. В. Виноградова, будущего академика, называлось «Язык Зощенки». (Кстати, к тому времени у В. В. Виноградова была опубликована работа «О поэзии Анны Ахматовой».)

Выход в свет «академической» книги о нем зафиксировал нахождение Зощенко на вершине славы. Что и подтвердило первое собрание его сочинений в шести томах, предпринятое издательством «Прибой» в 1929 году.

Тем не менее «высоколобые» критики и редакторы солидных журналов, уверенные в том, что они формируют литературу с большой буквы, отказывали в художественной ценности рассказам Зощенко, имевшим массовый успех у читателей: юмористика, место которой в журнальчиках такого сорта, как «Смехач», «Бегемот», «Пушка», «Бузотер», «Чудак», «Ревизор»... Эту их позицию относительно самого жанра подкрепляла и обильная производительность зощенковского пера — счет его рассказов и фельетонов во второй половине двадцатых годов шел уже на сотни, причем многие из них преследовали лишь злободневные цели и, естественно, не поднимались до высоты его сатирических шедевров, хотя неизменно находились на этом главном для него тогда направлении. И «высоколобые» намеренно обходили Зощенко своим вниманием и считали его успех легковесным.

А та критика, которая горячо обсуждала его творчество, делала это по большей части с классовых позиций — или хвалила за осмеяние, непримиримость к «мещанам», «мелкобуржуазным обывателям», или рьяно ругала, громила за то, что он сам и есть воплощение, апологет мещанства и обывательщины. Серьезная же, не вульгаризаторская критика вынуждена была анализировать его сатиру весьма осторожно, в сугубо литературоведческих рамках, никак не углубляясь во всю полноту социальной картины, отражаемой при помощи изобретенной им формы рассказа с обобщенным, типизированным героем-сказчиком. Да ведь и жили в то время очень многие в СССР с искренней верой и воодушевляющей надеждой на скорое-скорое светлое будущее, которое

должно было приближаться с каждым днем...

Не отклоняясь в подробности и оттенки тогдашней литературной борьбы, обратимся к оценкам и мыслям самого Зощенко, как по поводу своих произведений, так и насчет литературного процесса тех лет вообще. В статье «О себе, о критиках и о своей работе», которая открывала посвященную ему книгу в издательстве «Academia», он писал:

«Относительно моей литературной работы сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство.

Критики не знают куда собственно меня причалить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

А так как большая часть моих вещей сделаны в неуважаемой форме — журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предрешена.

Обо мне критики обычно говорят как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского языка.

Это, конечно, не так.

Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип — тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

А относительно мелкой литературы я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература.

Вот в литературе существует так называемый „социальный заказ“. Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно.

Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой.

Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывают конечно же не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции.

Я взял подряд на этот заказ.

Я предполагаю, что не ошибся.

В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.

Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы — журнальная юмористика, сатирикон, собачья

ерунда, это не верно.

И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подразделения: вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства.

Правда, по внешней форме, повесть моя ближе подходит к образам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качественность их лично для меня одинакова.

<...> А беда вся в том, что особенно последние два года, в силу некоторой усталости, отчаянной хандры и еженедельной обязательной работы, я ухитрился написать много плохих мелких вещей, которые на самом деле не поднимаются выше обычного журнального рассказа. Это еще больше сбивает критиков, которые с большой охотой и чтоб впредь не возиться со мной загоняют меня чуть не в репортеры.

Но я опять-таки не протестую.

<...> Еще я хотел сказать об языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды.

Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.

Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это, — Виктор Шкловский.

Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу. Он „ввел воздух“ в свои статьи. Стало удобно и легко читать.

Я сделал то же самое.

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.

Может быть, поэтому у меня много читателей».

Таковы были самооценки и умонастроение Зощенко в 1928 году, когда «Academia» издавала эту книгу. Он открыто заявлял о своем «подряде» и был убежден, что работа здесь предстоит долгая. В подтверждение чего им был написан рассказ «Через сто лет», состоявший из заметок в отделе жалоб в газете 2005 года, с помощью которых, на фоне предполагаемых технических новшеств, иронически показывалось, что ни психология, ни лексика, ни поведение людей третьего тысячелетия не претерпевают каких-либо существенных изменений. И позднее, в одной наиболее обстоятельной автобиографической справке, говоря о мещанстве как о своей теме, он высказал уверенность, что «этого материала хватит еще на мою жизнь». Причем под «мещанством» он со всей определенностью имел

в виду не классовый признак, но отрицательные людские качества: «В каждом из нас имеются те или иные черты и мещанина, и собственника, и стяжателя».

Засвидетельствовал Зоценко в той важной статье и свое чуткое внимание к новациям в стиле и форме литературных произведений, которые соответствовали современному их восприятию, — короткая, сжатая фраза, быстро схватываемая читателем, динамичный стиль повествования.

А повести, о которых также говорилось в статье Зоценко, это был его цикл «Сентиментальных повестей», начатый почти одновременно с первыми же рассказами и собранный постепенно, в течение четырех лет, в отдельную книгу, вышедшую в 1927 году. Писались они по одной-две в год, печатались сперва в периодике и в сборниках его рассказов, и все были невелики по объему. Отдельную книгу составили семь повестей, которые Зоценко на сей раз приписал «писателю-попутчику» Ивану Васильевичу Коленкорову. В предисловии к первому изданию от имени И. В. Коленкорова заявлялось:

«Эта книга написана в самый разгар Нэпа и Революции. Читатель, конечно, вправе потребовать от автора настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса — одним словом, полной и высокой идеологии.

Не желая вводить небогатого покупателя в излишние траты, автор спешит уведомить с глубокой душевной болью, что в этой сентиментальной книге не много будет героического.

Эта книга специально написана о человеке во всей его неприглядной красе.

Пуццай не ругают автора за выбор такой мелкой темы — такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь. Кому что по силам, кому что дано.

<...> Автор признает, что в наши бурные годы прямо даже совестно, прямо неловко выступать с такими ничтожными идеями, с такими будничными разговорами об отдельном человеке.

Но критики не должны на этот счет расстраиваться и портить свою драгоценную кровь. Автор и не лезет со своей книгой в ряд остроумных произведений эпохи.

Быть может, поэтому автор и назвал свою книгу сентиментальной.

На общем фоне громадных масштабов и идей эти повести о мелких, слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни

действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой...» (Вспомним, что еще в 1922 году известный критик и главный редактор «Красной нови» А. Воронский назидал Зощенко о том, что «с вершин, с вершин эпохи нужно смотреть, а не копошиться в мелкостях одних и „блекоте“».)

Итак, «революционное содержание» — планетарные задания, героический пафос, высокая идеология; а «будничные разговоры об отдельном человеке» — сентиментальная оскорбительная требуха, ничтожные идеи, с которыми даже совестно, неловко выступить современному писателю... Конечно, эта ирония по отношению к советской литературе и ее «остроумным произведениям эпохи» принадлежит самому Зощенко, истинно человеческому художнику, а не «попутчику» Коленкорову. Однако и Коленкорову, признанному в конце концов (в предисловии к четвертому изданию книги) «воображаемым лицом» и объявленным «тем средним интеллигентским типом, которому случилось жить на переломе двух эпох», отводилась в «Сентиментальных повестях» своя роль. Именно такой «тип» повествователя, такая маска понадобились Зощенко в данном случае.

Дело здесь было в том, что повести эти показывали людей по роду своих занятий интеллигентского слоя общества, не сумевших приспособиться к наставшей жизни и сходящих с общественной сцены будучи даже самыми незначительными ее статистами, — в отличие от той массы «уважаемых граждан» из рассказов Зощенко, которые стали теперь так заметны в действительности и нестеснительно, хватко занимали на этой сцене опустошенное Октябрем пространство. Герои повестей, в большей своей части, подпадали под тогдашнее ходовое определение «бывшие» или «из бывших». В «Козе» это совслужащий Забежкин — бывший коллежский регистратор (которого многие критики обязательно выводили из гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина); в «Аполлоне и Тамаре» — бывший тапер, музыкант Аполлон, называвший себя в прежние времена артистом, свободным художником. А в повести «Люди» это Иван Иванович Белокопытов — дворянин, сын богатого помещика, еще до революции раздавший свое состояние разным людям, в том числе и революционерам, уехавший тогда же за границу, но на четвертом году революции вернувшийся на родину, уже в Советскую Россию...

Особенностью «Сентиментальных повестей» явились также обширные авторские отступления, где Зощенко, иронически подделяваясь под воображаемого повествователя Коленкорова, высказывал — опять-таки

иронически — собственные мысли об окружающей действительности, о людях и их взаимоотношениях, о современной ему литературе и, конечно, литературной критике. Приведем хотя бы два отрывка из такого характерного отступления в повести «Сирень цветет», добавившейся ко всему циклу уже в 1930 году:

«Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.

И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами.

Конечно, об чем говорить — персонажи действительно взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно и решительно нету».

В этом отрывке фигурирует весь набор обличительных ярлыков вульгаризаторско-социологической критики, которая неотвязно преследовала Зоценко. А сколько иронии по адресу как своих критиков, так и власть имущих было в его замечании: «Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие незначительные граждане...» Сказано с глубоким подтекстом относительно идеальной сущности «вождей», возвеличиваемых подобной критикой, и с напоминанием о тех, кому они должны бы служить.

И второй отрывок, где к сатире на критиков добавляется сатирический взгляд на реальную повседневность:

«В молодые, прекрасные годы, когда жизнь казалась утренней прогулкой, вроде как по бульвару, автор не видел многих теневых сторон. Он просто не замечал этого. Не на то глядели его глаза. Его глаза глядели на разные веселые вещицы, на разные красивые предметы и переживания. И на то, как цветки растут и бутончики распускаются, и как облака по небу плывут, и как люди друг дружку взаимно горячо любят.

<...> А после, конечно, стал себе автор приглядываться. И вдруг видит разные вещи.

<...> Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие,

случившееся совсем недавно. И это событие буквально режет автора без ножа. Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают и ручки ей лобызуют. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не околевает. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобызает. И вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень.

Но вот после инженера освободили — никакой особой вины за ним не нашли. И все снова опять завертелось. Хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил, а если и выходил, то глядел на них с некоторым испугом и удивлением.

Ну что? Может быть, это клевета? Может быть, это есть злобное измышление? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота, да величие, да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто, ну, пустяки получают.

Но автор не поддается унынию. Тем более иногда, раз в пять лет, он и встречает чудаков, которые резко отличаются от всех прочих граждан».

Как видим, пример был взят из советской повседневности весьма злободневный, жгучий, и вся эта повседневность была виртуозно припечатана лишь одним, часто применяемым Зощенко вводным словом: «И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера». А утверждать по поводу всего подобного эпизода, что «это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни», да еще добавить с горькой насмешкой о встрече раз в пять лет чудаков, которые ведут себя по-человечески — на все это надо было иметь решимость, безоглядную решимость за письменным столом истинного художника, который по натуре мог быть очень тихим, деликатным, даже робким человеком. Отметим также, что Зощенко ради правды не постеснялся сделать явный намек на демагогически затасканные уже слова «Человек — это звучит гордо» из пьесы любимого им Горького «На дне».

### **3. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ**

В 1929 году Михаил Зощенко выпустил, по его словам, свою «самую интересную (документальную) книгу». Книга была необычная и называлась — «Письма к писателю». В ней он отобрал и поместил немалую толику писем (более шести десятков!) из огромной читательской

почты, приходившей на его домашний адрес.

Конечно, такая книга не могла обойтись без предисловия, которое, естественно, уже не приписывалось никакому воображаемому лицу. В этом предисловии Зощенко говорил:

«Последние два-три года я получаю от читателей много писем.

Письма идут, главным образом, из провинции.

Меня запрашивают, как жить, как писать стихи и что читать.

Мне предлагают сюжеты, критикуют меня, одобряют и поругивают.

Видимо, читатель меня воспринимает не совсем так, как критика.

Я решил опубликовать эти письма.

Я больше года сомневался, стоит ли мне это делать. Может, это не совсем этично. Может, наши молодые начинающие критики захотят уличить меня в низкой саморекламе. Может быть, наконец, это покажется обидным моим корреспондентам и они перестанут мне писать. А я привык к этим письмам. И полюбил получать их.

Но я решил пострадать на этом деле. Пусть каждый думает, как умеет. Мне реклама не нужна. Корреспондентов я не обидел. Я скрыл их фамилии. Но я не могу и не имею права держать в своем письменном столе такой исключительный материал.

<...> Здесь, так сказать, дыхание нашей жизни.

Дыхание тех людей, которых мы, писатели, стараемся изобразить в так называемых „художественных“ произведениях.

Здесь, в этой книге, собраны самые различные письма и страсти.

Здесь, в этой книге, можно видеть настоящую трагедию, незаурядный ум, наивное добродушие, жалкий лепет, глупость, энтузиазм, мещанство, жульничество и ужасающую неграмотность.

У меня не было, конечно, ни малейшего желания поиздеваться над неграмотностью моих читателей. Я не ради смеха собрал эту книгу. Я эту книгу собрал для того, чтобы показать подлинную и неприкрытую жизнь, подлинных живых людей с их желаниями, вкусом, мыслями.

<...> В заключение я должен сказать, что книгу эту собрать было чертовски тяжело. Из груды скучных и тупых писем я отобрал те, которые показались мне наиболее характерными. По этой причине в книге имеется мое лицо, мои мысли и мои желания. Книга сделана как роман.

<...> Во всех напечатанных письмах я частью убрал настоящие фамилии, частью заменил новыми для того, чтобы не кинуть тени на живых героев. Что касается самих писем, то некоторые письма мне пришлось несколько сократить, чтобы читатель и покупатель не задремал на них. Все остальные остались нетронутыми. И подлинники хранятся у

меня.

Я выпускаю эту книгу с некоторой грустью и беспокойством.

Я жалею, что ее выпускаю. Я предпочел бы прочесть такую книгу, собранную другим писателем.

Мих. Зощенко.

Апрель 1929».

По свидетельству Цезаря Вольпе, эта книга Зощенко не имела большого успеха при своем появлении, а профессиональная литературная среда, писатели и критики, «приняли ее с каким-то недоумением». И сам Вольпе сказал о ней, хоть и умно, емко, но весьма кратко. Понятно, что он не прошел мимо комментария Зощенко к одному из писем под названием «Стихи о Ленине»:

«Пролетарская революция подняла целый и громадный класс новых и неопикуемых людей. Эти люди до революции жили как ходячие растения. А сейчас они — худо ли хорошо — умеют писать и даже сочинять стихи. И в этом — самая большая и торжественная заслуга нашей эпохи». И сделал свой вполне логичный вывод: «В этих письмах Зощенко слышит голос новых людей, пришедших к культуре благодаря революции».

Однако закончил Вольпе эту свою маленькую главку о «Письмах к писателю» таким многозначительным суждением: «Очень важно, что Зощенко издал эту книгу в 1929 году. Она явилась итоговым документальным комментарием к тем двум линиям его творчества, в которых он сконструировал свой, „зощенковский мир“. Она показывала тот реальный мир, который стоял за зощенковскими сатирическими произведениями». Иначе говоря, лишала возможности ненавистников Зощенко обвинять его в клевете...

Впоследствии, через шестьдесят лет, в эпоху «гласности», литературоведы, писавшие об этой книге Зощенко, также искали и находили причины, побудившие его издать «Письма к писателю». И совершенно справедливо указывалось при этом, что 1929 год был «годом великого перелома» (как назвал его Сталин) во всех сферах жизни, не только в деревне, где развернулась беспощадная «ликвидация кулачества, как класса, на основе сплошной коллективизации».

Однако задуманы «Письма к писателю» были гораздо раньше — еще в начале 1927 года (а может, и того ранее). Необычайно острая интуиция Зощенко опережала наступавшие в стране события.

А в 1927 году, к лету, вышло в свет первое издание «Сентиментальных повестей», на которое тотчас отреагировал официальный орган ЦИК газета «Известия» хлесткой статьей «Обывательский набат». Критика Зощенко

усиливалась. В 1929 году, в сентябре, он писал Слонимскому: «Чертовски ругают. <...> Невозможно объясниться. <...> Покрываю и люблюсь мещанством! Эва, дела какие! Я долго не понимал, в чем дело. <...> Черт побори, ну как разъяснишь? Тему путают с автором. Не могу же я к каждому рассказу прилагать учебник словесности. <...> В общем худо, Мишечка! Не забавно. Орут. Орут. Стыдят в чем-то. Чувствуешь себя бандитом и жуликом».

И сейчас можно сказать, что «Письма к писателю» были последним набатом самого Зощенко, пытавшегося докричаться до современников, чтобы они открыто взглянули на себя, на свою действительную жизнь, на то, что с ними происходит... Но ничего уже нельзя было поправить. Как уверенно заявлялось еще в статье «Известий», где героев Зощенко полностью отождествляли с ним самим, их «обывательский набат... в наши дни самоотверженной героической борьбы масс не только не страшен, но и просто никуда не доносится и никакой тревоги не будит».

Ничего не изменив в общественном сознании, «Письма к писателю» выполнили все-таки в судьбе самого Зощенко функцию вовремя подостланной соломки. Вот что было сказано об этой книге в докладе, специально посвященном обсуждению творчества Зощенко в январе 1930 года в ФОСП — Федерации объединений советских писателей:

«<...> Зощенко, как всякий популярный писатель, получает массу писем. И вот он решает ответить всем своим корреспондентам. Когда такой писатель выступает по *такому* поводу — это довольно крупное общественное явление и к нему необходимо присмотреться. <...> Но случилось так, что эта примечательная книга была встречена очень странно. Критика, благожелательно настроенная к Зощенко, конфузливо отмалчивалась, критика враждебная, — резко и вульгарно напала на эту книжку. Мне кажется, что как тем, так и другим совершенно нет оснований ни стыдиться за Зощенко, ни осуждать его книгу. Эта книга, прежде всего, означает решительный перелом Зощенко в нашу сторону. Значит ли это, что после „Писем к писателю“ Зощенко стал пролетарским писателем? Совсем нет, это значит только, что он приблизился к нам в большей степени, чем это было раньше».

Доклад назывался «Чей писатель — Михаил Зощенко?», а выступил с этим докладом двадцатичетырехлетний Михаил Чумандрин, который пять лет назад начал работать прессовщиком на заводе «Красный гвоздильщик», редактировал заводскую многотиражку, затем стал одним из руководителей Ленинградской ассоциации пролетарских писателей.

В том же 1930 году, осенью, на книгу «Письма к писателю» откликнулся из Сорренто Максим Горький, написав Зоценко:

«<...> Это — хорошая книга, такие возможны только у нас и в наше время, когда писатель становится — как нигде и никогда — настоящим и близким человеком читателю. И хотя весьма часто это — погружение в чепуху, в сорье быта, но — на мой взгляд — это все же интереснейший процесс сближения с жизнью сего дня».

Имея в виду самую нашу отечественную историю, явственно высвечиваемую и на примере советской литературы, приведем выдержки из доклада Чумандрин, где запечатлелся истый дух тех лет и давался в конце концов ответ на поставленный по-прокурорски вопрос «Чей писатель — Михаил Зоценко?»:

«<...>...мой доклад является первым из серии предположенных докладов такого типа.

<...> Дело в том, что наши критики занимаются исследованием творчества различных писателей, пишут монографии о Зозуле, Лидине и т. д. Завтра будут исследовать Туров или Лебедева-Кумача, — но в то же время начисто замалчивается Зоценко. <...> Зоценко является исключительно сильным и талантливым художником. Впрочем, этого и не нужно доказывать, так как вся критика идет далеко не по линии замалчивания его художественных достоинств. Нет, замалчивается общественная значимость этого большого писателя. <...>

Самое тяжелое обвинение, которое обычно предъявляется Зоценко, — это обвинение в том, что он — мещанский писатель.

Но что такое, собственно говоря, мещанский писатель? Я считаю (и полагаю, что я прав), что мещанский писатель — это писатель, который своим творчеством помогает консолидации мелкобуржуазных настроений в современной действительности, вместо их разоблачения.

В марксистской литературе с понятием „мещанство“ связывается обычно понятие о мелкой буржуазии. Это легко установить, просмотрев соответствующие произведения, напр. Ленина и Плеханова. По мнению т. Ленина, мелкая буржуазия — это класс, обычно таящий в себе огромное количество пережитков прошлого, класс, который даже после установления диктатуры пролетариата все же в значительной мере воздействует на победивший класс. Борьба с мещанством в этих условиях — это означает бороться с мелкобуржуазной стихией, существующей вокруг рабочего класса.

Но бороться с мещанством можно по-разному и под разными классовыми знаменами.<...>

<...> Вот нас и интересует: каково же то знамя, под которым борется Зощенко?

Нам кажется, что ответить на этот вопрос нельзя, не разобрав творчества этого писателя. Меня в данном случае интересуют не столько его прославленные и широко популярные рассказы, сколько его повести и недавно вышедшая книжка, — плохо встреченная книжка — „Письма к писателю“.

В предисловии к книге повестей „О чем пел соловей“ Зощенко пишет: „Я хочу дать человека во всем его многообразии, во всей его неприглядной красе“.

Это предисловие нас наводит с самого начала на некоторые опасения. Что значит человек во всей его неприглядной красе? С нашей точки зрения, *просто человека* на свете не существует. Есть человек определенного класса, определенной социальной прослойки, человек, который существует в определенном обществе, связан с другими людьми, находится с ними в определенном взаимодействии. И с этой стороны нам кажется, что Зощенко делает значительную ошибку с самого начала, когда начинает говорить о *человеке вообще*. <...>

Зощенко в своих книгах, направленных против мещанства, зачастую отождествляет мещанина с человеком нашей эпохи. Это не совсем точно. Вернее, *совсем неточно*. В эпоху огромных социальных сдвигов в нашей стране отождествлять „Героя нашего времени“ с мещанином является совершенно неверным. Никогда еще мещанин и обыватель не играл в революции прогрессивной роли. С этой стороны отождествление мещанина и основного героя, определяющего лицо нашей эпохи, является политически неверным.

Каковы свойства мещанина в переживаемую эпоху? Нам кажется, что мещанин, — это, прежде всего, человек, который ухитряется стоять в стороне от всяких социальных потрясений. Делается какое-то большое дело, проводится огромная работа — но свойство мелкого буржуа, обывателя таково, что он не может пойти и активно проводить определенную линию. Он обязательно ищет себе хозяина, он должен пристроиться и плестись у этого хозяина в хвосте. Обывателю нет дела до того, что происходит. Проводится пятилетка, строятся колхозы. — „Отлично, пусть строятся, я здесь ни при чем, мое дело маленькое. Меня это все не касается, — что общего между мною и пятилетним планом?“

Вот какова психология мещанина.<...> Мещанин в своей пассивности, в своей неподвижности — это не человек, *просто стоящий в стороне*, ибо именно тем, что он стоит в стороне, тем, что он пассивен и неподвижен, —

этим он противопоставляет себя всем нам и нашей работе.

Кроме того, мешанин, в силу своей связи с гнилыми традициями, в силу связи с косностью и болотом, — питает чуждые и враждебные нам настроения. Так, например, когда мы видим, что группа рабочих протестует против уплотнения рабочего дня, то несомненно, что здесь поработал обыватель, шкурник и мешанин. Когда создается ударная бригада и люди идут против нее, то ясно, что здесь поработал обыватель, мешанин, мелкий буржуа, собственник».

Эта обширная выдержка из доклада о *творчестве писателя* ярко характеризует всю основу и фон, на которых только и стало возможно в СССР рассуждать о литературе и вообще об искусстве. И о человеке — средоточии искусства — как о сугубо классовой (или «прослоечной») принадлежности.

Воистину, многострадальный XX век — не век электричества, авиации, не атомный, не космический век, как по-разному и многократно его нарекали, а — век идеологии и манипулирования сознанием целых масс людей, век тотальной психологической обработки целых народов — России, Италии, Германии, Китая...

Но вернемся непосредственно к Зоценко. Еще в начале доклада Чумандрин заявил: «Я намеренно взял только ряд последних произведений М. Зоценко. <...> Меня интересует лишь та продукция М. Зоценко, которая заявляет о писателе как об одном из наиболее близких нам попутчиков. Та самая продукция, которая характеризует М. Зоценко 5–6 последних лет». И свой анализ «отображения мещанства» в его творчестве он построил на «Сентиментальных повестях» с их героями из интеллигентского слоя, не касаясь «его прославленных и широко популярных рассказов». Для Зоценко это был самый благоприятный, оптимальный для выживания вариант анализа. О повести «Сирень цветет» Чумандрин говорил: «Гнетущая обстановка мещанства вскрыта в этом рассказе Михаила Зоценко с поразительной ясностью. Он здесь приходит к выводу, что мещанство обречено на гибель. Но здесь нет указания на то, откуда придет гибель мещанина и обывателя. Об этом М. Зоценко молчит».

Взятую им линию на сохранение Зоценко как «наиболее близкого попутчика» высшей литературной касте «пролетарских писателей» Чумандрин провел до конца. Оставаясь в рамках царствующей идеологии, он сказал в своем заключительном слове:

«<...> Зоценко как писателя знают прекрасно все. Но это палка о двух концах. *Просто читателя* нет, есть наш, рабочий читатель, и есть читатель

враждебный. Но Зощенко популярен и у нашего читателя и у враждебного нам. И это опять-таки подводит нас к тому, о чем я уже говорил, что Зощенко должен конкретизировать свои удары, должен конкретизировать свою борьбу с мещанством, должен четче определить свои позиции, потому что такое положение, когда Зощенко одинаково читают и рабочий и мещанин, является положением весьма странным, от этого необходимо избавиться, и, я надеюсь, Зощенко от этого избавится.

Меня упрекали в том, что я очень мало говорил о фельетонах, которые написаны под псевдонимом „Гаврилыч“.<...>

<...> Зощенко берет волокитчика, бюрократа, конкретно называет его фамилию, имя, отчество, улицу, на которой он живет, и бьет его довольно сильно и крепко. Вот с этого-то момента и начинается приближение Зощенко к нам, а „Письма к писателю“ заканчивают этот период. Я не хочу этим сказать, что они заканчивают вообще приближение Зощенко к нам, но я думаю, что заканчивая какой-то определенный период, „Письма к писателю“ означают одновременно начало нового, еще большего к нам приближения этого исключительного писателя. И тут не прав тов. Стенич, который говорит, что Зощенко остался тем же, кем он был в 1922 году.

Некоторые т.т. удивляются, почему я придаю особое значение тому, что Зощенко свои симпатии высказывает не в политических документах, а в замечаниях вскользь, в рассказах, повестях, в письмах и т. д. Очень просто, товарищи, декларация — она мертва, если не подкреплена делами. Вспомните прекрасные декларации Пильняка. Это были почти коммунистические декларации, — что же касается дел Пильняка, то они всем печально известны. У Зощенко, напротив, мы не знаем ни одного политического документа, в котором бы он говорил, что готов умереть за Советскую власть, но замечания вскользь, в заметках и в письмах, в рассказах, в повестях — весь идейный комплекс в его произведениях показывает, что мы имеем дело с очень близким писателем, который с ошибками, со срывами, но тем не менее идет к нам, и особенно важно, что он это делает без декларации, без трескучих фраз.

Необходимо пересмотреть ярлыки, которые мы наклеиваем писателю, их вообще нельзя приклеивать к писателю механически. Так вот приклеили, что Зощенко — мещанский писатель. Ничего подобного. Зощенко разоблачает мещанство, срывает с него маску. И в этом смысле Зощенко нам очень и очень ценен. Но в то же время не отметишь тех ошибок, которые имеются у Зощенко, — это значит сделать вредное дело. И его ошибкой является то, что в своей борьбе он расплывчат и недостаточно четок.

Здесь есть над чем подумать. Приближение Зощенко к рабочему классу будет зависеть от того, в какой мере быстро и решительно он будет отмежевываться от тех особенностей своего творчества, которые делают его не всегда четким писателем».

Этот яркий документ не нуждается, очевидно, в общем истолковании, но требует некоторых конкретных пояснений.

На данном писательском заседании, или «вечере», как выразился в прениях один из участников, обсуждался, по тогдашней терминологии, «вопрос о Зощенко». Но вопрос этот, конечно, уже заранее был решен в руководстве: не отдавать Зощенко «попутчикам». Об этом открыто и запальчиво сказал в своем выступлении близкий друг Зощенко Валентин Стенич (расстрелянный затем в 1938 году): «Не Чумандрин и не Либединский открыли Зощенко, и не он к вам пришел, а вы идете к нему. Вы опомнились только тогда, когда почувствовали, что его могут перехватить попутчики. Он пишет 8 лет в этом направлении, а вы это только сейчас увидели. <...>...его замалчивали попутчики из чистоплюйства. Для них он опасный писатель: его, мол, печатают в „Ревизоре“ и „Бегемоте“. А вот я знаю, что Зощенко однажды на эти упреки сказал: „Если бы я знал, что массовый читатель интересуется мною, я с удовольствием бы печатался на обертках конфет в миллионном тираже“. Разве это не характерно для него? А вы 8 лет говорили о Зощенко как о писателе, непристойном в среде толстожурнальных китов, и только „Письма к писателю“, где он точно и по-простецки высказывается, заставили вас опомниться».

При обсуждении «вопроса о пересмотре взгляда на Зощенко» все выступавшие поддержали такую постановку вопроса. Сам Зощенко, как следует из обсуждения, на заседании не присутствовал.

Так, по схождению множества причин — личных, творческих, общественных, политических — чаша весов судьбы Зощенко склонилась в сторону сохранения его в литературе и в жизни.

А вот на Пильняке, судя по замечанию Чумандрина, к тому времени во властительных кабинетах уже был поставлен крест...

#### **4. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ**

Интенсивная литературная работа сочеталась у Зощенко с не менее активной частной жизнью. Некоторые детали этой жизни зафиксировались в переписке «серапионов», главным адресатом которой стал Лев Лунц,

тяжело заболевший в конце 1922 года и увезенный на лечение в Гамбург. «Серапионы» относились к нему исключительно нежно и поддерживали его своим постоянным вниманием. Он был в их «братстве» действительно всеобщим любимцем. И продолжал жить их интересами, сам часто писал им и с волнением ждал ответных писем. Каждый писавший ему, естественно, сообщал о том, как живут-поживают другие «братья», и Зощенко в этих сообщениях занимал весьма видное место. Приведем несколько выдержек из той переписки.

Из коллективного письма «серапионов» — текст Зощенко:

«После Федина невозможно писать. Федин романы пишет. После него мой стиль пропадает. Левушка! Целую нежно и все такое. А сын мой, Валька, умеет говорить „Люнц“. Миша Зощенко». (Середина октября 1923 года.)

Из письма Лунца от 22 октября 1923 года: «Зощенко, милый! Помнишь, когда я в прошлую зиму болел, ты часто приходил ко мне, садился в кресло, курил махорку, — и мы чесали языки, как старые бабы: сплетничали. Лежал я тогда в конуре, паршиво было и грязно, но было душевное, скажем, утешение в лице моих друзей и знакомых. А тут лучшая в Европе больница, и хоть помирай с тоски.<...> И даже ругаться с тобой согласен, лишь бы посмотреть на тебя. Немного таких, о которых так тоскую, — я эмигрантским нытьем пока не заразился. Говорят, у тебя вышли юмористические рассказы. Пришли, если можно. Ты помнишь, я их ценил очень и, в противовес многим, отнюдь не видел в этом умаление таланта. Плюнь на мудрых хулителей — им только Достоевского и подавай, — просто смеяться не умеют.<...> Валерию скажи, что „Люнц“ кланяется. Поцелуй ручку супруге».

Из письма Слонимского от 2 ноября 1923 года: «Я хожу в галошах и шубе, ставлю градусник, не признаю спиртных напитков, работаю — а Миша Зощенко вваливается ко мне в 3 часа ночи с кепкой на затылке, приплясывает, напевает что-то нечленораздельное и рассказывает о своих многочисленных романах. Я слушаю, как ты: снисходительно и научно». (В это время они, Слонимский и Зощенко, жили после закрытия ДИСКА в коммунальной квартире другого крыла того же елисеевского дома.)

Из письма Каверина от 14 декабря 1923 года: «Зощенко замкнулся в себе, упорно ищет нового пути для работы и недавно прочел прекрасный рассказ „Мудрость“. Стилистически необыкновенно тонко».

Из письма Каверина от 14 января 1924 года: «Мы довольно симпатично встретили Новый год.<...> Пели частушки, сочиненные Юрием.<...>»

Эх, который Михаил  
Десять дам покорил?  
Тот, который с круглым глазом  
Иль который пишет сказом?

(Автор частушки — Юрий Тынянов; а «который с круглым глазом» — Михаил Слонимский.)

Из письма Зощенко от 1 февраля 1924 года: «Левушка, милый, самый хороший человек в моей жизни. Целую тебя нежно и... на днях пишу тебе обширное послание. Если не напишу — подлец я и последняя собака... Последняя собака Зощенко».

В обществе «серапионов» Зощенко отошел от той замкнутости, отъединенности и мрачноватости, с которой держался в Студии в доме Мурузи. Он охотно читал на субботних собраниях свои рассказы, участвовал в веселых празднованиях годовщин их «братства», сочиняя остроумные пародии. Со Слонимским и его подругой (ставшей потом женой) ходил по вечерам ужинать в ресторан или в кавказский подвальчик на Невском. Иногда там собиралась вместе с ними целая компания — Федин, Никитин и симпатизирующие «серапионам» Эйхенбаум, Тынянов.

Как правило, отношения с окружающими его людьми складывались у Зощенко ровные и благожелательные. Однако свойственное ему обостренное чувство собственного достоинства нередко переходило у него в резкую обидчивость. Как-то после чтения Лунцем в очередную субботу пьесы «Вне закона», которая всем очень понравилась, Федин, увлекшись в похвале, заметил, что наконец на их собрании прозвучало по-настоящему зрелое произведение. А неделю назад здесь же все они слушали — и хвалили — рассказы Зощенко. Эти слова Фебина настолько его обидели, что он изменился в лице до черноты, усмотрев в них пренебрежительное отношение к своей литературной работе. «Серапионы», приняв сторону Зощенко, с трудом погасили вспыхнувший разлад. Инцидент закончился миром. С тех пор у них появилась шуточная поговорка: «Зощенко обиделся», которой они разряжали возникавшую слишком серьезную обстановку. А он действительно очень болезненно реагировал на все, что, по его представлениям, было бестактным, уязвляло его самолюбие и, главное, неверно, искаженно оценивало его творчество. Так, он красноречивым молчанием отвечал на всякое сравнение его с Горбуновым и Аверченко. Был случай, когда, по свидетельству М. Слонимского, некий поклонник в восхваление Зощенко сказал в застольном тосте: «Аверченко у

нас уже нет. Но есть Зощенко, который достойно заменил его». Зощенко мгновенно встал и ушел.

Пришедшая к нему слава внесла в его жизнь свои неизбежные изменения. Понятно, что множество людей почитали за честь быть знакомыми с самим Зощенко. С ними он бывал неизменно вежлив, внимателен, выдержан. Но и в кругу приятелей и друзей он не допускал панибратства. Даже с дорогим его сердцу Валентином Стеничем они, называя друг друга «Валя» и «Миша», были на «вы». Исключение составляли только «серапионы», Олеша, Катаев, Шкловский... В его поведении органично сочетались аристократизм и демократизм. Чаще всего его видели в темном костюме и ярко начищенных черных ботинках. Вместе с тем, посещая с приехавшими в Ленинград из Москвы приятелями роскошные рестораны в гостинице «Астория» или в «Европейской», он, равнодушно пробежав глазами изысканное меню, заказывал себе всегда одни и те же биточки в сметане и бутылку пива.

Обычно во второй половине дня, после установленных для себя рабочих часов, его невысокая, ладная, элегантно одетая фигура с грустным и невозмутимым выражением на красивом смуглом лице появлялась то в Доме книги, то в открывшемся тогда Доме писателя, которые стали после кончины ДИСКА литературными центрами Ленинграда. Часто бывал он и в Доме кино, и в театрах, встречался с приятными ему людьми, приходя к ним в гости. Захаживал он и в дешевые кафе, мог засидеться в пивной на Невском. В общем, вел светский образ жизни. И везде он показывался самостоятельно, без жены. Так учредилось у них с самого начала — он дал Вере Владимировне свою фамилию, положение жены, материальное благосостояние, право царить в доме, у них был сын, которого он очень любил, но при всем том он четко определил собственное право независимого поведения. И эта его независимая «светская» жизнь уравнивала тот мир, в котором он пребывал, работая над своими рассказами и повестями, снижала, компенсировала сильнейшее творческое напряжение.

Колоссальному писательскому успеху, который пришел к Зощенко в середине 20-х годов, сопутствовал не менее значительный (по своим критериям) его успех у женщин. Зощенко глубоко чувствовал женскую прелесть, она была его страстной потребностью, и он умел талантливо ее раскрывать, возбуждать, ценить. В большинстве своем его романы были непродолжительны, сменялись один другим (некоторые знакомые считали их «офицерскими»), но он не обижал своих прежних возлюбленных, оставался их другом и при надобности поддерживал в жизненных

треволнениях и переменах. Так же преданно поступали и они, что особенно проявилось в годы его тяжких испытаний.

Конечно, он понимал женское сердце, был психолог и прекрасный рассказчик, красиво ухаживал, да ведь и сам был красив, изящен и — знаменит... Но вел он себя при этом невозмутимо и как бы предоставлял женщине право последнего шага на тропинке их взаимного увлечения. Романы у него завязывались чаще всего с замужними женщинами. Он бывал у них в доме, приятельствовал с их мужьями, ходил с обоими супругами в театр и ресторан; он вел себя по-светски, выказывая внимание хозяйке дома, мог открыто пригласить ее, скажем, поехать с ним на лихаче на Острова (тогда, в двадцатые и до половины тридцатых годов в Ленинграде, как и в других городах, еще было полно извозчиков, и лихачами назывались те, кто лихо возил седоков в щегольских пролетках на резиновом ходу).

До получения своей постоянной квартиры в «писательской» надстройке дома на канале Грибоедова он пользовался разным жильем. Когда гонорары стали значительными, он занял с семьей шестикомнатную квартиру на Сергиевской. Вероятно, там и случился эпизод, красочно описанный женой М. Л. Слонимского:

«Вера Владимировна обставила квартиру белой мебелью в стиле Людовика XVI, у Зоценко появился, правда, довольно скромно обставленный красным деревом, но все же — кабинет. Мы с М. Л. были уже женаты, и вот как-то вместе с приехавшим из Москвы Шкловским оказались приглашенными к Зоценкам. Нас принимали в большой комнате Веры Владимировны, где был накрыт парадный стол. Увидев всю эту обстановку, столь непривычную для Зоценко: мебель Луи XVI, картины с маркизами в золоченых рамах, фарфоровых пастушков и пастушек и большую раскидистую фикусовую пальму — невоздержанный Шкловский воскликнул: „Пальма! Миша, ведь это как в твоих рассказах!“ Вера Вл. смутилась, Зоценко почернел и растерялся. Думаю, что раньше он даже не замечал эту пальму.

Вообще же Зоценко, по-моему, жил как-то отдельно даже в общей семейной квартире».

О том же свидетельствуют и другие воспоминатели, бывавшие у Зоценко позднее, на его постоянной квартире: очень скромно обставленный кабинет Михаила Михайловича — железная кровать, письменный стол-бюро красного дерева, жесткое кресло со стеганой подстилкой, пара стульев и одностворчатый шкаф с зеркалом, а рядом в соседней комнате, где господствовала уже Вера Владимировна, —

роскошная французская кровать с белыми розами... (Напомним, что еще в ранней молодости, после первого брака, она записала в дневнике: «Хочу роскоши, довольства...»)

Очевидно, многое в воспитании и привычках Веры Владимировны шло из тех времен и среды. Уже будучи женой Зощенко и поступив учиться в университет, она поплатилась за свое «социальное происхождение» — в 1924 году ее из университета «вычистили» как дочь царского офицера. По описанию одной из ее соседок по дому на канале Грибоедова, жены писателя молодого поколения, Вера Владимировна выглядела «манерной, говорливой дамой, одетой во что-то воздушное, голубое с оборочками, в немыслимых шляпках». Но — это все-таки женский взгляд на нее. Известно также, что она привлекала к себе мужское внимание — и сама по себе, и как жена Зощенко.

К концу 20-х годов отношения между Зощенко и его женой уже прошли смену нескольких стадий, предшествовавших установлению определенного способа существования их семейной молекулы.

В воспоминаниях Веры Владимировны, где она дает и выдержки из своего дневника, по которому писались воспоминания, эта смена их взаимных оценок и настроений зафиксировалась следующим образом:

«Мой бедный мальчик! Он так плохо чувствует себя все время! *Больное сердце, слабые легкие...* А работать приходится много, не жалея себя, не щадя своих сил... Днем — служба, — до 5 часов, вечера — за творческой работой. Ведь он добился своего, начал печататься и обещает быть крупным писателем... [Сбылась моя давнишняя, детская мечта — я — жена писателя...] Но зима прошла в таких тяжелых, кошмарных условиях! Пришлось ему жить в нетопленной комнате, пешком ходить на службу — с Зелениной улицы на Благовещенскую площадь, стоять в очередях, вечерами — дождь и холод — ходить пешком по делам на эту сторону — и все это так томительно, тяжело и скучно... И вечные заботы о хлебе насущном, о благосостоянии семьи — это так угнетающе действует на нервы!» (Март, 1922 г.)

«Я знаю — в нем, как в каждом человеке — две души. Одна глубокая, ищущая, стремящаяся заглянуть в самую глубь вещей, живущая для творчества, даже мне до дна неизвестная. И другая — простая, человеческая, даже с маленькими человеческими слабостями, больших нет. Он удивительно честен и чист. У него большое любящее сердце. Он очень добр. Он добрее и честнее и глубже меня. Это я знаю. У него сложный и капризный характер. Он то, что в общепитии называют „тяжелым

человеком“. Он часто бывает угрюмым, необщительным, замкнутым. Он даже может быть невежливым до грубости с неприятными, ненужными ему людьми. Чтобы его любить и прощать все эти, часто неприятные, странности, надо знать его так, как я его знаю.

<...> Он слишком знает людей, он ищет какой-то глубины и силы духа, чего-то „необыкновенного“, и не находит — все люди, как люди, даже писатели, имена которых заставляют думать, что они совсем особенные, чуждые пошлости люди.

И он замыкается от них и не хочет идти к ним, и бывает с ними резок и груб. Он возмущается ложью и пошлостью человеческой жизни и отражает ее в своих хлестких юморесках, отражает зло и умело. У него часто не бывает снисхождения к людям, он чужой и далекий им.

У него много нового, своего, оригинального. В отношении религии, любви, брака, крови — он навсегда порвал со старыми традициями отжившего мира». (Конец 1922 г.)

«Мишины денежные дела неважны, а чувствует он себя очень скверно: все время жалуется на легкие, не говоря уж о сердце. Правда, выглядит он очень плохо, хотя вообще он склонен преувеличивать свои болезни... Надо, надо помочь...»

«Михаил занят своей работой и своим здоровьем, да и вообще-то он по натуре неласковый, замкнутый, холодный... Если и любит — не скажет, не приласкает...<...>

Михаил говорит, что нельзя это требовать после 6-летней связи, что это всегда так бывает, что у нас еще идеальные отношения».

«Первый раз в жизнь Михаила вошла новая женщина, кот. как-то заинтересовала его... Была это... <...> подруга Дуси, будущей жены Слонимского. Он начал с ней встречаться, бывать в театре... даже на „Серапионовскую годовщину“ в феврале он зашел зимою вместе с нею...

И это возмутило и оскорбило меня до глубины души, хотя я и ничего не сказала ему и никак не выдала своих чувств... <...>

Что я для Михаила? Сестра, мать, друг, пожалуй, — но не жена, последнее время и не любовница даже. <...>

Он объясняет это своей болезнью сейчас, но я думаю другое.

Что же дает он мне?

Он делится со мною своими мыслями, он передает мне темы и сюжеты своих произведений, он читает мне свои рассказы и дорожит моим мнением, хотя и высказывается порою, что не вполне полагается на мое критическое чутье. Я исправляю его рукописи, просматриваю корректуры, иногда даже переписываю рукописи — т. е. являюсь товарищем-

помощником. Я забочусь о его столе, его белье, вообще веду хозяйство — хотя мы и живем отдельно, играю роль полуэкономки, полуприслуги.

Что же еще? Я являюсь ему другом, потому что мне он сообщает все мелочи и частности своей личной жизни, я *выслушиваю его бесконечные жалобы на слабое здоровье*. Да, как друг, как хозяйка, как помощница я ему нужна. Он огромный эгоист, больше, чем кто-либо, во-первых, во-вторых, — он слишком поглощен своим творчеством и своим здоровьем, в-третьих, — у него нет любви ко мне». (Зима 1922/23 года. В сентябре 1922 года Зоценко переселился в ДИСК.)

«Я спросила его, почему он такой грустный и печальный? Он ответил, что бывает веселый только тогда, когда что-нибудь хорошее напишет, а сейчас почему-то не может и не хочет писать, хотя есть масса сюжетов. Я говорила, что он просто устал, переутомился от непрерывной умственной работы — что он совершенно не живет своей жизнью, обыкновенной человеческой жизнью, что он слишком отдался своему творчеству и из-за него совершенно забыл живую человеческую жизнь.<...>

<...>Что он любит?

„Слово люблю, хорошую фразу, хороший сюжет люблю“.

То есть — все то же, только свое искусство. Сейчас *мучается над поисками новой формы, потому что для новых рассказов ему нужна и новая форма*, писать же в одном тоне он не может.<...>

<...>Жак он часто любит делать, проводил параллель между собой и Гоголем, которым очень интересуется и с которым находит очень много общего. Как Гоголь, так и он, совершенно погружен в свое творчество.

<...>Даже происхождение одно — хохлацкое. — „М. б. одна кровь сказывается“.<...>

<...> Ему, кажется, ничего не надо. Вчера он оживился лишь тогда, когда я заговорила о ребенке. Сына он любит и даже гордится им и ждет от него многого».

«Нет, Михаил все-таки милый... Человек, кот. никогда не скажет такого слова, от кот. может покоробить. Удивительное у него чувство меры! Да и вообще-то порода в нем чувствуется, барство, размах широкий, глубина...» (Лето 1923 г.)

«<...> Михаил сказал, что он самый знаменитый писатель в России. А я подумала — а я самая несчастная женщина в России».

«Он эгоист. И гордится собой. М. б. он и имеет на это право...»

«Он говорил — „Какой ты тяжелый человек, какая ты ужасная, я не могу оставаться у вас, я чувствую, что заболеваю от разговоров с тобой“.

Но когда я предложила ему, в таком случае, если ему так тяжело со

мной, если так удручающе действует на него наша обстановка — несмотря на все мои старания создать что-то хорошее, — предложила не приходить к нам вовсе, он возмутился — „Ты не имеешь права запретить приходить к Вам, я должен иметь обед, я имею право требовать минимальной заботы о моем белье и помощи в переписке“.

Да, он был эгоистично безжалостен и жесток!<...>

Говорил, что не любит меня и ничего не может с этим поделать — что „из пальца любви не высосешь“ — его миленькая фраза!» (1926 г.)

«И вдруг — совсем неожиданно — Михаил предложил мне искать квартиру для совместной жизни...»

«<...>...пришел Михаил, и я уговорила его переехать к нам на некоторое время, пока он болен. И он неожиданно согласился... И я была удовлетворена — я победила, я сильная...»

Все вышло, как я хотела. <...>...отношения налажены и это сделала я — я все же сильнее его оказалась... Это очень хорошо...

Но... полной „победы“ я никогда не дождалась!»

«<...>...накупил массу вещей для меня и для Вали — истратил половину денег, полученных им за 7-е издание „Уважаемых граждан“ — 250 р.».

«Михаил понемногу высказался — сначала сказал, что, м.б. он был не прав в нашем разговоре, требуя безграничной свободы для себя и всячески ограничивая мою; сказал — „может быть, я ничего не буду иметь против того, чтоб у тебя был любовник, если это будет обставлено прилично...“»

«Мы часто говорили с ним о нем и о его творчестве — это его любимая тема. Очевидно, она особенно дорога ему». (1927 г.)

«Все же я недурна собой — выше среднего роста, тоненькая, изящная...

У меня каштановые с золотистым отливом волосы — беспорядочная, кудрявая головка. Не модно, но стильно. Мой стиль...

Личико — маленькое, миловидное...

Когда подвожу ресницы и брови, а то и губы — получается совсем неплохо.

Глаза — не маленькие, голубовато-зеленые. У меня бывает нежный, певучий голос, когда я захочу...

В большинстве случаев говорю быстро — как будто тороплюсь скорее высказать то, что надо сказать... В детстве папа звал меня „тараторкой“...

Когда я говорю об интересном — вся загораюсь и в глазах зажигаются искорки.

Иногда же бываю очень спокойной и рассудительной — говорю

медлительно...» (1928 г.)

В этот как раз период к Вере Владимировне воспылал страстью поэт Василий Князев, автор знаменитой революционной «Песни Коммуны» с широко известным рефреном «Никогда, никогда, никогда Коммунары не будут рабами!». Признания Князева в любви к Вере Владимировне обрушились на нее валом его писем в лето 1925 года. И переписка эта — с его стороны — сразу приняла домогательный и откровенно эротический характер. Письма сопровождались стихами такого же содержания. Но роман этот так и остался «эпистолярным». Вера Владимировна разумно сдержала натиск неуравновешенного Князева, переживавшего тогда мучительное разуверенье в большевиках и тяжелый душевный кризис. Ей были интересны его письма и посвященные ей стихи (несмотря на во многом похотливый, «самцовый» их характер), но сам он со своими напористыми притязаниями, душевной смутой и эгоцентризмом не вызывал доверительного чувства.

Очевидно, так оценил эту ситуацию и Михаил Зощенко, занявший в тот момент выжидательную позицию. Конечно, он понимал возможные сложности в своих отношениях с женой из-за собственного образа жизни. Но установленного им порядка не изменял.

И фотографии Зощенко второй половины 20-х годов запечатлели со вкусом, даже щегольски одетого, весьма приятного и уверенного в себе господина. На одной из них — Зощенко в Ялте, 1927 год; он в темном костюме, в белой рубашке с галстуком, кепке и с тростью (очевидно, была осень или ранняя весна). На другой — он в отличном сером костюме, с лицом кинокрасавца, и жгучий взгляд его темных глаз направлен в сторону, в некую даль. А сбоку фотографии — его надпись: «Снято в Москве на Тверской. Благополучный человек! Таким бы всегда! Снято 1928. М. Зощенко».

Но в те же годы-блистательных творческих достижений и насыщенной «светской» жизни у Зощенко обозначились гнетущие проблемы как со здоровьем, так и с переосмыслением своих писательских задач.

## НЕПРОЧТЕННЫЙ ЗОЩЕНКО

Произведения Зощенко, принесшие ему широчайшую известность и славу, в художественной форме отразили демографические и духовные результаты того общественного катаклизма, который был насильственно произведен в России в октябре 1917 года. Этот Октябрьский переворот, совершенный большевиками во главе с Лениным и названный затем Великой октябрьской социалистической революцией, перевернул саму Россию: произошла не смена власти — из одних рук в другие, произошло разрушение вековых основ жизни страны, разлом ее истории, разрыв времен, развал всей существовавшей экономической системы.

В результате того тектонического разлома и сброса в России были ликвидированы «как классы» — политически, экономически, физически — дворянство («графья», «баре»), промышленники («фабриканты» и «заводчики»), землевладельцы («помещики», «кулаки-мироеды»), купечество («торговцы»), чиновничество («бюрократы-чинодралы»), духовенство («попы»), офицерство («офицерье»)… Конечно, было естественно и правомерно осуждать, отвергать индивидуальные и кастовые пороки, присущие немалому количеству образчиков данных сословий. Но тотальное изъятие самих целых сословий из общественного бытия нации изымало также культуру, эталонные понятия, нормы человеческого поведения, вековыми носителями которых эти сословия, каждое в собственном качестве, являлись, входя неотъемлемой составной частью в общенациональный дух России, образуя своими характерными чертами ее полный *лик*.

Надо было быть способным пойти на такое деяние — обрушить вековое общественное устройство крупнейшего мирового государства, использовать войну, которую оно вело, и целенаправленно, преднамеренно вызвать этот исторический катаклизм. Большевики, возглавляемые Лениным, показали свою способность.

По тому же классовому признаку на штурм «старого мира» были подняты «пролетариат», «крестьянство», «солдаты и матросы». Но, верный себе, Ленин и среди них проводил острое разделение: в рабочем классе большевики опирались, по его же словам, только на «сознательных», «революционных» пролетариев (то есть наиболее склонных к митингам, забастовкам, насилию и наиболее люмпенизированных) в противовес тем

умеренным и старательным труженикам, кто «поддался влиянию буржуазии» и поддержал меньшевиков. И крестьянство делилось Лениным на беднейших крестьян («полупролетариев»), батраков и иных временных наемников, которых большевики натравливали на «мелких и средних крестьян», то есть имеющих какое-никакое, но свое собственное хозяйство и, понятно, поддержавших эсеров. И из солдат и матросов нужны были только «революционные».

Так, опираясь на великие идеалы, выражаемые общечеловеческим девизом «Свобода, Равенство, Братство», большевики использовали для захвата власти в России самый агрессивный, «сознательный», «революционный» слой общества. Ставка делалась на неимущих, на социальную голь, к которой быстро приобщалось мелкое жулье и уголовщина, и весь этот штурмовой конгломерат идейно оснащался соблазнительными, ультрасправедливыми, хлесткими, а на деле разрушительными лозунгами и призывами — «Вся власть Советам!», «Мир хижинам, война дворцам!», «Грабь награбленное!», «Кто был ничем, тот станет всем»... Но чтобы закрепить захват власти, необходимо было переманить на свою сторону самую многочисленную часть населения России — крестьянство, и большевики на первых порах объявили еще о полной передаче крестьянам земли, присвоив себе этот главный пункт программы эсеров.

А после победы большевиков к новой власти и поднятому ею на поверхность общественной жизни — вместо сброшенных сословий — «пролетариату» поспешили примкнуть городские и посадские «мелкобуржуазные» или «мещанские», по тогдашней терминологии, слои населения: рядовые служащие, «частники» — ремесленники, извозчики, лавочники и вся несметная российская, как теперь говорят, «сфера обслуживания» из приказчиков, парикмахеров, портных, поваров, официантов, горничных, кухарок, прачек, дворников... Активно притягиваясь к «чисто пролетарским» классам, вставая под их социальные вывески, они смешивались с ними, образуя новую общественную среду в рамках установившегося тоталитарного режима. Причем пробивались «нечистые» не только в услужение к новой власти, но — ловко подхватывая, в силу приобретенной при «барах» грамотности, революционные лозунги, — и в саму эту власть.

В этом историческом контексте, перефразируя заголовок известной ленинской статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции», о Михаиле Зощенко вполне можно говорить как о «зеркале большевистского переворота в России»: с поразительной интуицией он искал и находил

своих героев в той массе людей, которая обозначилась тогда в общественной жизни, выходя на ее поверхность и замещая ниспровергнутые классы. Напомним: «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Чевенгур» и «Котлован» Андрея Платонова увидели свет только через шестьдесят лет после написания, роман Евгения Замятина «Мы» был издан у нас, на родине, спустя почти семьдесят... А Зощенко, как мы знаем, издавался тогда много и открыто, имел широкий круг читателей и почитателей. Феномен Зощенко.

И чтобы повести речь о «непрочтенном Зощенко», нужно еще раз наново обратиться к его рассказам 20-х годов.

Вглядимся прежде всего в родословную его героя и в обстоятельства жизни, в которой тот действует.

Первый шаг на пути обретения своего героя Зощенко сделал, как известно, в первой же книге — это вывернутый войною из крестьянской колеи Назар Ильич Синябрюхов. Но критика проходила мимо этой исходной точки зарождения героя (иногда очень близко от нее), хотя сам Синябрюхов сказал о данном явлении со всей определенностью: «Много таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться». Один из тогдашних критиков даже употребил по его адресу важнейшее, ключевое определение — «деклассирован», но... лишь для того, чтобы пояснить социальную пестроту его словарного запаса. Однако в Синябрюхове была очевидна его неприжитость в наступившей после Октября действительности. Отметим еще раз, что он был добрый, честный, откровенный человек, тянувшийся к справедливости, исполнительный и работающий. Упомянутый критик обозначил его как «персонаж-неудачник».

Запечатлев этот тип, Зощенко, естественно, должен был перейти к тем героям, которые сумели приспособиться к новым временам. И в тех же «Рассказах Назара Ильича господина Синябрюхова» появился персонаж, который до войны «ездил по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по французскому и виски иностранные пил», затем на фронте был вместе с Синябрюховым «таким же, как и не я, все равно, рядовым гвардейцем пехотного полка», а года через два после Октября, встретив своего фронтового приятеля, гордо рассказал ему о себе: «Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении». Яркий пример вхождения во власть классово «нечистых».

А затем у Зощенко появились персонажи вроде того молодого парня из рассказа «Тормоз Вестингауза», который «маленько окосевши» рассуждает

в поезде: «Дескать, он это такой человек, что все ему можно. И даже народный суд, в случае ежели чего, завсегда за него заступится. Потому у него — пущай публика знает — происхождение очень отличное. И родной дед его был коровьим пастухом, и мамаша его была наипростая баба...» И Зощенко все чаще и настойчивее подчеркивает в своих персонажах этот симптом большевистской идеологизации.

Или вот рассказ «Честный гражданин», написанный в форме «заявления начальнику губмилиции» и дающий самопортрет раннего советского «стукача»: «Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира № 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданин Гусев и дерет, кроме того, с трудящихся три шкуры. А когда, например, нетути денег или вообще нехватка хушь бы одного лимона, то в долг нипочем не доверяет и еще, не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихают в спину». Речь здесь, понятно, идет о «платформе советской власти», заявлять о стоянии на которой должен был каждый лояльный к власти гражданин. Ну, а упоминаемый «лимон» — миллион рублей на жаргоне инфляции, возвратившемся вновь в нашу жизнь. Далее, перечислив еще несколько «подозрительных по самогону» квартир, добровольный доносчик «стучит» и по другому вопросу: «А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гулящая. А когда я к Варьке подошедши, так она мной гнушается». И чтобы до конца показать нравственный и правовой уровень «честного» советского гражданина, Зощенко добавляет в его самопортрет такие строки, обращенные им к начальнику милиции: «Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите».

Что до обстоятельств, в которых действовали герои Зощенко, то раскрывшийся в нем талант, этот дар Божий, позволил ему столь же пронизательно увидеть и, казалось, простодушно отразить наставшую после Октябрьского переворота действительность в ее противоестественной перевернутости, ненормальности по отношению к живой жизни, к людям, человеческим взаимосвязям, здравому смыслу.

И в тех его рассказах (печатавшихся в массе юмористических), в которых эта «перевернутость» становилась самостоятельной сатирической темой, на первый план выходил уже не комический «эффект отражения» ситуации героем-сказчиком, а взгляд на действительность самого Зощенко — как на окружавшую человека реальность, оборачивающуюся ирреальностью, некоей фантазмагорией жизни.

Возьмем рассказ-фельетон «Пожар» (написанный по газетной заметке), в котором с истинно-зощенковским блеском дается картинка

пожара одной частной лавки: «И вот однажды в субботу вечером — возьми и загорись этот частник. Говорят, от оброненной папироски у него товар вспыхнул. Небрежность какая! Докидался, темная личность». Народ спокойно наблюдает зрелище: «На этот раз массы довольно сознательно отнеслись к факту. Тем более что лавка стояла несколько в стороне от селения. И ветру в ту пору не было». Наблюдает, не выезжая, и пожарная команда, поскольку горит частник, не кооперация, а брандмейстер не намерен «нарушать классовую линию». Заканчивается эта фантазмагория словами сказчика: «Вскоре, говорят, над пожарниками состоится показательный суд за ихний, так сказать, левый уклон и убеждения. А тоже ведь не сразу угадаешь, что требуется».

А теперь подробнее остановимся еще на одном рассказе — «Прелести культуры»:

«Всегда я симпатизировал центральным убеждениям.

Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп — так нэп. Вам видней.

Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.

И, действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться — сиди, в чем пришел. Это было достижение.

А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздеванья в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком».

И далее, поведав о том, как его уговорили пойти в театр — «провести культурно вечер» — встретившиеся на улице знакомые, рассказчик продолжает:

«Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.

— Пальто, — говорят, — сымайте.

Локтев, конечно, с дамой моментально скинули пальто. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. „Прямо, — думаю, — срамота может сейчас произойти“. Главное — рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. „Срамота, — думаю, — с такой крупной пуговицей в фойе идти“».

Уже из общих вступительных рассуждений сказчика (а Зощенко часто дает своему герою такую возможность) становится очевидной «перевернутость» сознания человека, которому при военном коммунизме было куда как свободнее, чем при нэпе. Однако при введении нэпа он «не протестовал», объясняя это тем, что «всегда симпатизировал центральным убеждениям». Нетрудно догадаться, что так «симпатизировать» его крепко научили во время военного коммунизма с укоренившейся тогда командой «К стенке!», и он настолько вколотился в то психологическое состояние, что от «предчувствия некоторых резких перемен» сердце у него «отчаянно сжималось»...

Но свою общую симпатию наш сказчик мотивирует ссылкой на более мелкую (по его понятиям) область жизни: он говорит о свободе при военном коммунизме «в отношении культуры и цивилизации». А вся «свобода», какую он имел в виду, оказывается... свободой не раздеваться в театре. «Это было достижение», — утверждает он, хотя тут же признает, что «без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней».

Этой перевернутости человеческого бытия, искаженности сознания и взаимоотношений людей у Зощенко посвящен целый ряд превосходных рассказов. Кроме упоминавшихся назовем хотя бы еще: «Твердая валюта», «Жертва революции», «Гримасы нэпа», «Не все потеряно»... И возникает впечатляющая картина некоей абсурдной и одновременно безусловно реальной жизни со своими «аристократками», «чистыми пролетариями», «честными гражданами», со своим «избранным обществом».

А символом этой фантазмагии предстает вдруг наш герой-сказчик, оказавшийся в театре в «не особенно грязной, но, конечно, грубой, ночной» рубашке. Причем озадачивает его в последний момент даже не эта рубашка, а — крупная шинельная пуговица на ее вороте.

И по причудливой аналогии вдруг думаешь, что смирившаяся с большевистской «рубашкой» Россия, уже стоявшая в таком виде на сцене исторического театра, тоже кипела лишь по поводу тех или иных пришиваемых «пуговиц»...

Однако и эти рассказы Зощенко все еще воспринимались по образовавшейся инерции как произведения поверхностного юмориста, а не глубокого сатирика, как уморительного весельчака, но не плакальщика. Очень многим еще верилось в светлое будущее, еще хотелось смеяться, и так было проще, понятнее, безопаснее.

Феномен Михаила Зощенко — феномен гласности и популярности — столь ярко проявившийся в первое послеоктябрьское десятилетие «Совдепии», повторился затем через пятьдесят лет — в период «застоя»,

уже в последнее десятилетие коммунистического режима в СССР — с другим вещим российским сочинителем Владимиром Высоцким, большая часть сатирических песен которого, как некогда и рассказы Зощенко, воспринималась огромной массой почитателей и одновременно их действующими лицами по преимуществу в юмористическом плане, при всем наставшем уже в те годы горьком осознании ничтожества своего бытия под выдохшимися выпренными и демагогическими лозунгами. В обоих случаях основанием феномена имелись, помимо таланта, природная доброта, терпимость авторов, слово их не гремело набатом, не призывало к ненависти, насилию, оно наполнилось болью, печалью, горечью, но и неудержимым смехом, меткой иронией.

И оба автора в своей беспощадной сатире не отделяли себя от своих персонажей, говорили их языком и выступали под их лицами... Правда, дряхлеющий режим, державшийся силою отлаженной машины тотального подавления, не допустил в печать ни единой строчки из восьмисот песен Высоцкого, но ничего уже не мог поделать с полководцем магнитофонного «самиздата», разлившегося по всей стране.

В числе катастрофических последствий Октября, как показала жизнь, было наступившее всевластие *идеологии*, тотальная пронизанность ею сознания и быта народа, приведшее к замещению социалистической идеологией (в ее советском варианте) общечеловеческой нравственности.

Талант и сердце Зощенко чутко уловили эту пагубную опасность для человеческих душ. И тот злободневный, воинственный, всезахватный идеологический фон, который сделался постоянным в жизни общества, отразился сразу же — но, естественно, с антиидеологической направленностью — в большинстве рассказов Зощенко 20-х годов, органично вошел в их текст и подтекст. Причем надо особенно подчеркнуть, что произошло это не стихийно и не исподтишка.

В этой связи наконец-то рассмотрим еще один замечательный документ, появившийся на свет в 1922 году. В тот стартовый свой год Михаил Зощенко опубликовал не только первые рассказы в журналах, издал первую книгу, но и выступил, как уже говорилось, со своей первой автобиографической, полемической, можно даже сказать, программной статьей «О себе, об идеологии и еще кое о чем», напечатанной в «Литературных записках» в тоже упоминавшейся журнальной подборке, посвященной «Серапионовым братьям». Четверть века спустя эту статью, как досье-«компромат», использовал против него в разгромном докладе тогдашний главный партийный идеолог Жданов. И по этой частной

причине, и по общей исключительной значимости для нашего представления о Зоценко того периода приведем ее почти целиком, выпустив лишь известные биографические сведения (и то не все, чтоб не разорвать взятую в статье тональность):

«<...> Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, тоже — идеология... Требуется нынче от писателя идеология.

Вот Воронский (хороший человек) пишет:

...Писателям нужно „точнее идеологически определяться“.

Этакая, право, мне неприятность!

Какая, скажите, может быть у меня „точная идеология“, если ни одна партия в целом меня не привлекает?

С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, я просто русский. И к тому же — политически безнравственный.

Честное слово даю — не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю: не большевик, но эс-эр он или кадет — не знаю и знать не хочу, а если и узнаю, то Пушкина буду любить по-прежнему.

Многие на меня за это очень обидятся. (Этакая, скажут, невинность сохранилась после трех революций.) Но это так. И это незнание для меня радость все-таки.

Нету у меня ни к кому ненависти — вот моя „точная идеология“.

Ну, а еще точнее? Еще точнее — пожалуйста. По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен.

Да и кому быть большевиком, как не мне?

Я „в Бога не верю“. Мне смешно даже, непостижимо, как это интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы и там молится раскрашенной картине...

Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не признаю. И Россию люблю мужицкую.

И в этом мне с большевиками по пути.

Но я не коммунист (не марксист вернее) и думаю, что никогда им не буду.

Мне 27 лет. Впрочем Оленька Зив думает, что мне меньше. Но все-таки это так.

<...> Нынче я пишу „Записки бывшего офицера“, не о себе, конечно, но там все будет. Там будет даже, как меня однажды в революцию заперли с квартирмейстером Хоруном в городском холодильнике.

А после революции скитался я по многим местам России. Был

плотником, на звериный промысел ездил к Новой Земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции Лигово, был агентом уголовного розыска, карточным игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте — добровольцем в Красной Армии.

Врачом не был. Впрочем, неправда — был врачом. В 17-м году после революции выбрали меня солдаты старшим врачом, хотя я командовал тогда батальоном. А произошло это оттого, что старший врач полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивей.

Я не смеюсь. Я говорю серьезно.

А вот сухонькая таблица моих событий:

арестован — 6 раз,

к смерти приговорен — 1 раз,

ранен — 3 раза,

самоубийством кончал — 2 раза,

били меня — 3 раза.

Все это происходило не из авантюризма, а „просто так“ — не везло.

Нынче же я заработал себе порок сердца и потому-то, наверное, стал писателем. Иначе — я был бы еще летчиком. Вот и все.

Да, чуть не забыл: книгу я написал. Рассказы — „Разнотык“ (не напечатал; может быть, напечатает часть). Другая книга моя — „Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова“ — в продаже. Продается она, я думаю, в Пищевом тресте, ибо в окнах книжных лавок я ее не видел.

А разошлась эта книга в двух экземплярах. Одну книжку купила — добрый человек — Зоя Гацкевич, другую, наверное, — Могилянский. Для рецензии. Третью книжку хотел купить Губер, но раздумал.

Кончаю.

Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского.

Из современных поэтов мне, дорогая редакция, больше всего нравятся Оленька Зив и Нельдихен.

А про Гучкова так и не знаю.

Мих. Зощенко».

Эта одновременно серьезная и потешная статья Зощенко была и самой актуальной среди всех автобиографических выступлений «серапионов» в той журнальной подборке.

Верный своему чувству истинности, Зощенко во всеуслышание настаивал на всем том, что не разделяет, а объединяет людей: на любви к Пушкину, на отрицании ненависти к кому бы то ни было, на том, что быть «просто русским» важнее узкопартийной принадлежности. Однако статья

эта вскрывала также и то, что ум с сердцем не были у него в ладу. Он не только не знал, «в какой партии Гучков», но и в *какой* партии большевики, с которыми соглашался «большевичить», и через несколько строк после признания, что они «по общему размаху мне ближе всего», говорил, что «Россию люблю мужицкую. И в этом мне с большевиками по пути». Нашел себе друзей по любви к мужику. (Правда, с оговоркой, что сам он в этом «не марксист».)

И здесь, несмотря на свойственные Н. Я. Мандельштам, вдове поэта, крайности в суждениях, приведем высказывание о Зощенко из ее весьма известной «Второй книги», написанной уже в 1970 году (а изданной у нас через двадцать лет):

«Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широко вещательным программам, сулившим всеобщее счастье, считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявления жестокости и дикости лишь случайность, рябь на воде, а не сущность. <...> Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу перенесли свое отношение и на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции (починам он оказался к 1917 году повыше, но психологически принадлежал именно к этой категории). <...> На войне его отравили газами, после войны — псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничаньем, а на нее наслылось все остальное. Кризис мысли и кризис образования».

Сказанное Надеждой Яковлевной Мандельштам и справедливо, и несправедливо. Дело в том, что не только человек ищет связи с эпохой, стремится быть «с веком наравне», — связь эта двусторонняя. Конечно, у человека остается возможность осознать и отрешиться от заблуждений века и своих собственных. Однако надо помнить, какое широкое распространение в мире получили со второй половины XIX века социалистические теории и взгляды, суть которых выражалась в великих идеалах-лозунгах Свобода, Равенство, Братство. Социалистических и коммунистических воззрений открыто придерживались такие писатели, как Анатоль Франс, Ромен Роллан, Джек Лондон, Марк Твен, Бернард Шоу, Теодор Драйзер... Половина из только перечисленных — лауреаты Нобелевской премии.

Но в XX веке социалистические теории и взгляды, превратившись в различные узкопартийные программы, сделались в целом ряде стран, непременно переходивших для их воплощения к диктатуре, государственной *идеологией*, и эта идеология вероломно и тотально

подменяла собою гуманистические понятия, ценности, общечеловеческую *нравственность*. В фашистской Германии национал-социализм нашел свое конечное воплощение в лагерях смерти и газовых камерах Майданека, Дахау, Бухенвальда, Освенцима; построение советского интернационального социализма в СССР сопровождалось лагерями Нарыма, Колымы, Магадана и многими другими зонами ГУЛАГа. Так, соединив тотальную идеологическую обработку людей с изобретением способов и практикой их массового уничтожения, придав злодейству глобально-технический масштаб, XX век поставил человечество перед выбором: *нравственность* или идеология.

И чуткий, искренний Зощенко еще в первые послеоктябрьские годы, задолго до того глобального разворота, уловил несовместимость этих понятий, недопустимость подмены. (Хотя коварная идеологическая подмена проникла — как семантическая ошибка или оговорка — и в его статью, там, где он говорит о себе, что он «политически безнравственный». Говорит не без вызова...) И по тому явному неприятию всякой уродующей человеческую душу подложности, какое пронизывает многие его произведения, не побоимся утверждать: Зощенко был самый антиидеологический писатель из всех печатавшихся при советском режиме.

Что же до критических слов Н. Я. Мандельштам, то ответом на них пусть будет та оценка, которую давал рассказам Зощенко и ему самому поэт Осип Эмильевич Мандельштам. В своей «Четвертой прозе» (1930 г.) Мандельштам сказал: «Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду». В конечном счете писателя надо судить по тому, что он смог *написать*.

Пронизанность идеологией, подменявшей *нравственность*, сопровождалась массовым внедрением в живой общеупотребительный русский язык советского «новояза» с его каббалистическими аббревиатурами, цепкой лозунговостью, казенным пафосом, бездушным канцеляритом, иностранными терминами. Идеология породила свой особый, отдельный от человека язык, замещавший многоструйный подвижный язык народа, эталонным выражением которого был язык великой русской литературы. И такое искажение, омертвление языка явилось еще одним пагубным следствием Октября. (Образцы позднего партийно-государственного «новояза» — все постановления ЦК ВКП(б) о литературе и искусстве.) Эта болезнь, насаждаемая сверху, смешивалась с заболеванием языка, шедшим снизу, из малограмотных слоев населения,

которые были выдвинуты теперь на передние места.

А в том 1922 году, когда Зощенко впервые заявил в печати о своих взглядах, Осип Мандельштам, оспаривая через столетие утверждение Чаадаева, что у России нет истории, предостерегающе писал в статье «О природе слова»: «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. „Онемение“ двух-трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова». Еще одно подтверждение горькой истины, что нет пророка в своем отечестве.

Начавшийся после Октября процесс «онемения» получил самое яркое отражение именно в рассказах Зощенко 20-х годов. Никто из писателей не мог даже сравниться с ним в художественном воспроизведении того раннего советского «новояза», на котором заговорила послеоктябрьская людская формация, ставшая предметом его писательского исследования. И не было ни одного критика и литературоведа, который в своих статьях о Зощенко не писал бы о его языке. Сказ и язык — это были два конька всех пишущих о его творчестве.

О языке Зощенко высказывался сам М. Горький в своих письмах к нему из Сорренто: «Отличный язык выработали вы, Михаил Михайлович, и замечательно легко владеете им»; и следом — как классическое определение — «пестрый бисер вашего лексикона» (сентябрь-октябрь 1930 года). Оба авторитетных высказывания цитировались затем неоднократно в книгах литературоведов.

Этот «пестрый бисер» представлял языковой конгломерат, который послужил Зощенко средством универсальной характеристики своих персонажей. Специалисты обнаруживали в нем множество виртуозно смешанных «речевых составов» — крестьянский говор, церковно-славянские выражения, военную лексику, воровской жаргон, вульгарную городскую фразеологию, канцеляризм, иностранные слова (не затрагивался, не упоминался, по понятным причинам, только всепроникающий пласт идеологической лексики). Но исследовалось все это в основном для того, чтобы показать степень отличия языка героев Зощенко от литературного. Выявление социальных корней отдельных составляющих этого сплава не вело к выводам относительно социально-демографических перемен в России, проистекших в результате Октября. И

потому было сравнительно безопасно.

Много, интересно, подчас противоречиво писал о зощенковском языке К. И. Чуковский. С одной стороны, он утверждал:

«Это не лесковская мозаика старинных, редкостных, курьезных и вычурных слов — это живая, свежая, неподдельная речь, которая зазвучала тогда на базарах, в трамваях, в очередях, на вокзалах, в банях.

Зощенко первый из писателей своего поколения ввел в литературу в таких масштабах эту новую, еще не вполне сформированную, но победительно разлившуюся по стране внелитературную речь и стал свободно пользоваться ею как своей собственной речью. Здесь он — первооткрыватель, новатор».

Но отдав интеллигентскую дань народничеству, прикрывшись так, Чуковский высказывается по-иному:

«Искусно пользуясь им для своих рассказов и очерков, Зощенко не забывал никогда, что сам по себе этот язык глуповат и что из него можно извлекать без конца множество комических и живописных эффектов именно потому, что он так уродлив, нелеп и смешон.

На каждой странице писатель готов отмечать вывихи его синтаксиса, опухоли его словаря, демонстрируя с веселым злорадством полную неспособность ненавистного ему слоя людей пользоваться разумной человеческой речью». (Нельзя не заметить стремительность, с какой возрастает отрицание Чуковским этого «новояза» — от «глуповат» до полного противопоставления его «разумной человеческой речи».)

И далее, приведя из Зощенко выразительные примеры, Чуковский продолжает:

«Вот до чего бестолково речевое мышление у новоявленных советских мещан: слова непослушны их мыслям и часто выражают суждения, прямо противоположные тем, какие им хочется выразить.

Вдобавок эти скудоумные, как явствует из зощенковских книг, прямо-таки обожают казенные, канцелярские фразы. <...>

<...> Канцелярит всегда вызывал негодование Зощенко.

Своими рассказами Зощенко сигнализировал нам, что нарождается целое поколение людей, для которых „обмывочный пункт“ куда милее, чем ванна, для которых лес — зеленый массив, шапка — головной убор, телега — гужевой транспорт и т. д. Их бедное мышление порабощено всеми этими казенными терминами.

Кроме канцелярита, новомещанская речь богата, по наблюдениям Зощенко, дурно понятыми иностранными словами... <...>

Алогизм, косноязычие, неуклюжесть, бессилие этого мещанского

жаргона сказывается также, по наблюдениям Зощенко, в idiotических повторах одного и того же словечка, завязшего в убогих мозгах.

Для того чтобы воссоздать это наречие, в сознании писателя должен постоянно присутствовать строго нормированный, правильный, образцовый язык. Только на фоне этой безукоризненной нормы могли выступить во всем диком уродстве те бесчисленные отклонения от нее, те синтаксические и словесные „монстры“, которыми изобилует речь зощенковских „уважаемых граждан“».

При всем блеске и общей справедливости анализа Чуковским самого *предмета*, здесь есть два положения, которые, полагаем, следует оспорить. Первое относится к приписываемым Зощенко «злорадству» (пусть и с эпитетом «веселое»), ненависти к целому слою людей, «негодование», а также к употребляемым Чуковским, но как бы соответствующим отношению самого Зощенко, изничтожительным характеристикам «новоявленных советских мещан». Но в том-то и дело, что ни ненависти, ни злорадства у Зощенко не было. И не могло быть. Как, скажем, и у Гоголя. Была пронизательная констатация, были горькая ирония, сатира, неудержимый смех, была грусть, и была, при всем неприятии изображаемого, доброта. Иначе не было бы феномена широчайшей популярности Зощенко. Здесь Чуковский наделяет Зощенко своим собственным отношением к «советским мещанам», стоим отвращением к ним и возмущением их низкими моральными, интеллектуальными, культурными качествами. А вот что писал самому Зощенко в этом плане Горький: «Данные сатирика у вас налицо, чувство иронии очень острое, и лирика сопровождает его крайне оригинально. Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого...»

Второе положение связано с самим «классовым» подходом к зощенковским персонажам, вернее, с некоторой преимуществом этого идеологического подхода у К. И. Чуковского даже в 1965 году, в конце «оттепели». В том же объемном очерке «Зощенко», подверстывая его к Маяковскому, он писал в главе «Уважаемые граждане»:

«Писателю до тошноты были ненавистны те бесчисленные хищники, деньголюбы, вещелюбы, стяжатели, которые, приспособившись к революционной действительности, мошеннически воспользовались ее светлыми лозунгами ради того, чтобы обеспечить себе процветание и полное право на бездушную черствость, на угнетение беззащитных и немощных.

<...> „Уважаемые граждане“ — страшная книга. Все взаимные отношения изображенных в этой книге людей основаны на бешеной

ненависти.

Клопиный быт. Клопиная мораль. Говорите этим людям о братской солидарности, о чувстве товарищества, о преодолении собственнических, темных инстинктов. Люди эти непоколебимо уверены, что все высокогуманные лозунги нужны лишь для внешнего употребления. <...>

Зощенко зорко подметил в самом начале своей литературной работы, что эти растленные люди, чуждые каких бы то ни было моральных устоев, превосходно усвоили благородную терминологию советской общественности и пользуются ею как надежным прикрытием для своих скотских вожделений и дел.

Их социальная мимикрия так велика, что они, мещане до мозга костей, то и дело заявляют себя яркими врагами мещанства.

<...> Вообще „Уважаемые граждане“ Зощенко по своему пафосу, по своей идейной направленности очень близки „Клопу“ Маяковского.

Критики, требовавшие, чтобы наша новая жизнь изображалась как некий Эдем, в который будто бы мгновенно превратилась вся многогрешная и нищая Русь, могли сколько угодно твердить о пасквильантстве писателя. Вдумчивые читатели хорошо понимали, что превращение вчерашнего раба в человека есть очень долгий процесс и что, обличая мещан, ловко приспособившихся к новой действительности, Зощенко тем самым выражал свое глубокое уважение к ней.

<...> Словом, из своего большого житейского опыта он вынес уверенность, что в современной ему русской действительности — два полюса, две диаметрально противоположные формации людей. На одном полюсе — люди, отказавшиеся от мещанских уютов, люди подвига, герои, борцы, готовые отдать свою жизнь ради того, чтобы народ стал счастливее, на другом — их антиподы, мещане, из психики которых вытравлено все человеческое. О первых он писал с чувством беспредельной любви, вторых неутомимо исхлестывал в своих бесчисленных и беспощадных сатирах».

Но послеоктябрьская российская действительность была, как известно, и сложнее, и грубее, и трагичнее этой приписываемой Чуковским Зощенко революционно-романтической «двухполюсной» общественной конструкции под знаменем непримиримой борьбы с «мещанством» — будь то «приспособленцы» из проклятого прошлого или уже советские «перерожденцы». И все, что писал Зощенко в 20-е годы, художественно отражая эту действительность с «ее светлыми лозунгами», никак не укладывалось в революционную схему «диаметрально противоположных формаций людей». Дело было в том, что и «люди, отказавшиеся от мещанских уютов», «люди подвига, герои, борцы», и «их антиподы,

мещане», «деньголюбы, вещелюбы, стяжатели» — те, которые стали активно проявляться в общественной жизни после Октября, все они так или иначе поднялись на ее поверхность в результате происшедшего переворота, заместив собой аннулированные классы и слои общества. И уже среди этого новообразованного социума опять и опять велись поиски «врагов». Причем потерпевшими часто оказывались сами «люди подвига, герои, борцы». (Вспомним, как в своем докладе «Чей писатель — Михаил Зощенко?» М. Ф. Чумандрин, доводя до абсурда идеологический постулат классовой борьбы в обществе, утверждал: «Просто читателя нет, есть наш, рабочий читатель, и есть читатель враждебный. Но Зощенко популярен и у нашего читателя, и у враждебного нам».)

Но, имея в виду очерк Чуковского, не позволим себе критиковать его из сегодняшнего дня. К. И. Чуковский сказал, наверное, в этом очерке о Зощенко все, что было возможно и нужно тогда сказать о нем — в тех обстоятельствах, когда над именем Зощенко и после его смерти продолжало устрашающе висеть постановление ЦК ВКП(б) 1946 года. И сказанное Чуковским было, естественно, направлено на то, чтобы оправдать Зощенко перед режимом, восстановить в максимально допустимой степени (и с помощью авторитета самого Чуковского) почетное место Зощенко в отечественной литературе. Эти старания направлялись, понятно, на то, чтобы дезавуировать «несправедливую» оценку. При этом Чуковский отлично знал, что вообще было «проходимо» в официальной советской печати, играл по установленным правилам. Однако и в этих рамках он писал то, что продолжал, видимо, считать правильным, — быть может, по инерции сохранившихся в душе интеллигентских идеалов своей молодости с верой в борьбу за народное счастье...

Вернемся, однако, к зощенковскому языку. В этом восхищавшем и потешавшем всех отражении действительности не виделось тогда процесса, названного Мандельштамом в его статье — кроме термина «онемение» — еще и «отлучением от слова», «отпадением от языка».

Но если процесс «онемения» народа может, по Мандельштаму, привести такую страну, как Россия, к «отпадению от истории, отлучению от царства исторической необходимости и преемственности» (что и произошло с нами в советское время), то для отдельных людей в их повседневной жизни «отпадение от языка» на своей же земле оказывается глубинным образом связанным с отпадением от нравственности, как бы даже стимулирует этот процесс и является его симптомом. Здесь, вероятно, срабатывает один из каналов или механизмов отпадения человека от самого себя, от своего нравственного ядра, и начинается его путь в «перекаати-

поле», к личностной стертости, а затем и к вседозволенности. Ибо «языковая всеядность» (выражение одного из современных литературоведов) накрепко соединяется с моральной всеядностью, с обезличенностью души, что и дает возможность человеку (самому или под влиянием других, не говоря уж о принуждении) совершать безнравственные поступки, преступления, участвовать в злодеяниях.

Очевидно, это закон человеческого естества: живой, природный и личностный язык присущ самостоятельным и добродетельным людям. Ущербность языка — сигнал об ущербности души.

И язык Зощенко, ярко отразивший пооктябрьский социальный разлом и выворот российского общества, указывал на эту опасную ущербность массы поднявшихся и потянувшихся к «новой жизни» людей. Одновременно язык в рассказах Зощенко отразил и процесс тотальной обработки людского сознания в советском обществе.

И только этим фантазмагорическим языком возможно было передать фантазмагорию утвердившейся действительности, которая его и породила.

Таким образом, для своего художественного отражения небывалой доселе советской действительности Зощенко применил — в органичном триединстве — созданную им, небывалую ранее в литературе конструкцию рассказа, так же небывалый «зощенковский язык» и тип подставного автора-сказчика.

Подобных «авторов» была у него целая череда, и все эти маски детально анализировались критиками и литературоведами. Но мы обратимся к самому Зощенко, к его уже цитировавшейся нами статье «О себе, о критиках и о своей работе» в изданной «Academia» книге о нем, к той части этой статьи, которая и сейчас представляется несколько загадочной, как бы даже зашифрованной:

«Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях.

Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям».

Вернувшись после Октябрьского переворота в Петроград из Архангельска, где он отринул и сватовство к дочке богатейшего рыботорговца, и возможность отъезда в Париж со своей француженкой, и вообще всю прежнюю жизнь, очутившись на табуретке сапожного подмастерья, предприняв свое трехлетнее «хождение в народ» и принявшись, наконец, за свои рассказы, было бы логично со временем сделаться и полноправным пролетарским писателем. В цитируемой статье Зощенко вроде бы признается в этом: «Дело в том, что я — пролетарский писатель». Но утверждение это одномоментное. Он тут же оговаривается, перечеркивает свое признание, — оказывается, он всего лишь «пародирует» да еще «воображаемого» (и одновременно «подлинного») пролетарского писателя, которого, однако, «не может существовать, по крайней мере, сейчас»... И настойчиво повторяет опять: «Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя».

Что это могло означать? Очевидно, понимание несбыточности своих идеальных надежд. И разрыва между ними и наставшей действительностью. И стремление дистанцироваться от всякого классового подхода вообще, в том числе и в литературе. Наконец, то чувство истинного художника, которое так откровенно, не зашифровывая, выразил с горькой удалью Сергей Есенин (ровесник Зощенко):

Приемлю все.  
Как есть все принимаю.  
Готов идти по выбитым следам.  
Отдам всю душу октябрю и маю,  
Но только лиры милой не отдам.

Однако за этим утверждением «Я только пародирую» у Зощенко, кроме литературного приема или даже общей литературной позиции, чувствуется что-то еще глубоко скрытое и личное. Естественно, талант пародиста, юмориста, сатирика был отпущен ему сполна. Но в том повороте, в каком все это сошлось в его творчестве в двадцатые годы, кроется, вероятно, и тот психологический поворот, перелом, который произошел с ним самим в результате Октября 1917 года, когда он столь решительно отказался от себя прежнего. И взявшись за писательство, он сразу же начал поиски того «автора», на которого постоянно стремился «записывать» свои рассказы и повести. То были и Синебрюхов, и Курочкин, и Коленкор, и другие эпизодические сказчики. А наивысшего успеха он

достиг, как известно, своим обобщенным типизированным сказчиком, в котором и через которого (вроде бы уже полностью отказавшись от самого себя) сумел отразить и время, и действительность, и симптоматику для этой действительности людей.

Но именно этот *отказ от себя* приводил в лучших произведениях Зощенко к наиболее полному выражению таланта и позиции самого автора — в таком растворении как раз и высвечивался кристалл его души.

Следуя за жизнью, за действительностью в выборе героев и тематики своих произведений, отойдя от своего дворянского, офицерского прошлого и от литературного продолжения этого прошлого в собственных сочинениях, Зощенко целенаправленно пошел по пути народного писателя. В то же время, наблюдая за новоявленной в общественной жизни массой людей, он не стал идеализировать этот «народ», а воздал ему должное своей сатирой. Однако он не мог встать в позу автора-ментора, изображающего и осуждающего людей со стороны, не мог оказаться в барской позиции над народом, каким бы ни представал тот перед его глазами. Так проявился истинный демократизм Зощенко. И так возникла глубинная предпосылка, потребность изобрести собственную, небывалую еще в литературе форму сатиры. Талант и человеческая доброта Зощенко, его демократизм блестяще выразились в этом литературном открытии, где он как бы отождествил себя, автора, с этими осмеиваемыми им людьми. И вот теперь-то, не отделяя себя от этого народа, он и получил самое полное право осмеивать его, подвергать своей беспощадной сатире. Здесь-то и обнаруживается настоящая, высшая авторская позиция. И этот подлинный автор, так старательно себя прячущий за обобщенным, типизированным сказчиком, искусно проецирует всю уродливую действительность на незримо, но незыблемо присутствующую у него систему истинных человеческих координат, чтобы этим своим методом сатирического отрицания постараться достичь положительного для людских душ результата.

Подобный подход к обличению действительности имеет глубокие корни. Вот выдержка из давнишней блестящей статьи известного кинорежиссера Г. Козинцева «Народное искусство Чарли Чаплина»:

«...только один персонаж „Короля Лира“ видит сквозь мнимое спокойствие государства зреющую чуму.

Этот персонаж — шут.

То, что не видят короли, полководцы, государственные деятели, видит шут. И он не только видит, он говорит о том, что видит. Он единственный человек, который может говорить правду. Он имеет право говорить, потому

что он говорит правду шуткой. На нем костюм шута».

Надев этот «костюм», эту маску комического персонажа на себя, Зощенко смог сказать о той «чуме», которую глубоко видел и чувствовал вокруг. Не его вина, что он не был услышан и понят. Глаза общества застилал тогда кумачовый цвет знамен, флагов, лозунгов, а уши забивала бравурная медь оркестров...

Воистину: нет пророка в своем отечестве. Но широко распространившееся поверхностное понимание его творчества дало возможность на протяжении двух десятилетий открытой, гласной жизни и зощенковским рассказам, и внешне благополучного бытия ему самому.

С этой же точки зрения — разлома и переворота России — взглянем и на тему интеллигенции в произведениях Зощенко 20-х годов.

Сказав о себе как о писателе, пародирующем и временно замещающем пролетарского писателя, Зощенко в своей статье продолжал:

«В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий (Карамзинский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндранат Тагора, и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план...»

Здесь, понятно, имелись в виду «Сентиментальные повести», к которым затем примкнула и сравнительно крупная повесть «Мишель Синягин. (Воспоминания о М. П. Синягине)», написанная в 1930 году. И как раз в этой повести «автор», не названный по фамилии, но опять-таки пародируемый, теперь уже интеллигентский писатель, пространно рассуждает об интеллигенции:

«В те годы было еще порядочное количество людей высокообразованных и интеллигентных, с тонкой душевной организацией и нежной любовью к красоте и к разным изобразительным искусствам.

Надо прямо сказать, что в нашей стране всегда была исключительная интеллигентская прослойка, к которой охотно прислушивалась вся Европа и даже весь мир.

И верно, это были очень тонкие ценители искусства и балета и авторы многих замечательных произведений и вдохновители многих отличных дел и великих учений.

Это не были спецы с точки зрения нашего понимания.

Это были просто интеллигентные, возвышенные люди. Многие из них имели нежные души. А некоторые просто даже плакали при виде лишнего

цветка на клумбе или прыгающего на навозной куче воробушка.

Дело прошлое, но, конечно, надо сказать, что в этом была даже некоторая какая-то такая ненормальность. И такой пышный расцвет безусловно был за счет чего-то такого другого.

Автор не владеет искусством диалектики и незнаком с разными научными теориями и течениями, так что не берется в этом смысле отыскивать причины и следствия. Но, грубо рассуждая, можно, конечно, кое до чего докопаться.

Если, предположим, в одной семье три сына. И если, предположим, одного сына обучать, кормить бутербродами с маслом, давать какао, мыть ежедневно в ванне и бриолином голову причесывать, а другим братьям давать пустяки и урезывать их во всех ихних потребностях, то первый сын очень свободно может далеко шагнуть и в своем образовании, и в своих душевных качествах. Он и стишки начнет загибать, и перед воробушками умиляться, и говорить о разных возвышенных предметах. <...>

Всеми этими разговорами автор, конечно, нисколько не хочет унижить бывшую интеллигентскую прослойку, о которой шла речь. Нет, тут просто выяснить хочется, как и чего, и на чьей совести камень лежит.

А прослойка, надо сознаться, была просто хороша, ничего против не скажешь».

Отметим сперва мягкий, при всей ироничности, тон этого рассуждения, никак не схожий с советской стилистикой классово-борьбы, ненависти, отрицания. Рассуждение ведется лишь в рамках категории совести и признания исторической данности прошлого. Но объект зощенковской сатиры уже иной: теперь это дореволюционная интеллигенция и ее мировоззрение. (И поскольку Зоценко говорит здесь вообще о «бывшей интеллигентской прослойке» в России, которая, по его словам, как обласканный сын в семье, получив преимущественную возможность образования и возвышенного художественного воспитания, оторвалась от своих «братьев» по обществу, следует уточнить, что под предмет его рассуждения подпадает лишь одна, пусть и немалая, часть интеллигенции. А была и другая часть, которую никак нельзя обвинить в общественном эгоизме. Напротив. Именно эти интеллигенты «шли в народ», «сеяли разумное, доброе, вечное», они строили школы и больницы, учили и лечили крестьян, сами не чуждались физического труда, «опрощались», они спасали в годы недорода голодающих, открывая бесплатные столовые, боролись с эпидемиями, жили по законам добра, труда, милосердия, любви к ближнему. И именно это, единственное в своем роде явление, возникшее в России во второй половине XIX века, получило

известное название «русская интеллигенция», связываемое прежде всего с нравственными критериями человеческого поведения.)

Второй момент: и в «Сентиментальных повестях», и в «Мишеле Синягине» рассказывается о людях, принадлежавших — по роду своих занятий — к интеллигентскому слою общества, но которые не являлись какими-либо крупными фигурами в своей прежней жизни. В «Мишеле Синягине» этот подход возведен в принцип: «Не все же писать биографии и мемуары о замечательных и великих людях, об их поучительной жизни и об их гениальных мыслях и достижениях. Кому-нибудь надо откликнуться и на переживания других, скажем, более средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни». И далее объявляется: «Автор напишет повесть, по его мнению, даже весьма необходимую повесть, так сказать подводящую итоги прошлой жизни, — повесть про одного незначительного поэта, который жил в наше время».

Обратим внимание на эту связку: повесть должна подвести «итоги прошлой жизни», а в герои ее взят поэт. Продуктивная связка для разработки интеллигентской темы. Но поэт был взят «малоизвестный, небольшой», «незначительный», так что, казалось, Зоценко остается верен своему давнему, блестяще воплощенному в рассказах и только что вновь подтвержденному подходу к выбору персонажей: «Не вожди, безусловно».

Однако как раз в «Воспоминаниях о М. П. Синягине» преломленно возникает образ одного из «вождей» русской декадентской интеллигенции. Читатели этой повести и, разумеется, в первую очередь критики и литературоведы тотчас увидели в целом ряде фактов биографии Мишеля Синягина явное сходство с биографией Александра Блока. И в книге Цезаря Вольпе о Зоценко есть подглавка «О сатире на „Александра Блока“», где убедительно говорится об этой аналогии и отмечается, что сочинения Синягина — прямая пародия на лирику замечательного поэта нашего века. Приводятся для примера и стихи Синягина, а также два текста одного стихотворения Блока — подлинный и, второй, с легкой пародийной правкой Зоценко, выдаваемый им со столь подчеркнутым намеком за стихотворение Синягина. Но дело, конечно, не в данных подробностях.

Вот выводы этого литературоведа по всей проблематике повести, как она ему виделась:

«Памфлет Зоценко направлен не против Блока, а против декадентской культуры дореволюционной русской интеллигенции».

«„Мишель Синягин“ представляет собой памфлет на идеологию этой „прослойки“. Героем этого произведения является не Блок, а типический представитель декадентской духовной культуры, один из представителей

эстетической, мелкобуржуазной по своему существу и часто дворянской по своему социальному происхождению интеллигенции, представитель поколения Синягиных, разнообразно одаренных, но всех обанкротившихся пред лицом жизни».

«И Зоценко раскрывает мещанскую основу идеологии Синягиных. Революция принесла этим людям гибель, но гибель была предназначена им вследствие их внутренней ничтожности, внутренней гнилости».

И далее, сближая в этой повести «автора-мемуариста» и самого Зоценко, Вольпе продолжает:

«Мемуаристу враждебна возвышенная трактовка темы гибели и отчаяния, которая отличает творчество Блока. Эту свою тему Блок раскрывает в своих произведениях как исповедь, как тему его собственной судьбы. Биография Блока была тем материалом, на котором Блок обосновал трагическую трактовку судьбы своего поколения, свое предчувствие катастрофы. Мемуарист хочет показать, что эта обреченность поколения имеет не мистико-символические основания, но реальную социальную основу. <...> Именно поэтому судьба Синягина проецирована на биографию Блока, ибо для переосмысления блоковской философии гибели, для реалистического ответа на эту символическую философию Зоценко нужно было дать свою интерпретацию материала блоковского творчества. <...>

<...>...и все яснее выступает в повести сентиментальная ее тема — грустные итоги, в которых показана беспомощность декадентского интеллигента перед лицом жизни и жалкая судьба поколения, обманутого эстетической философией декадентских гуманистов начала XX века».

«Книга о Зоценко» была закончена Цезарем Вольпе в 1940 году. И общая его оценка декадентского периода русской культуры, вполне созвучная с оценкой Зоценко, соответствовала утвердившейся трактовке. (Но об Александре Блоке он говорит как о «замечательном поэте нашего века».) Впоследствии этот же дооктябрьский период нарекли Серебряным веком — прежде всего в литературе и искусстве. Воскресли имена Мережковского, Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Ходасевича, Волошина... Однако, имея в виду, что история русской литературы неотделима от истории культуры, религии, науки, новейший исследователь этого периода ученый-психолог Александр Эткинд отмечает в предисловии к своей книге «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века»: «Серебряный век породил великий взлет русской культуры, и он же готовил трагическое её падение. От романтизации Серебряного века нужно перейти к его критической истории: разглядеть

переходы от забытых странностей русского подполья к блестящему взрыву начала века и отсюда — ко всему ужасному или бесцветному, что происходило в этом столетии в России. Непросто смириться с мыслью, что одна и та же эпоха, одни и те же идеи, а часто одни и те же люди ответственны и за удивительные достижения, и за столь же невероятные ошибки человеческого духа».

Таким образом, талант и художественная интуиция Зощенко не подвели его и при раскрытии интеллигентской темы. Если сатирические рассказы Зощенко, независимо от его идейных установок, отразили в своем художественном «зеркале» результаты совершившегося Октябрьского переворота, то «Сентиментальные повести» и, главное, «Мишель Синягин» давали косвенный ответ на подспудный вопрос — *почему* этот переворот стал возможен. Потому что — в ряду самых решающих факторов, повлекших Россию в пропасть, — так называемый просвещенный слой российского общества (что, повторим, не тождественно высоконравственному явлению «русская интеллигенция»), при всей его образованности, культуре, предчувствии и осознании надвигающейся катастрофы, оказался исторически незрячим, неспособным противостоять отрицателям и организованным ниспровергателям, ибо нес в себе сам заряд разрушительных идей, оказался разделенным на множество политических партий, раздробленным на салонные группки, погруженным в значительной части в фатализм, мистику, комфорт, в тщету удовольствий плотской жизни и нищету, неистинность духа...

# КОНЕЦ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

## 1. НЕВРОТИЧЕСКИЙ НЕДУГ

Одним из главных, бесценнейшим и подробным источником для достоверной биографии Зощенко является «Дневник» К. Чуковского, который он с истовостью правдивого бытописателя своего времени вел почти 70 лет. Михаил Зощенко в этом «Дневнике» — в числе многократно упоминаемых лиц, более того — среди тех избранных, чья творческая и личная жизнь прослеживается Чуковским особенно пристально (наряду с Блоком, Горьким, Маяковским, Гумилевым, Замятиным, Ахматовой...). Прослеживается, как имеющая исключительно важное значение для самой истории литературы. Причем Зощенко попал в это «летописное» поле зрения Чуковского еще в начале своего творческого пути — у Корнея Ивановича, помимо всех его литературных талантов, был, безусловно, дар исторического предчувствия (что и подтверждалось потом судьбами его избранников). И — дар общения, располагающего к откровенности.

«Дневник», не предназначавшийся Чуковским для печати, дает точные, словно стенограмма, записи встреч и бесед с Зощенко в разные годы их общения и объективно зафиксировал существенные факты, не упоминаемые в многочисленных, опубликованных впоследствии воспоминаниях о нем, в том числе — его приступы невротического характера, мучившие Зощенко в годы феноменального писательского успеха.

Обратимся к этим записям:

«25 января [1926]

<...> Приехал сюда Мейерх. повидаться с Ленингр. писателями, дабы заказать им пьесы. Заказал Федину и Слонимскому, но с Зощенкой у него дело не вышло. Зощенко (которого Мейерхольд как писателя очень любит) отказался прийти к Мейерхольду и вообще не пожелал с ним знакомиться, сославшись на болезненное свое состояние.

Это меня так взволновало, что я в тот же день отправился к Зощенко. Действительно, его дела не слишком хороши.

Он живет в „Доме Искусств“ одиноко, замкнуто, насупленно. Жена его живет отдельно. Он уже несколько дней не был у нее. Готовит он себе сам на керосинке, убирает свою комнату сам и в страшной ипохондрии смотрит на все существующее. „Ну на что мне моя ‘слава’, — говорит он. — Только

мешает! Звонят по телефону, пишут письма! К чему? На письма надо отвечать, а это такая тоска!“ Едет на днях в провинцию, в Москву, в Киев, в Одессу (кажется) читать свои рассказы, — с ним вместе либо Лариса Рейснер, либо Сейфуллина, — и это ему кажется страданием. Я предложил ему поселиться вместе зимой в Сестрорецком курорте, он горячо схватился за это предложение».

Упомянутые Чуковским поездки Зоценко отменил — послал телеграммы с отказом от выступлений. Не появился он затем и 3 февраля в Доме печати на вечере, посвященном пятилетию «Серапионовых братьев». В письме Слонимскому из Детского Села с просьбой передать товарищам свои извинения объяснил свое отсутствие так: «<...>...просто ужасно не хотелось и не хочется выступать. Ты, надеюсь, меня понимаешь. Так пуцдай „серапионы“ меня простят. Целую тебя. Твой Зоценко. 6.02.26». (М. Слонимский в своих воспоминаниях пишет об этом случае только как о примере замечательной скромности Зоценко и отсутствии у него тщеславия: «А ведь его ждали овации. Он уклонился от триумфа».) А остаток той зимы и начало весны — два месяца — он, как сообщал в одном деловом письме, «пролежал» в санатории, стараясь «поправиться окончательно».

Еще одна запись Чуковского (5 августа 1927 года):

«<...> Два раза б[ыл] у меня Зоценко. Поздоровел, стал красавец, обнаружились черные брови (хохлацкие) — и на всем лице спокойствие, словно он узнал какую-нб. великую истину. Эту истину он узнал из книги J. Marcinovski „Борьба за здоровые нервы“, которую привез мне из города. „Человек не должен бороться с болезнью, потому что эта борьба и вызывает болезнь. Нужно быть идеалистом, отказаться от честолюбивых желаний, подняться душою над дрязгами, и болезнь пройдет сама собою! — вкрадчиво и сладковато проповедует он. — Я все это на себе испытал, и теперь мне стало хорошо“. И он принужденно усмехается. Но из дальнейшего выясняется, что люди ему по-прежнему противны, что весь окружающий быт вызывает в нем по-прежнему гадливость, что он ограничил весь круг своих близких тремя людьми... <...> что по воскресеньям он уезжает из Сестрорецка в город, чтобы не видеть толпы. По поводу нынешней прессы: кто бы мог подумать, что на свете столько нечестных людей! Каждый сотрудник „Кр[асной] Г[азеты]“ с дрянью в душе — даже Радлов (который теперь ред. „Бегемота“). О Федине: „Рабиндранат Тагор. Он узнал, что я так называю его, — и страшно обиделся“».

<...> О себе: «Был я в Сестрорецком Курорте. Обступили меня.

Смотрят как на чудо. Но почему? — „вот человек, который получает 500 рублей“.

Стал я читать книгу, которую он привез мне из города — трузмы в стиле Christian Science. Но все они подчеркнуты Зоценкой — и на полях сочувственные записи. Подчеркиваются такие сентенции: „Путь к исцелению лежит в нас самих, в нашем личном поведении. Наша судьба в наших собственных руках“. А записи такие: „И литература должна быть прекрасна!“».

Как видно из этой записи Чуковского, одним из главных раздражителей для Зоценко были людские изъяны — нечестность, зависть, «дрянь в душе». Он уверен, что «нужно быть идеалистом». И хотя речь шла о данном моменте, но это требование к себе отвечало природным свойствам его души, проявлявшимся с детства.

Затем, 15 сентября, Чуковский заносит в «Дневник» такой портрет Зоценко:

«<...> Был у меня вчера Зоценко. Кожаный желтый шоферской картуз, легкий дождевой плащ. Изящество и спокойствие. „Я на новой квартире, и мне не мешают спать трамваи. В Доме Искусств всю ночь — трамвайный гуд“. Заплатил тысячу въездных. На даче его обокрали. Покуда он с женой ездил смотреть квартиру, у него похитили брюки (те, серые!), костюм и пр.

Выпускает в ЗИФе новую книгу „Над кем смеетесь“.

„Считается почему-то, что я не смеюсь ни над крестьянами, ни над рабочими, ни над совслужащими — что есть еще какое-то сословие зоценковское“.

Принес мне „Воспомин. Фета“. Очень ему понравились там письма Льва Толстого. Просил дать ему Шенрока „Письма Гоголя“».

Но вскоре у Зоценко — следующее тягостное колебание в настроении, подробно описанное Чуковским (26 ноября 1927 года):

«<...> Увидел третьего дня вечером на Невском какого-то человека, который стоял у окна винного склада и печально изучал стоящие там бутылки. Человек показался мне знакомым. Я всмотрелся — Зоценко. Чудесно одет, лицо молодое, красивое, немного надменное. Я сказал ему: — Недавно я думал о вас, что вы — самый счастливый человек в СССР.

У вас молодость, слава, талант, красота — и деньги. Все 150 000 000 остального населения страны должны жадно завидовать вам.

Он сказал понуро: — А у меня такая тоска, что я уже третью неделю не прикасаюсь к перу. Лежу в постели и читаю письма Гоголя, — и никого из людей видеть не могу. — Позвольте! — крикнул я. — Не вы ли учили меня, что нужно жить, „как люди“, не чуждаясь людей, не вы ли только что

завели квартиру, радио, не вы ли заявляли, как хорошо проснуться спозаранку, делать гимнастику, а потом сесть за стол и писать очаровательные вещи — „Записки офицера?“ и проч.?!

— Да, у меня есть отличных семь или восемь сюжетов, — но я к ним уже давно не приступаю. А люди... я убегаю от них, и если они придут ко мне в гости, я сейчас же надеваю пальто и ухожу... У нас так условлено с женою: чуть придет человек, она входит и говорит: Миша, не забудь, что ты должен уйти...

— Значит, вы всех ненавидите? Не можете вынести ни одного?

— Нет, одного могу... Мишу Слонимского... Да и то лишь тогда, если я у него в гостях, а не он у меня...

Погода стояла снежная, мягкая. Он проводил меня в „Радугу“, ждал, когда я кончу там дела, и мы пошли вместе домой. Вина он так и не купил. По дороге домой он говорил, что он непременно победит, сорганизует свое здоровье, что он только на минуту сорвался, и от его бодрости мне было жутко. Он задал мне вопрос: должен ли писатель быть добрым? И мы стали разбирать: Толстой и Достоевский были злые, Чехов на[та]скивал себя на доброту, Гоголь — бессердечнейший эгоцентрист, один добрый человек — Короленко, но зато он и прогадал как поэт. „Нет, художнику доброта не годится. Художник должен [быть] равнодушен ко всем!“ — рассуждал Зощенко, и видно, что этот вопрос (его) страшно интересует. Он вообще ощущает себя каким-то инструментом, который хочет наилучше использовать. Он видит в себе машину для производства плохих или хороших книг и принимает все меры, чтобы повысить качество продукции».

Потом — снова подъем, отмеченный Чуковским 3 января 1928 года:

«<...>На Литейном я встретил Зощенку. Он только что прочитал моих „Подруг поэта“ — и сказал:

— Я опять вижу, что вы хороший писатель.

Несмотря на обидную форму этого комплимента, я сердечно обрадовался.

Он „опять воспрянул“, „взял себя в руки“, — „все бегемотные мелочишки я пишу прямо набело, для тренировки“, „теперь в ближайших номерах у меня будет выведен Гаврюшка, новый герой, — увидите, выйдет очень смешно“».

Однако перемеженье светлых и темных полос в его душевном состоянии продолжалось. Причем нередко ипохондрия одолевала Зощенко настолько, что он был не в силах работать. И приходилось отказываться от уже договоренного сотрудничества. В этих случаях всегда проявлялась его

крайняя щепетильность. Так, осенью 1928 года у него вновь началось недомогание, напрочь выбившее его из рабочей колеи. Но перед тем ему было сделано выгодное предложение — работать для журнала «Смехач» на регулярной основе, быть у них постоянным автором. И чтобы прочнее закрепить эту связь Зощенко с журналом, ему назначили там ежемесячные денежные выплаты независимо от поступления материалов. Приглашение прийти за деньгами повергло его в смятение. Зощенко тотчас послал одному из ведущих работников журнала следующее письмо:

«<...> К сожалению, я никак не могу взять мои деньги. Я ничего еще не сделал для „Смехача“ и в скором времени навряд ли что сделаю. Совсем неожиданно мое здоровье до того ухудшилось, что я валяюсь в кровати и ничего не могу делать. Работа не идет на ум, хандрю и проклиная свое жалкое существование. Я понимаю — особой болезни у меня нет, но то душевное состояние, в котором я сейчас, — буквально не позволяет приняться мне за работу. <...> Сейчас меня едва хватает сочинить две-три жалкие мелочишки для „Пушки“. И то я это делаю, чтоб не порвать всякую связь с работой. <...> Еще месяц назад я думал, что я окончательно поправился, и вот опять. <...> И я очень прошу Вас, войдите в мое положение и аннулируйте (временно) наше соглашение. Одним словом — покорнейше прошу Вас, — снимите меня с жалованья до тех пор, покуда я сколько-нибудь не приду в нормальное состояние и не начну работать. Получать же деньги просто так мне морально тяжело и на это я, конечно, никогда не пойду. И если „Смехач“ из вежливости и предлагает мне получать (как больному), то я *ни в коем случае* не соглашусь. <...> А пока оплакиваю свои молодые годы, когда легко, и весело, и просто было работать и когда было много бодрости и любопытства к людям. Сейчас же мне только скучно, и, кажется, в этом вся моя болезнь. <...> Но все же надеюсь на лучшие времена» (11 октября 1928 года).

Как видим, Зощенко не скрывал свою невротическую болезнь — широко упоминал об этом в письмах, говорил со знакомыми. К. Чуковский описал в «Дневнике» поразительный случай, происшедший однажды с Зощенко в дни его ипохондрии. Произошло это во время приезда в Ленинград Михаила Кольцова и было записано Чуковским 2 ноября 1929 года:

«<...> Вдруг телефонный звонок. Настойчивый голос Михаила Кольцова:

— Хотите посмеяться? Бросьте все и приезжайте ко мне в „Европейскую“. Ручаюсь: нахохочетесь всласть.

Я бегу что есть духу в гостиницу — сквозь мокрые вихри метели — и,

чуть только вхожу к Михаилу Ефимовичу в большую теплую и светлую комнату, чувствую уже на пороге, что сегодня мне и вправду обеспечена веселая жизнь: на диване и на креслах сидят первейшие юмористы страны — Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров. И тут же Кольцов, их достойный собрат.

Он, как всегда, возбужден. Шагает на высоких каблучках по ковру от двери к окну и обратно. <...> Шумно приветствует запоздавшего Леонида Утесова и, потирая руки (его излюбленный жест), приступает к организации „веселого вечера“. Но ничего не происходит. Все молчат. <...>

Я встречался с Ильфом и Петровым в Москве. <...> Там они каждую свободную минуту напропалую резвились, каламбурили, остряли без удержу. <...> А теперь они оба нахохлились над стаканами остывшего чая и сумрачно глядят на угрюмого Зощенко, который сидит в уголке и демонстративно молчит, как тот, кто, страдая зубами, дал себе заранее слово во что бы то ни стало не стонать и не хныкать, а дострадать до конца. Он пришел на этот праздничный вечер такой нахмуренный, кладбищенски мрачный, что впечатлительные Ильф и Петров сразу как-то поблекли и сникли. <...>

Чтобы хоть чем-нибудь отвлечь Михаила Михайловича от его горестных мыслей, я кладу перед ним „Чукоккалу“, которая нередко смешила его. Он даже позаимствовал из нее несколько строк для своего известного рассказа „Дрова“. Но теперь он оцепенело смотрит на нее, словно не понимая, откуда она взялась на столе. И только перед самым уходом набрасывает в ней грустную запись:

„Был. Промолчал 4 часа. Несколько оживился, когда предложил Кольцову книжку в „Огонек“. Согласился. Ну что ж, давайте, говорит. М. Зощенко“.

„Вечер смеха“ оказался самым скучным и томительным вечером, какой я когда-либо проводил в своей жизни».

При всей очевидности того, что Зощенко страдал невротическим недугом, возникает все-таки вопрос о внешних импульсах, от которых его болезнь явно усиливалась. Это были, можно полагать, импульсы оценочного, истолковательного характера, шедшие вразрез с его собственными понятиями о себе и своем творчестве. Ранее уже говорилось о том, как он реагировал на сравнения его с Аверченко и Горбуновым, как серьезно относился сам к своей писательской работе. Недаром он всегда читал свои рассказы без малейшей улыбки, нисколько не стараясь во что бы то ни стало рассмешить, развеселить слушателей. И наиболее острую свою книгу откровенно назвал «Над кем смеетесь?!». Маска юмориста,

«смехача», «шута» была лишь формой подачи его глубоко сатирических рассказов, многие из которых являлись шедеврами этого жанра. Но все его существо протестовало против напяливания этой маски на него самого. Такое отождествление вызывало у него решительное неприятие. И на «вечер смеха», задуманный Кольцовым, он пришел, внутренне сопротивляясь predeterminedной ему — как и всем другим приглашенным — роли весельчака, остроумца, смехача. Что и отметил зоркий Чуковский: «Он пришел на этот праздничный вечер такой нахмуренный, кладбищенски мрачный. <...>». Его ипохондрия усилилась, должно быть, от неприемлемого внешнего импульса, что и определило такую устойчивую мрачность: «Промолчал 4 часа». В такой-то компании! И не считаясь нисколько с тем, что напрочь испортил вечер всем этим знаменитым (как и он сам) людям.

## 2. ПРЕСС ВРЕМЕНИ

Из «Дневника» К. Чуковского (запись 1927 года, сделана в Сестрорецке, на берегу Финского залива):

«6 августа. Суббота. С утра пришел Зоценко. Принес три свои книжки: „О чем пел соловей“, „Нервные люди“, „Уважаемые граждане“. <...> Ему, очевидно, хотелось посидеть, поговорить о своих вещах, но я торопился к Луначарскому, и мы пошли вместе. Он очень бранил современность, но потом мы оба пришли к заключению, что с русским человеком иначе нельзя, что-ничего лучшего мы и придумать не можем и что виноваты во всем не коммунисты, а те русские человечки, которых они хотят переделать. Погода прекрасная, я в белом костюме, Зоценко в туфлях на босу ногу, еле протискались в парк (вход 40 копеек) и прямо в ресторан, чрез который — проход к Луначарскому. Зоценко долго отказывался, не хотел идти, но я видел, что он просто робеет, и уговорил его пойти со мной. <...>

Войдя в ресторан, мы сразу увидели Луначарского. Он сидел за столом и пил зельтерскую. Я познакомил его с Зоценкой, и пошли к нему в номер, он впереди, не оглядываясь. Вошли в комнату. <...>

Тут же он подписал бумажку о разрешении мне и Зоценко ездить по взморью под парусом и заявил, что сейчас идет играть с секретарем на биллиарде.

<...>...мы откланялись. <...>

Тут Зоценко поведал мне, что у него, у Зоц., арестован брат его жены

— по обвинению в шпионстве. А все его шпионство заключалось будто бы в том, что у него переночевал однажды один знакомый, который потом оказался как будто шпионом. Брата сослали в Кемь. Хорошо бы похлопотать о молодом человеке: ему всего 20 лет. Очень бы обрадовалась теща.

— Отчего же вы не хлопочете?

— Не умею.

— Вздор! Напишите бумажку, пошлите к Комарову или к Кирову.

— Хорошо... непременно напишу.

Потом оказалось, что для Зоценки это не так-то просто. — Вот я три дня буду думать, буду мучиться, что надо написать эту бумагу... Взвалил я на себя тяжесть... Уж у меня такой невозможный характер.

— А вы бы вспомнили, что говорит Марциновский.

— А ну его к черту, Марциновского.

И он пошел ко мне, мы сели под деревом, и [он] стал читать свои любимые рассказы: „Монастырь“, „Матреницу“, „Исторический рассказ“, „Дрова“.

И жаловался на издателей: „ЗИФ“ за „Уважаемых граждан“ платит ему 50 % гонорара, „Пролетарий“ его и совсем надул, только и зарабатываешь, чтоб иметь возможность работать.

Зоценко очень осторожен — я бы сказал: боязлив. Дней 10 назад я с детьми ездил по морю под парусом. Это было упоительно. Парус сочинил... <...> очень ловкий механик и техник. Мы наслаждались безмерно, но когда мы причалили к берегу, оказалось, что паруса запрещены береговой охраной. Вот я и написал бумагу от лица Зоценко и своего, прося береговую охрану разрешить нам кататься под парусом. Луначарский подписал эту бумагу и удостоверил, что мы вполне благонадежные люди. Но Зоценко погрузился в раздумье, испугался, просит, чтобы я зачеркнул его имя, боится „как бы чего не вышло“, — совсем расстроился от этой бумажки. <...>

Неделю тому назад он рассказал мне, как он хорош с чекистом Аграновым. „Я познакомился с ним в Москве, и он так расположился ко мне, что, приехав в Питер, сам позвонил, не нужно ли мне чего“. Я сказал Зоценке: „Вот и похлопочите... <...>“. Он сразу стал говорить, что Агранова он знает мало, что Агранов вряд ли что сделает и проч. и проч. и проч. И на лице его изобразился испуг». (Упомянутый в их разговоре Я. С. Агранов был тогда заведующим секретно-политическим отделом ОГПУ и специализировался на работе с творческой интеллигенцией; затем, в 1934 году, стал заместителем наркома внутренних дел Г. Г. Ягоды, и в 1938 году

был вместе с ним и другими работниками «органов» расстрелян.)

Эта запись сделана за десять лет до той пресловутой *даты*, которая стала символом сталинских массовых репрессий. А тогда, в 1927 году, ссылали по большей части в «подстоличную Сибирь», в карельские Кемь, Кандалакшу и в главный тамошний «лагерь особого назначения» на беломорских Соловках — «СЛОН». Сравнительно с грянувшими вскоре на восток потоками тридцатых годов то были еще людские ручьи и речки, быстро слившиеся, однако, в этой части ГУЛАГа в Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, строившийся тысячами заключенных и воспетый в особом фолианте целой артелью советских писателей во главе с Горьким, среди которых был и Михаил Зощенко. Та знаменательная книга вышла в свет в 1934 году.

Но пока следует понять состояние Зощенко в 1927 году, причины его столь осторожного, боязливого поведения в обиходной жизни, зафиксированного в «Дневнике» Чуковского со всей нелицеприятностью прирожденного наблюдателя-летописца, неустанно вбиравшего в себя события и характеры известных людей своего времени.

Казалось бы, трусость никак несовместима с его натурой. Это он доказал и на фронте, и в литературе. Только что вышли в свет как раз те его три книги — «Уважаемые граждане», «Нервные люди», «О чем пел соловей», — в которых он (воспользуемся известным выражением его же собственного персонажа) «развернул свою идеологию в полном объеме». Что же делало его совершенно иным человеком в тех обстоятельствах, о которых сообщает Чуковский? Конечно, Зощенко был деликатен, стеснителен и особенно неумел в отношениях со всякими должностными, начальственными лицами. В том же августе, в конце, Чуковский записал, как они с Зощенко побывали в издательстве «Academia», где ему надо было взять письма Блока и где Зощенко показали готовящуюся о нем книгу со статьями видных авторов и его собственным вступлением:

«В „Academia“ ему сказали, что еще одну статью о нем пишет Замятин. Он все время молчал, накупившись.

— Какой вы счастливый! — сказал он, когда мы вышли. — Как вы смело с ними со всеми разговариваете».

Робел Зощенко и пойти к Луначарскому, наркому просвещения и писателю, хотя сам находился уже в зените своей писательской славы. Воистину, наши недостатки есть продолжение достоинств. А Чуковский мог зайти к Луначарскому в номер босиком — дело курортное, оба литераторы, люди демократичные...

Но ведь еще в 1922 году в той разудалой «антиидеологической» статье

в «Литературных записках», которую так изничтожающе использует против него главный партийный идеолог Жданов четверть века спустя, Зощенко, будучи еще только начинающим, с веселым сарказмом заявлял: «Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского». Не побоялся поддеть наркома и тем бросить добавочный камушек во власть. И ныне для готовящейся в «Academia» книги о нем написал такое вступление, которое, как отметил Чуковский в своем «Дневнике», «мне не очень понравилось — как-то очень задорно, и хотя по существу верно, но может вызвать ненужные ему неприятности». Выходит, литературная смелость отделялась у него от повседневного поведения? Или, может быть, его осторожность, боязливость, робость во взаимоотношениях с окружающей действительностью как раз и были призваны — и он это интуитивно чувствовал — оградить свой письменный стол, защитить, спасти его смелое слово в литературе, не давая никому лишней зацепки, повода для обвинения и расправы с ним на бытовом уровне? Наверное. Ведь как просто могли связать в ГПУ «шпионство» брата его жены с намерением самого Зощенко выходить на лодке с помощью паруса подальше в море...

Но, видимо, он чувствовал уже всю бесполезность противодействия этой реальности. Потому и литературная смелость тоже стала давать у него в это время задний ход. Как только Чуковский высказал ему свое мнение о вступительной статье, Зощенко тут же приделал к ней «Предупреждение», в котором говорил о случайности ее появления, о ее спорности, о том, что «и сам сейчас не совсем согласен с ней», и просил, «чтобы читатель более терпимо отнесся к этой моей случайной статье». Оставляя статью в неприкосновенности и тем самым настаивая на ней, он наивно заметал следы, заранее оправдывался, подстилал соломку...

Такое замешательство имело, вероятно, еще причину — усилившийся у него внутренний разлад. Кому и чему было противодействовать, от кого, что и как защищать, ограждать, коли он сам провозгласил еще в 1922 году свое согласие «большевичить», а сейчас, в 1927-м, «очень браня современность» в доверительном разговоре с Чуковским, вместе с ним же приходил к такому умозаключению, «что с русским человеком иначе нельзя, что ничего лучшего мы и придумать не можем и что виноваты во всем не коммунисты, а те русские человечки, которых они хотят переделать»?! Опасная коллизия: ум с сердцем не в ладу. И разлад этот угнетает тем сильнее, чем совестливее человек и чем он талантливее.

### **3. ТЯГА К ОРДИНАРНОСТИ**

Из «Дневника» К. Чуковского (запись 23 августа 1927 года):

«<...> Одно мое в эти дни утешение — Зоценко, который часто приходит ко мне на целые дни. Он очень волнуется своей книгой „О чем пел соловей“, его возмущает рецензия, напечатанная каким-то идиотом в „Известиях“, где „Соловей“ считается мелкобуржуазным воспеванием мелкого быта, — и в ответ на эту рецензию он написал для 2-го изд. „Соловья“ уморительное примечание к предисловию — о том, что автор этой книги Коленкоров один из его персонажей. Судьба „Соловья“ очень волнует его, и он очень обрадовался, когда я сказал ему, что воспринимаю эту книгу как стихи, что то смешение стилей, которое там так виртуозно совершенно, не мешает мне ощущать в этой книге высокую библейскую лирику. На других писателей (за исключением Всеволода Иванова) он смотрит с презрением. Проходя мимо дома, где живет Федин, он сказал: „Доску бы сюда: здесь жил Федин“. О Сейфуллиной: „Злая и глупая баба“. О Замятине: „Очень плохой“. Поразительно, что вид у него сегодня староватый, он как будто постарел лет на десять — по его словам, это оттого, что он опять поддался сидящему в нем дьяволу. Дьявол этот — в нежелании жить, в тоскливом отъединении от всех людей, в отсутствии сильных желаний и пр. „Я, — говорит он, — почти ничего не хочу. Если бы, например, я захотел уехать за границу, побывать в Берлине, Париже, я через неделю был бы там, но я так ясно воображаю себе, как это я сижу в номере гостиницы и как вся заграница мне осточертела, что я не двигаюсь с места. Нынче летом я хотел поехать в Батум, сел на пароход, но доехал до Туапсе (кажется) и со скукой повернул назад. Эта тошнота не дает мне жить и, главное, писать. Я должен написать другую книгу, не такую, как „Сентиментальные] рассказы“, жизнерадостную, полную любви к человеку, для этого я должен раньше всего переделать себя. Я должен стать, как человек: как другие люди. Для этого я, например, играю на бегах — и волнуюсь, и у меня выходит „совсем как настоящее“, как будто я и вправду волнуюсь, и только иногда я с отчаянием вижу, что это подделка. Я изучил биографию Гоголя и вижу, на чем свихнулся Гоголь, прочитал много медицинских книг и понимаю, как мне поступать, чтобы сделаться автором жизнерадостной положительной книги. Я должен себя тренировать — и раньше всего не верить в свою болезнь. У меня порок сердца, и прежде я выдумывал себе, что у меня колет там-то, что я не могу того-то, а теперь — в Ялте — со мной случился припадок, но я сказал себе „врешь, притворяешься“ — и продолжал идти как ни в чем не бывало — и победил свою болезнь. У меня психостения, а я заставляю себя не обращать внимания на шум и пишу в редакции, где галдеж со всех сторон. Скоро я

даже на письма начну отвечать. Боже, какие дурацкие получаю я письма. Один, например, из провинции предлагает мне себя в сотрудники: „Я буду писать, а вы сбывайте, деньги пополам“. И подпись: „с коммунистическим приветом““. <...>

Взял у меня Фета воспоминания — и не просто так, а для того, чтобы что-то такое для себя уяснить, ответить себе на какой-то душевный вопрос, — очень возится со своей душой человек. <...>».

Упоминаемая в записи Чуковского рецензия, которая так возмутила Зоценко, была напечатана в «Известиях» (ежедневная центральная правительственная газета) 14 августа 1927 года и называлась «Обывательский набат». Эта статья в разгромном стиле оценивала «Сентиментальные повести», а насчет повести «О чем пел соловей» и ее автора там говорилось следующее: «...в этой книге перед нами все тот же старый зоценковский герой, маленький гнусенький человечек, плотоядный и косноязычный, глупый, но с хитрецей, корыстный, тупой и ничтожный. <...> Если бы у Зоценко-сатирика за бичующими строками проглядывала хоть тень любви к человеку и веры в его будущее, его творчество не было бы таким тяжелым и жутким. <...> Ну, у Зоценко нет этой любви, этой веры, у него ничего за душой нет. Это — обыкновенный, рядовой обыватель, который с некоторым даже злорадством копается, переворачивает человеческие отбросы...»

Весьма показательно, что злобный тон становится необходимым критику, как только речь заходит не о «юмористе», а о Зоценко-сатирике. Тут сразу все средства хороши — от лжи до оскорблений и гадостей. И вполне понятно (вовсе не «поразительно») состояние Зоценко после прочтения такой статьи, отмеченное Чуковским: «...вид у него сегодня староватый, он как будто постарел лет на десять...» А зная характер Зоценко, его мучительный недуг и болезненную реакцию на определенные внешние раздражители, становятся объяснимыми и его поиски самозащиты, иных поведенческих и творческих ориентиров: «Я должен написать другую книгу, не такую, как „Сентиментальные рассказы“, жизнерадостную, полную любви к человеку, для этого я должен раньше всего переделать себя». Книга должна быть «положительной».

Всего через несколько дней, в конце того же августа 1927 года, К. Чуковский делает о нем такую многозначительную запись:

«<...> Позвонил Зоценко. „К.И.! так как у меня теперь ставка на нормального человека, то я снял квартиру в вашем районе на Сергиевской, 3 дня перед этим болел: все лежал и думал, снимать ли? — и вот наконец снял, соединяюсь с семьей, одобряете? Буду ли я лучше писать? — вот

вопрос“. Я сказал ему, что у Щедрина уже изображена такая ставка на нормального человека — в „Современной идиллии“ — когда Глумов стал даже Кшешпицюльскому подавать руку.

— Этого я не знал, вообще я Щедрина терпеть не могу и очень радуюсь, что Фет его ругает в тех воспоминаниях, которые я читаю теперь».

Эта запись пронизательного Чуковского не только о Зощенко — о всей советской интеллигенции, о том пути, который ей предстоял, а вернее, на который она уже встала, признав большевистский Октябрь и взявшись сотрудничать с советской властью. Но прежде, чем восстановить в памяти события из «Современной идиллии», попробуем ответить на вопрос о том, почему Зощенко «не мог терпеть» Щедрина. Вероятно, такое отношение коренилось в органике его писательской натуры: Щедрин изначально в своем творчестве был *идеологичен*, Зощенко — *литературен*. Вспомним, как Зощенко с неприятием высказывался по поводу требования «идеологически определиться», провозгласив, что «нету у меня ни к кому ненависти — вот моя точная идеология», как обнаруживал путаницу и несведущность в политических вопросах, считая большевиков заступниками крестьян и на свой лад различая марксистов и коммунистов. А родовитый дворянин М. Е. Салтыков, взявший себе псевдоним Н. Щедрин и ставший знаменитым русским сатириком и публицистом XIX века, во всей своей литературной деятельности был захвачен определенными идеями справедливого общественного устройства — от идей французских социалистов-утопистов, затем взглядов либерального народничества до убеждений революционной разночинной интеллигенции в лице Белинского, Добролюбова, Некрасова, Чернышевского. Большевики исключительно высоко оценили творчество Щедрина, представляя его приверженцем революционного радикализма (пусть и с позиции крестьянской революции). Полное собрание его сочинений, издававшееся в СССР с 1934 по 1941 год, в своем первом томе открывалось внушительной статьей партийного публициста Д. Заславского «Щедринские типы в произведениях Ленина и Сталина» (том вышел в 1941 году, в конце всего издания).

И тот же Д. Заславский в своем обширном предисловии к «Современной идиллии», сравнивая этот единый по замыслу и действующим «героям» цикл очерков Щедрина с «Записками Пиквикского клуба» Диккенса и находя у них «родственность формы и стиля», так в корне размежевывал, противопоставлял эти произведения:

«Социальная и политическая насыщенность резко отличает сатиру

Щедрина от сатиры Диккенса. Щедрин не скорбит о своих „героях“, а ненавидит их со всей страстью борца и революционера. И в то время как Диккенс старается показать „человеческую“ сущность в каждом отрицательном типе своего романа, Щедрин, напротив, разоблачает хищническую сущность в каждом человеке, принадлежащем к определенному обществу. Это сатирическое разоблачение буржуазного общества с позиций иного класса. Это радикальное отрицание классового общества, основанного на власти эксплуататоров и хищников, — отрицание полное и решительное, не останавливающееся перед издевательством над всеми „святынями“ крепостничества и капитализма, его верой и моралью, его законностью и справедливостью».

Понятно, что для Зощенко такой подход к человеческим добродетелям, к отдельному человеку был чужд, ему была близка традиция Диккенса. (Отметим, однако, что в приведенной выше и других большевистских характеристиках Щедрина делался перехлест: сам Щедрин писал о себе, что он «никого не бил по щекам», он полагал необходимым прежде всего справедливое переустройство общества.)

А в «Современной идиллии», о которой Чуковский напомнил Зощенко, Щедрин карикатурно расписал альянс образованных и вполне обеспеченных людей («буржуазной интеллигенции», по классовому определению Д. Заславского) с властью, проявившей тенденцию к подавлению в обществе вольномыслия. И вот два друга, от лица одного из которых ведется повествование, немедленно начинают «годить». Программу такого поведения сформулировал для них не кто иной, как сам Алексей Степаныч Молчалин (конечно, персонаж из комедии Грибоедова «Горе от ума»), зашедший мимоходом к рассказчику:

«Погодить — ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кой-об-чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь... Например, гуляйте больше, в еду ударьтесь, папироски набивайте, письма к родным пишите, а вечером — в табельку или сибирку засядьте. Вот это и будет значить „погодить“».

Действуя по этой программе, друзья быстро почувствовали совершившееся в них «обновление». Но оказалось, что это их внутреннее обновление никак еще не известно властям: проходя по двору своего дома, рассказчик слышит, как шпик выспрашивает дворника насчет его квартиры — скоро ли там будет «руволюция». Он хватается шпики за шиворот, приводит к себе, чтобы тот все увидел собственными глазами — как он живет, с кем общается и что они с приятелем делают. И шпик, которого

Глумов, приятель рассказчика, мгновенно назвал Кшепшицюльским (а тот сразу откликнулся на это имя), становится их постоянным гостем, вернее, соглядатаем — собеседником, застольником, партнером в карточной игре, только спать уходил в квартал да играть по утрам на бильярде в ресторане. А далее, по его, шпика, протекции состоялось знакомство интеллигентных друзей с квартальным начальником, который (прощупав через своих сотрудников дополнительно образ их мыслей) объявил на приеме в квартале за них тост: «Теперича, если бы сам господин частный пристав спросил у меня: Иван Тимофеев! Какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых, в случае чего, положиться было бы можно? — я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил: вот они!»

И когда Зоценко прямодушно объявил умному, блестяще знающему русскую классику Чуковскому о своей *ставке на нормального человека*, тот мгновенно указал ему на героев «Современной идиллии» Щедрина. И, наверное, подумал еще тогда же — по связи с упомянутым им Кшепшицюльским — о влиятельных чекистах вроде Агранова, становившихся приятелями, даже друзьями известных советских писателей, их жен и подруг...

#### 4. «АРЬЕРГАРДНЫЕ БОИ»

Таким образом, невротический недуг Зоценко вкупе с усиливающимся прессом времени подталкивал его к иному, нежели до сих пор, подходу к творчеству: надо написать «жизнерадостную книгу», надо «стать как другие люди», «чтобы сделаться автором жизнерадостной положительной книги». А живя «хорошим третьим сортом» (вспомним предыдущие его высказывания), допустимо печатать и плохие рассказы... И в то же время никуда было ему не уйти от душевных терзаний, уяснений вопросов — от «возни» со своей душой. Как и ко всякому истинному художнику, к Зоценко вполне применимы строки Бориса Пастернака:

С кем протекли его боренья?

С самим собой, с самим собой.

К концу 20-х годов Михаил Зоценко явственно почувствовал и осознал всю дальнейшую невозможность для него, человека, того неприятия действительности, которое двигало до сих пор им, художником.

Если еще в марте 1927 года, в предисловии к первому изданию

«Сентиментальных повестей», он открыто шел на то, что его книга «зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой», то уже в апреле 1929-го, в предисловии к четвертому изданию, проясняя окончательно вопрос об авторе повестей, Зощенко не без горькой усмешки писал: «Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия — вот чем пришлось наделить нам своего „выдвиженца“ И. В. Коленкорова. Сам же автор — писатель М. М. Зощенко, сын и брат таких нездоровых людей, — давно перешагнул все это. И в настоящее время он никаких противоречий не имеет. У него на душе полная ясность и розы распускаются. А если в другой раз эти розы вянут и нету настоящего сердечного спокойствия, то совершенно по другим причинам, о которых автор расскажет как-нибудь после».

И в присоединившейся к этому циклу в 1930 году повести «Сирень цветет» Зощенко говорит:

«Это раньше можно было упрекать автора если и не за клевету, то за некоторый, что ли, излишек меланхолии и за желание видеть разные темные и грубые стороны в природе и людях. Это раньше действительно автор горячо заблуждался в некоторых основных вопросах и доходил до форменного мракобесия.

Еще какие-нибудь два года назад автору и то не нравилось, и это. Все он подвергал самой отчаянной критике и разрушительной фантазии. <...>

Его острая меланхолия и раздражение к людям доводили его форменно до ручки, заслоняли горизонты и закрывали глаза на многие прекрасные вещи и на то, что у нас сейчас кругом происходит.

И теперь автор бесконечно рад и доволен, что ему не пришлось писать повести в эти два или три прискорбные года. Иначе большой позор лег бы на его плечи. Вот это был бы действительно злостный поклеп, это была бы действительно грубая и хамская клевета на мировое устройство и человеческий распорядок».

Если даже посчитать это началом отступления, то проводилось оно все под тем же его боевым знаменем сатиры и иронии. И не отступление это было, тем паче не бегство, но отважные арьергардные бои. Именно здесь, в повести «Сирень цветет», было им сказано: «Конечно, об чем говорить — персонажи действительно взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством». И здесь же верный себе Зощенко снова высказывается об окружающей советской действительности в полную силу и смелость своего таланта:

«<...>...хворая, автор отнюдь не отрывался от масс. Напротив того, он

живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще. И описывает события не с планеты Марс, а с нашей уважаемой Земли, с нашего восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная квартирка, в которой жительствоует автор и в которой он, так сказать, воочию видит людей, без всяких прикрас, нарядов и драпировок.

<...> Тем более автор последнее время особенно горячо полюбил людей со всеми ихними пороками, недостатками и прочими вышеуказанными особенностями.

Конечно, другие интеллигенты, действительно верно иной раз произносят разные слова. И, дескать, люди определенно еще дрянь. И, дескать, их надо еще подравнять, привести в порядок. Надо из них вытряхнуть всякие грубые элементы. Надо их подутюжить. Только тогда жизнь может засиять в полном своем дивном блеске. Остановка, так сказать, за небольшим. Но автор как раз не имеет такого мнения. Он решительно отмежевывается от таких взглядов. Конечно, безусловно надо изжить такие печальные недостатки механизма, как бюрократизм, мещанство, канцелярская волокита, чубаровщина и так далее. Но все остальное пока что более или менее стоит на месте и не мешает постепенному улучшению жизни». (Термином «чубаровщина» — после совершенного тогда в Ленинграде в Чубаровском переулке группового изнасилования, что потрясло многих людей, — обозначали злостные преступления и хулиганство.)

Написанное Зощенко было и злободневным и провидческим — и про наше «восточное полушарие», и про людей, и приведение их «в порядок» методом «подравнять» и «подутюжить», и про «недостатки механизма», конечно, нашего государственного, и про «все остальное», что тогда «более или менее стояло на месте и не мешало постепенному улучшению жизни», на что искренне еще надеялся Зощенко.

Однако его арьергардные бои под звуки флейты уже не могли никак повлиять на фронтальное наступление сталинской эпохи, утюжившей страну под бравурные марши сплошной коллективизации и социалистической индустриализации.

А одновременно достигала полной своей крепости и тотального овладения людьми единственно допустимая в стране большевистская идеология. В том же 1930 году, когда Зощенко публиковал в «Звезде» повесть «Сирень цветет», упоминавшийся уже один из руководителей ЛАППа и редактор журнала «Ленинград» М. Ф. Чумандрин говорил в заключительном слове после своего доклада «Чей писатель — Михаил Зощенко?»:

«<...>...тут была подана реплика, что-то о гуманности. Мне кажется, что в наше время обостренной классовой борьбы о гуманности говорить по меньшей мере странно. Мы в деревне строим колхозы, кулак убивает наших людей, а мы что? Мы будем говорить о гуманности? Нет. <...>

Больше того, я уверен, что, скажем, через полгода мы будем с еще большей строгостью подавлять каждую попытку враждебного нам класса хоть как-нибудь выступить против нас. И в этом отношении более чем странным является реплика товарища о гуманности. Мы сейчас ведем более жесткую линию по отношению к своим врагам, чем всякий иной строй по отношению к своим. И мы совершенно правы, ведя такую линию, ибо при всяком ином строе меньшинство подавляет большинство, а у нас большинство подавляет меньшинство в интересах построения социализма. Кто не хочет подчиняться и переработаться — тот будет уничтожен. Совершенно правильно».

Это говорилось за несколько лет до того, как Сталин, теоретически обосновывая свои знаменитые процессы-расправы, обобщил подобные мысли в собственный «научный» тезис об усилении классовой борьбы по мере построения социализма.

Отказываясь от предложения Госиздата выпустить трехтомник его рассказов, Зощенко говорил передававшему это предложение Чуковскому: «...не хочется мне в красивых коленкорových переплетах выходить. Я хочу еще года два на воле погулять — с диким читателем дело иметь...» Однако в том самом 1929 году, когда это говорилось, вышли в свет сразу два тома из уже запущенного в производство издательством «Прибой» шеститомного собрания его сочинений. Так что высказанное им желание «воли» и «дикого читателя» имело, должно быть, более общий и многозначительный смысл.

Зощенко весьма точно определил отпущенный ему срок «погулять». В эти два года он выпустил «Письма к писателю» и «Мишеля Синягина». А вышедшие в «Прибое» тома заключили в себя наиболее полный подбор его рассказов, фельетонов и повестей 20-х годов. Завершение этого шеститомного издания происходило в 1931–1932 годах уже под маркой Госиздата (ОГИЗ), окончательно поглотившего кооперативный «Прибой». И в этот переходный период сам Зощенко как бы замолчал — не публиковал новых художественных произведений. Он словно прощался со своим «вольным гуляньем».

Наверное, из самых популярных и непрерывно печатающихся писателей Зощенко вставал в сомкнутый общелитературный строй в числе последних. Цезарь Вольпе так рассудительно охарактеризовал его

эволюцию после «Мишеля Синягина»:

«Тема разоблачения интеллигентских иллюзий была исчерпана. Она открывала дорогу либо к пессимистическому мировоззрению, либо к новому кругу проблем, выражающему стремление писателя-сатирика найти пути для разработки в искусстве темы утверждения жизни.

Этот второй путь, путь советской сатиры, и был выбран писателем. Так вошла в произведения Зощенко новая, центральная тема — оптимистическое утверждение жизни».

Среди причин, вызвавших у Зощенко такое поворотное решение, надо назвать еще одну — давнее его неприятие декадентской культуры. Вспомним задуманную им в период Студии на занятиях у К. И. Чуковского книгу «На переломе», где он намеревался дать критический обзор русской литературы последнего дооктябрьского («предреволюционного») десятилетия. Кое-что было уже и написано по разработанному плану всего цикла, причем в одной из статей (о Блоке) он говорил о своем признании «нового пролетарского искусства». Но то были лишь рукописные статьи и фрагменты. Через десять лет его отношение к декадентской литературе со всей яркостью выразилось в опубликованном «Мишеле Синягине». И эта его эстетическая позиция также предрасполагала теперь к движению в новом направлении, что было весьма точно (и, конечно, положительно) отмечено в свое время еще Цезарем Вольпе: «Именно этот памфлетный характер „Воспоминаний о М. П. Синягине“ и „итоговый“ смысл этого памфлета делают эту повесть одним из наиболее значительных произведений писателя, произведением, показывающим органическую связанность сатиры Зощенко с идейными путями современной советской литературы».

Действительно, заканчивался блестящий период 20-х годов в творчестве Михаила Зощенко, и он сам подводил ему «итог». Сложны, противоречивы писательские пути. Критическое отношение к декадентской культуре было естественно для Зощенко, тяготевшего к демократической линии в литературе. Но в начале 20-х годов это тяготение привело его к юмористическому и сатирическому изображению действительности, к «сатирическому реализму». В 30-е годы — подтолкнуло, вкупе с иными причинами, к соцреализму...

# ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

## 1. «СМЕНА КУРСА»

Первым шагом к грядущей «смене курса» стала повесть «Возвращенная молодость». Тот первый шаг был пока что продолжением в творчестве тех личных проблем, которые тогда особенно его заботили, — мучительные приступы болезни и стремление во что бы то ни стало избавиться от нее. Он и раньше усердно читал специальную литературу, проштудировал, как известно, с карандашом в руке книгу Марциновского «Борьба за здоровые нервы» из дореволюционной серии «Психотерапевтическая библиотека». Теперь же, чтобы помочь себе, он принялся читать подряд биографии знаменитых писателей. В большом письме Горькому в Сорренто (в сентябре 1930 года) Зощенко сообщил ему и об этом своем занятии в связи с болезнью:

«<...> Я, конечно, не хочу равняться ни с кем, но вот ихняя жизнь на меня очень успокоительно подействовала и привела в порядок. В сущности говоря, страшно плохо все жили...<...>

И, тем не менее, они писали замечательные и даже удивительные вещи и не слишком жаловались на свою судьбу. Так что, если бы писатели дожидались золотого века, то, пожалуй, от всей литературы ничего бы и не осталось.

Вот это привело меня в порядок, и я понял, что надо работать при всех обстоятельствах и вопреки всему».

Отметим — не пытаюсь даже как-то объяснить эту особенность душевной организации Зощенко — некую взаимосвязь между его интуицией и хандрой. Вот, в данном случае, интуиция, а следом, по ее наведению, и аналитический аппарат ума, здравомыслие понуждали его самосохранительно «менять курс литературного корабля», а хандра — тут как тут — вызывала его делать «ставку на нормального человека» и тем подсказывала, предлагала направление для реализации нового курса в творчестве...

Так это или нет, но его собственное стремление «переде-тать себя», стать совершенно здоровым отразилось в тематике и построении «Возвращенной молодости», которая оказалась таким образом самым личным, почти интимным, из написанных им дотоле художественных произведений. В конце повести, в последнем из серии специальных научно-

популярных комментариев, составивших самостоятельную часть книги, а по объему — половину ее, Зощенко дал даже одну из самых полных автобиографий. И там были такие проникновенные строки:

«Эта книга, для ее достоверности и для поднятия авторитета автора, все же обязывает меня жить, по крайней мере, 70 лет. Я боюсь, что этого не случится. У меня порок сердца, плохие нервы и несколько неправильная работа психики. В течение многих лет в меня стреляли из ружей, пулеметов и пушек. Меня травил газом. Кормили овсом. И я позабыл то время, когда я лежал на траве, беспечно наблюдая за полетом птичек».

В этом же комментарии Зощенко сообщил, что писал «Возвращенную молодость» три месяца, а думал о ней четыре года. И подытожил цель своего сочинения:

«Эту книгу я написал в назидание себе и людям.<...> Мне попросту хотелось быть в этом смысле полезным в той борьбе, какую ведет наша страна за социализм. Я всегда удивлялся крайнему непониманию людей и крайнему незнанию самых элементарных правил руководства своим телом. Мне казалось, что знание всего этого необходимо людям, которые много работают.

<...> Эти мои медицинские рассуждения не списаны с книг. Я был той собакой, над которой произвел все опыты».

А в начале книги, в одной из главок, образовавших первый блок авторских размышлений, он назвал свою повесть «культурфильмом»:

«Ну, если это и не научный труд, если, скажем, Академия наук или там, скажем, Секция научных работников, согласовавшись с Горкомом и Союзом писателей, не найдет здесь признаков научного сочинения или найдет эти признаки, но не считает автора в достаточной степени овладевшим марксистско-ленинским мировоззрением, то, в таком случае, эту книгу можно будет обозначить более средним, более, так сказать, безобидным названием, не раздражающим зрения и слуха отдельных граждан и организаций.

Пусть эта книга называется ну, скажем, — культурфильм. Пусть это будет такой, что ли, культурфильм, вроде как у нас бывали на экране: „Аборт“, или там „Отчего идет дождь“. <...>».

Вот между этими двумя научно-популярными блоками и была зажата беллетристическая часть — «повесть о том, как один советский человек, обремененный годами, болезнями и меланхолией, захотел вернуть свою утраченную молодость». Эту художественную часть Зощенко определил также как «порцию занимательного чтения, которое явится как бы наглядной иллюстрацией к вышеизложенным мыслям и рассуждениям».

Героем этой части, которая, собственно, и являлась повестью, стал пятидесятитрехлетний профессор-астроном Волосатов...

«Возвращенная молодость» была опубликована журналом «Звезда» в трех летних номерах 1933 года. Когда вышла июньская книжка журнала, открывшая публикацию, газета «Литературный Ленинград» написала, что эта повесть — «гвоздь» номера. В том же году она успела выйти отдельным изданием в «Советском писателе», чему решительно помог Горький, вступившийся за рукопись. Он послал в Главлит (цензурную «управу») ругательное, по словам Зощенко, письмо, и чиновники восстановили в повести даже те изъятия, на которые согласился вынужденный автор. А затем она переиздавалась в «Советском писателе» еще два года подряд.

И все эти два года шло горячее обсуждение повести. Как и предвидел Зощенко, в дискуссию включились биологи, физиологи, медики. Одной из самых оживленных была совместная дискуссия писателей и ученых. «Литературный Ленинград» сообщил о положительной оценке книги. Выступил в печати и первый советский нарком здравоохранения и член президиума ВЦИК Н. А. Семашко: «Самая главная заслуга книги т. Зощенко, целиком оправдывающая появление ее в свет, — это призыв к „организации жизни“, к „сохранению и укреплению умственной“ (да и физической) „энергии“. Хвала т. Зощенко за это!» И академик И. П. Павлов стал присылать ему приглашения на свои знаменитые «среды», где собирался цвет отечественной науки в области физиологии и высшей нервной деятельности.

Не обошлось, конечно, и без резких публикаций, повторявших оголтелые нападки на него, однако на сей раз это были единичные выступления, которые веско оспаривались другими критиками. Так что общий тон высказываний — при всей разноречивости в оценках жанра, построения, содержания «Возвращенной молодости» и позиции ее автора — оставался в умеренном диапазоне, был достаточно приемлемый.

Наиболее потерпевшим от подобного изменения «почерка» Зощенко оказался тот «дикий», по его выражению, читатель, у которого он пользовался столь широким и стойким успехом. И Зощенко, предугадывая возможную реакцию, пообещал на последних страницах повести: «Читатель, который огорчится переменой моего творчества, может быть спокоен. Выпустив эту книгу, я снова буду продолжать то, что начал. Эта книга — просто временная передышка». Очевидно, он в тот момент еще думал так.

Следует, однако, отметить, что и в «Возвращенной молодости» Зощенко остался верен себе в самой подаче материала. Используя его же

высказывания о своей работе, можно, наверное, сказать, что и в данном случае он пародирует того научно-популярного писателя, который взялся бы за столь многосложную и научную тему. Но здесь эта ирония не осмеивает, не разоблачает автора-повествователя, как было с прежними рассказчиками, а прикрывает, защищает легкой усмешкой и реет сочинение, и его самого, который, «работая в своем деле, мимоходом и, так сказать, как свинья, забрел в чужой огород, наследил, быть может, натоптал и, чего доброго, сожрал чужую брюкву»...

«Смена курса литературного корабля» неизбежно должна была происходить вместе с изменениями и общественного поведения Зощенко.

Еще в самом начале 30-х годов он был избран в Ленинградском отделении Всероскомдрама (комитет драматургов) председателем секции малых форм. Затем участвовал в работе «бригады сатириков» вместе с Д. Бедным, М. Кольцовым, Ильфом и Петровым, Рыклиным и другими, о чем сообщала «Литературная газета». Одной из главных тем теоретических докладов, с которыми должны были выступать мэтры перед молодыми собратями, была, конечно, «специфика советской сатиры». Разумеется, «утверждающая, оптимистическая». Вскоре в той же «ЛГ» в серии интервью с ленинградскими писателями под рубрикой «Писатель за рукописью» он рассказывает почтительному журналисту о своей работе над «Возвращенной молодостью», вспоминает Маяковского...

А 18 августа 1933 года, только-только успев окончить повесть, он отправляется с большой группой писателей на строительство Беломорско-Балтийского канала, производившееся заключенными. Газета «Литературный Ленинград» сообщала, что четыре железнодорожных вагона были переполнены писателями Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, Средней Азии, которые, доехав до станции Медвежья Гора, совершили затем четырехдневный осмотр канала. «Все писатели восторженно отзываются о грандиозной работе, проделанной на Беломорско-Балтийском канале, о его строителях — большевиках-чекистах», — говорилось в газете.

И там же через несколько дней Мих. Зощенко писал в своей заметке «Возвращенная молодость»: «Общее впечатление от Беломорского канала необычайное. Прежде всего, это очень красиво и грандиозно. Канал чрезвычайно декоративен. <...> Я на самом деле увидел подлинную перестройку, подлинную гордость строителей и подлинное изменение психики у многих (сейчас можно назвать так) товарищей».

Из этой поездки Зощенко привез новую повесть — «История одной

перековки». Возникла она из уже написанной одним заключенным своей собственной биографии, которую ему и вручили для литературной обработки. Зощенко обратил на него внимание на слете ударников строительства, устроенном во время пребывания писателей в одном из тамошних лагерей. Судя по деталям, которые Зощенко добросовестно описывает в начальных главках повести, слет этот был подготовлен опытным лагерным начальством специально для писателей, как образцовая потемкинская деревня (что подтверждалось впоследствии в некоторых воспоминаниях присутствовавших). Но Зощенко доверчиво писал:

«Это был самый удивительный митинг из всех, которые я когда-либо видел.

На эстраду выходили бывшие бандиты, воры, фармазоны и авантюристы и докладывали собранию о произведенных ими работах.

Эти речи при всей своей частью неграмотности и наивности звучали как торжественные поэтические произведения. В них не было ни капли фальши, или выдумки, или желания ослепить начальство силой и решительностью своей перестройки».

Попробуй сфальшивь, если не хочешь заработать добавку к сроку... А наивными были не столько речи «ударников», сколько сами писатели, не подозревавшие об исключительных способностях профессионалов ГПУ ослеплять и не таких простаков.

Не случайно, надо быть, состоялось и знакомство Зощенко с тем «необычайно мужественным и энергичным» заключенным, у которого и автобиографическая рукопись была уже составлена «за несколько дней до своего выхода на волю», как раз к слету:

«Он произнес речь о своей прошлой жизни, о заграничных скитаниях, о тюрьмах, в которых он сидел. И о том, что он тут сделал, и что с ним тут сделали, и что он намерен делать в дальнейшем.

Одна его фраза меня необычайно удивила. Он сказал: „Буржуазный профессор Ломброзо говорит, что мы, преступники, уже рождены преступниками. Какая чушь. Разве могут рождаться преступники? Мой отец — честный труженик — до сих пор работает. Моя мать — честная работница. А то, что случилось со мной, — я в этом раскаиваюсь и от этого окончательно ухожу“.

Этот человек был известный международный вор, фармазон и авантюрист, ныне получивший почетный значок за свою отличную и даже героическую работу на строительстве».

И артист, добавим мы, сыгравший, наверное, многоцелевую роль, которая была нужна всем участникам этой умело поставленной сцены, в

том числе и ему самому. «Этого человека звали Абрам Исаакович Роттенберг», — сообщает Зощенко. И заключает: «Я „причесал“ эту рукопись. Но я сделал это как будто рукой самого автора. Я сохранил его язык, его стиль, его незнание литературы и собственный его характер. Это была почти что ювелирная работа».

Его «ювелирная работа» была опубликована в упоминавшемся уже фолианте «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», который по предложению авторского коллектива посвящался XVII съезду партии большевиков. Авторский коллектив составили 36 писателей во главе с Горьким. Среди них, кроме М. Зощенко, были А. Толстой, Бруно Ясенский, Л. Никулин, В. Катаев, Вс. Иванов, Вера Инбер, М. Козаков, В. Шкловский... А в торжественном посвящении, открывшем книгу, говорилось: «Этой книгой Оргкомитет Союза советских писателей рапортует XVII съезду партии о готовности советских писателей служить делу большевизма и бороться своими художественными произведениями за учение Ленина — Сталина, за создание бесклассового социалистического общества». Книга была издана в 1934 году.

После поездки Зощенко на Беломорканал приходится констатировать, что — при всей известной его доверчивости, которая могла вызвать невольные заблуждения, — к тому сроку в нем самом уже произошла вполне сознательная «перековка». Откровенно сопротивлявшийся все 20-е годы идеологическому давлению, он прекращает теперь это сопротивление и принимает, как продолжение исповедуемых им великих идеалов, конкретные идеологические установки и практику большевиков.

Правда, поначалу он делает это более тонко, нежели другие известные писатели, участвовавшие в создании книги «Канал имени Сталина». Так, Зощенко не приложил руку ни к одной коллективно написанной главе книги, заняв в ней свою отдельную, личную, сугубо писательскую, а не публицистическую позицию (приведем некоторые названия тех глав: «Страна и ее враги», «ГПУ, инженеры, проект», «Заклученные», «Чекисты», «Каналоармейцы», «Добить классового врага»... Фамилии авторов-писателей в этих главах часто переходят из одной в другую). Только два материала во всей объемной книге имеют своего единственного автора — вступительная статья М. Горького «Правда социализма» и повесть Зощенко. Причем в повести «История одной перековки» (в последующих книжных изданиях — «История одной жизни») Зощенко сразу и четко обозначает рамки рассматриваемого человеческого пространства: «Меня заинтересовали люди, которые глубоко втянулись в жизнь, построенную на праздности, воровстве, обмане, грабежах и

убийствах». Он исключает из этого пространства даже «случайных» правонарушителей. И подает свою задачу в таком контексте, что можно подумать, будто кроме уголовников на строительстве канала больше не было никаких других заключенных.

Но если взять главу «Заключенные», написанную весьма ловко и дающую, как бы невзначай, только в индивидуальном порядке, никак не обобщая, представление о социальном составе зеков, то становится очевидным, что основная их часть была не уголовники, а «кулаки» (раскулаченные крестьяне), «монахи» (священнослужители), «каэры» («контрреволюционеры», то есть люди, высказывавшие свое несогласие с советской властью), «вредители» (в большинстве своем инженеры, на которых списывали все провалы «индустриализации») и прочая классово-чуждая «подрывная интеллигенция» (от ученых до бухгалтеров). Но все эти люди, отправленные в ГУЛАГ для социалистического «перевоспитания» трудом, остались вне поля зрения Зощенко. Таков был его первый шаг на том предписываемом властью идеологическом пути, по которому он пошел в тридцатые годы.

Однако, словно компенсация для души, в том же 1934 году у Зощенко был издан однотомник «Избранного», в который вошло большинство его самых ударных рассказов двадцатых годов — и «На живца», и «Жертва революции», и «Рабочий костюм», и «Нервные люди», и «Прискорбный случай», и «Прелести культуры», и «Мещане», и «Гости», и «Гримасы нэпа», и «Пожар», и, конечно, «Аристократка» с «Баней»...

Оказалось, что новые времена продолжали еще по-старому — со смехом — смотреть на эти рассказы. Срабатывала сила инерции. И тотально утвердившийся режим мог позволить себе этот смех. К тому же и автора, и его рассказы прикрывали теперь последующие книги — «Письма к писателю», «Возвращенная молодость» и совсем свежая, актуальная повесть о перековавшемся «каналоармейце», как стали называть строителей Беломорканала. Таковы, очевидно, были внешние слагаемые образовавшегося феномена Зощенко. О других же слагаемых — о душевной доброте, о виртуозной подмене подлинного автора сказчиком, о его восхитительном юморе и демократизме сатиры — уже в меру сил говорилось.

Конечно, и в те годы Михаил Зощенко находил — пусть не афишируемые — понимание и признание своего истинного значения, прежде всего у давних друзей-писателей.

Так, несколько ранее, в феврале 1933 года, Константин Федин записывал о нем в своем дневнике:

«Его стараются „снизить“ — измельчить, печатают в юмористических журнальчиках, чтобы он, кой грех, не поднялся до высоты большой, общественно важной индивидуальности. А он — явление из ряда вон выходящее, очень значительное, не только — не Лейкин, не Горбунов, не Аверченко, но нечто большее по масштабу, поднимающееся до Гоголя. <...> Его стараются представить зубоскалом (и то, что он пишет, действительно неудержимо смешно), мещанским „рупором“, а он — безжалостный сатирик и — может быть — единственный в наши дни писатель с гражданским мужеством и человеческим голосом, без фистулы подобострастия. Мне показалось, что он переживет всех нас, и, вероятно, я не ошибаюсь».

Это писалось вскоре по завершении шеститомного издания Зоценко, а конкретным поводом записи был сбор «серапионов», на котором они после полосы отдаления друг от друга достигли «полной примиренности». Одним из двух пунктов ее основы явилось «единогласное признание исключительного дарования Зоценки». Зоценко прочел на сборе несколько рассказов громадной, по оценке Федина, силы...

Известно, однако, что исключительное дарование сплетено с исключительной проблемой — как им распорядиться.

И тот праздник души, который должен был естественно возникнуть у Зоценко при выходе в свет «Избранного», проходил в преддверии его отступничества от самого себя и от своих собственных рассказов.

Вероятно, это может быть воспринято как чересчур резкое суждение — «отступничество от самого себя, от своих собственных рассказов».

Но это лишь суждение, не суд, тем паче не осуждение. Когда читаешь какого-либо бравого критика Зоценко и других советских писателей (действительно талантливых писателей) той, сталинской, эпохи, вдруг начинаешь отчетливо представлять себе, каким бы отменным следователем, прокурором, председателем трибунала был бы в те приснопамятные времена этот лихой критик, громящий под знаменем эстетического абсолюта из сегодняшней безопасности и свободы слова то подпрессовое вчера своих предшественников...

Однако — к делу. На наш взгляд, полная «смена курса литературного корабля» была не только провозглашена, но и произведена Зоценко в «Голубой книге». И поскольку наше повествование направлено на психологическое рассмотрение жизненного и творческого пути Зоценко (в заданных ему эпохой условиях), попробуем с этой точки зрения разобраться и в истории с «Голубой книгой».

Сначала — необходимая предыстория. В конце 1930 года Горький в

письме Зощенко из Сорренто, высоко оценив его юмор, настоятельно посоветовал ему двинуться в ином, нежели до сих пор, направлении: «И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальнейшую книгу. Я думаю, что для этого вам очень немного надобно, только — переменить тему. По-моему, вы уже и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить-вышить что-то вроде юмористической „Истории культуры“. Это я говорю совершенно убежденно и серьезно». Таким образом, восхищаясь рассказами Зощенко, четыре тома которых он получил в тот год и читал их по вечерам вслух своей семье и гостям (о чем он писал Зощенко в предыдущем письме), Горький все же увлекал, тянул его на «весьма крупные вещи» и на смену темы...

Зощенко сперва совета не принял — ему увиделось тут некоторое повторение таких юмористических книжек прошлого, как «Путешествие сатириконовцев по Европе». Но в ходе его собственных поисков «смены курса», когда он затеял книгу рассказов, соединенных вместе «при помощи истории», тема Горького неожиданно всплыла в его сознании. Возможно, она скрыто дожидалась там своего часа. А затем, выпустив «Возвращенную молодость» и побывав на Беломорканале, он энергично взялся за «Голубую книгу», о чем сообщал в письме В. Е. Ардову: «<...>... много работаю. Задумал одну удивительную книжку. Все, что раньше писал, — оказались черновые наброски к этой книге. В общем, мир ахнет и удивится от моей новой фантазии». Запомним, что по этой «фантазии» все прежние сочинения представились ему черновыми набросками.

И — еще один «снимок» Зощенко из «Дневника» Чуковского, сделанный в январе 1934 года: «Видел Зощенку. Лицо сумасшедшее, самовлюбленное, холеное. „Ой, К. И., какую великолепную книгу пишу“. Книга — „Декамерон“ — о любви, о коварстве и еще о чем-то. „Какие эпиграфы! Какие цитаты!“».

Конечно, он верил в то, что его книга будет удивительной и великолепной. Художник верит в свое новое творение, даже если обманывается в нем. А в письме-посвящении Горькому, которое предварило уже новую книгу, Зощенко сказал: «Нет, у меня не хватило бы сил и умения взять вашу тему в полной своей мере. Я написал не Историю культуры, а, может быть, всего лишь краткую историю человеческих отношений».

Итак, книге была задана идея, причем идея общеисторическая: «Нынче, когда открывается новая страница истории, той удивительной истории, которая будет происходить на новых основаниях, быть может — без бешеной погони за деньгами и без всяких злодеяний в этой области,

нынче особенно любопытно и всем полезно посмотреть, как жили раньше. И в силу этого мы решили, прежде чем приступить к новеллам из нашей жизни, рассказать вам кое-что из прежнего».

Воплощение идеи потребовало размысленного построения книги: «Мы подметили, что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события. <...> И вот в силу этого мы разбили нашу книгу на пять соответствующих отделов».

А для раскрытия темы каждого отдела был взят единый метод, о котором также заранее объявлялось в «Предисловии»:

«Так, например, в отделе „Любовь“ мы расскажем вам, что знаем и думаем об этом возвышенном чувстве, затем припомним самые удивительные, любопытные приключения из прежней истории и уж затем, посмеявшись вместе с читателем над этими старыми, поблекшими приключениями, расскажем, что иной раз случается и бывает на этом фронте в наши переходные дни.

И то же самое мы сделаем в каждом отделе.

И тогда получится картина полная и достойная современного читателя, который перевалил через вершины прошлого и уже двумя ногами становится в новой жизни».

Вот он и «перевал», переход, превращение заданной «общеисторической» идеи в злободневную идеологию. И в зачинном, открывающем саму книгу и наиболее связанном с этой идеологией отделе «Деньги», в первых же параграфах, на которые Зоценко разбивает свои «теоретические» разъяснения предмета и исторические примеры, читаем:

«1. Мы живем в удивительное время, когда к деньгам изменилось отношение.

Мы живем в той стране, в которой прекратилось величественное шествие капитала.

Мы живем в том государстве, где люди получают деньги за свой труд, а не за что-то другое.

И потому деньги получили другой смысл и другое, более благородное назначение — на них уже не купишь честь и славу.

2. Этот могущественный предмет до сей славной поры с легкостью покупал все, что вам было угодно. Он покупал сердечную дружбу и уважение, безумную страсть и нежную преданность, неслыханный почет, независимость и славу и все, что имелось наилучшего в этом мире.

Но он не только покупал, он еще, так сказать, имел совершенно сказочные свойства превращений. И, например, обладательница этого предмета, какая-нибудь там крикливая подслеповатая бабенка без трех

передних зубов, превращалась в прелестную нимфу. И вокруг нее, как больные, находились лучшие мужчины, добиваясь ее тусклого взгляда и благосклонности».

Идеология, как видим, потребовала от автора дидактики и, по своим «сказочным свойствам», стала сразу превращать художественное произведение в учебник политграмоты — с проверенно доходчивой и результативной для объяснения, поучения, проповеди формой параграфов. И с нравственно примитивным содержанием, в данном примере — истолкованием денег, с легкостью покупающих «сердечную» дружбу, «уважение», «нежную» преданность и «все наилучшее в этом мире». Конечно, используя свой привычный камуфляж, Зощенко и здесь попытался спрятаться за маской очередного сказчика, такого советского лектора, которого явственно выставил в конце второго параграфа, где говорится о «крикливой подслеповатой бабенке» (которая почему-то при своем богатстве не вставляет себе передние зубы; очевидно, для того как раз, чтобы сильнее продемонстрировать могущество денег, превращающих ее и без зубов в «прелестную нимфу», окруженную «лучшими мужчинами»). Но ни письмо-посвящение Горькому, ни рассуждения и признания, проходящие по всей книге, не оставляют сомнений, кто здесь «действующий» автор, а вот тень на искренность этих рассуждений и даже, скажем так, на его душевность накладывают. Искренность не совмещается с назидательностью. И эксплуатация литературного приема начинает дискредитировать и прием, и автора, поскольку идеология подчиняет, подменяет его сердце.

Однако не станем недооценивать силу и убедительность социалистической идеологии, которой столь целенаправленно и успешно пользовались большевики, а также привлекательность общечеловеческих идеалов, взятых ею на вооружение, и потому широкую ее популярность вообще, а в России особенно. Не забудем и того, что большевистский переворот в России послужил великим уроком для стран Запада в сфере их социальной политики, весьма дотоле безжалостной. (В очередной раз Россия, как и писал некогда Чаадаев, своей трагедией послужила уроком для других, не себе.)

Это — о том, что касается «теоретических» рассуждений и построений Зощенко. Что до его признаний, то тут нельзя не сказать о его открытом прощании с сатирой. В отделе «Коварство» он с иронией говорил:

«1.<...> Но, прежде чем приступить к делу, дозвольте поделиться с читателем гражданской скорбью.

2. Своей профессией, уважаемый читатель, мы не особенно довольны.

Профессия сатирика довольно, в сущности, грубая, крикливая и малосимпатичная.

Постоянно приходится говорить окружающим какие-то колкости, какие-то грубые слова — „дураки“, „шантрапа“, „подхалимы“, „заелись“ и так далее.

Действительно, подобная профессия в другой раз как-то даже озадачивает современников. Некоторые думают: „Да что это такое? Не может быть! Да нужно ли это, вообще-то говоря?“

3. И верно — на первый, поверхностный взгляд все другие профессии кажутся значительно милей и доступней человеческой душе. <...>

4. И только, я говорю, мы, сатирики, вроде как бы и не люди, а собаки.

Нет, вообще-то говоря, если подумать глубже, профессия эта тоже нужная и полезная в общественном смысле. Она одергивает дураков и предостерегает умных от их глупых поступков. <...> Она иллюстрирует всякого рода решения и постановления, а также приносит известную пользу в смысле перевоспитания людских кадров.

Так что профессия, спору нет, в высшей степени не так уж очень особенно бесполезная.

Единственно, я говорю, профессия тем нехороша, что она не дает много беспечной радости своему владельцу. <...>

Она предрасполагает к меланхолии и нарушает обмен веществ. Нервная экзема и сахарное изнурение также иной раз суть прямые следствия этой вредной профессии. Кроме того, она портит характер, ссорит с окружающими и нередко разводит с женами.

5. И в силу вышеизложенного, отличаясь оптимизмом и крайней любовью к жизни и к людям, решили мы больше не напирать на сатирическую сторону дела.

И, не отказываясь от сатиры, решили мы с этого момента слегка, что ли, переменить курс нашего литературного корабля».

Это признание Зощенко на страницах книги заметно отличается от сделанного в личном письме критику Е. Журбиной, где горько прозвучал данный им себе безоговорочный сигнал «стоп»: «В общем, смешно думать о настоящей сатире. Недаром я (посмотрите) написал, что меняю курс литературного корабля (это в коварстве)». Признание было сделано в момент выхода в свет «Голубой книги». Но то было вынужденное отступление, перемена в дальнейшей работе и старание писателя проявить себя в новых условиях.

А вот что побудило его обтесывать, подгонять, укладывать, как в прокрустово ложе, в заранее намеренные отсеки «Голубой книги» свои

прежние рассказы 20-х годов, где они, в свою очередь, после «исторических новелл» должны были демонстрировать, «что иной раз случается и бывает на этом фронте в наши переходные дни»?..

Он менял привычные названия известных рассказов на явно нравоучительные, изменял концовки — на прямо противоположные прежним, внося в них оптимизм, сочинял назидательные связки, делая эти рассказы частицами единого тематического потока, нивелировал, заглаживал свой знаменитый зощенковский язык. В этом заданном потоке рассказы переставали быть самостоятельными шедеврами, превращались в однобокие иллюстрации заявленной автором темы.

И наконец, включенные в «исторический поток», эти рассказы 20-х годов, появляясь вслед за примитивно и карикатурно подаваемыми эпизодами из давних времен, теряли свою собственную неповторимость и конкретность, переставали быть теми художественными документами своей эпохи, главная ценность которых была в ярком и провидческом запечатлении последствий большевистского переворота в России. Трагедия послеоктябрьской эпохи со всею ее исключительностью подверглась теперь к общеисторической «человеческой комедии»...

Но, вероятно, наибольшие потери от такой операции со своими прежними рассказами должен был понести сам позволивший себе это автор. Давно замечено: самая коварная измена — подмена. И то, что происходило с Зощенко-писателем, было неотрывно и от Зощенко-человека.

По мнению Цезаря Вольпе, Зощенко не был до конца уверен в том, что ему следовало переписывать свои прежние рассказы. Однако он считал задуманную им «Голубую книгу» исключительно важной и нужной современному читателю. И дабы не откладывать завершение книги на несколько необходимых для написания лет, он все же решил переработать и вставить в нее эти старые рассказы. «И это чувство современного читателя, которое отражает представление Зощенко о народности своей литературной работы, объясняет, почему Зощенко спешил с выпуском „Голубой книги“», — пишет Вольпе.

Позднейшие исследователи, уже в эпоху «гласности», справедливо добавляли в свои публикации сведения о тех процессах (в том числе и начавшихся судебных), которые происходили в общественной и литературной жизни 30-х годов. Острые споры велись тогда и по поводу сатиры — с требованием «положительной», «оптимистической» сатиры или вовсе отмены ее, что также влияло на работу Зощенко, лишало его уверенности в себе.

Тем не менее его рассказы 20-х годов и после «Голубой книги» появлялись в новых изданиях в своем первоизданном виде (с добавлением, конечно, более поздних произведений). Они как бы попали в непростреливаемое литературное пространство. Так что совершенная над ними экзекуция для «Голубой книги» не была вызвана внешними обстоятельствами. То было в большей степени решение самого автора, осуществленное под воздействием его «новой фантазии», как выразился он сам. Или — под воздействием возобладавшей в нем идеологии, как сказали бы мы. Не подвела его и на этот раз интуиция. «Голубая книга» появилась на диво своевременно — и в общественной жизни, и в жизни автора. Страна стремительно приближалась к пику непрестанно шедших в ней массовых репрессий.

## 2. СОЦРЕАЛИСТ

«Голубая книга» публиковалась в московском «толстом» журнале «Красная новь». Таким образом, Михаил Зощенко, напечатавший перед тем свою «Возвращенную молодость» в ленинградской «Звезде» (а еще раньше здесь же повесть «Сирень цветет»), стал признанным «толстожурнальным» автором, что, в свою очередь, было признаком литературной респектабельности.

Как и все, что писал Зощенко, «Голубая книга» вызвала широкий интерес читателей. Но то был уже читатель, по большей части, не «дикий», с которым он так хотел иметь дело прежде, семь лет назад, когда высказывал Чуковскому свое душевное желание — погулять еще года два на воле, а не выходить в красивых коленкорových переплетах... Теперь это была читательская «общественность», в среде которой и проходили организованные обсуждения книги. Например, целую серию таких читательских конференций на главных промышленных гигантах Ленинграда — на машиностроительном заводе имени Ленина, на заводе-втузе имени Сталина, на Кировском заводе, на «Красном треугольнике» — провел по поручению издательства «Советский писатель» критик и литературовед Цезарь Вольпе, считавший, что эта «книга оказалась самой большой художественной удачей Зощенко».

Состоялось, разумеется, обсуждение «Голубой книги» и писателями. Много и горячо спорили о жанре, композиции, содержании, стиле. И сам Зощенко поведал о найденном им методе движения новелл, который делает книгу — по ее внутреннему содержанию — романом... Как

свидетельствует Вольпе, особенно поддержали Зощенко «Серрапионовы братья», говорившие в своих выступлениях, что «его работа лежит в основном русле великих традиций классической литературы». Дал высокую оценку книге и Горький. «Оригинальность книги, вероятно, не сразу будет оценена так высоко, как она того заслуживает», — написал патриарх, создавший недавно Союз советских писателей. Установка Сталина объединить всех писателей страны в организованную профессиональную корпорацию, подконтрольную партии и получающую значительные льготы от государства, учредить общесоюзный департамент по литературе была уже выполнена.

Не теряя темпа в своем движении по новому курсу, отбросив прочь жанр сатиры, Зощенко стремительно приступил к работе над произведениями, которые давали ему возможность создать целиком положительный образ — настоящего героя социалистической эпохи. Опыт документально-биографической повести у него уже был — «История одной перековки» (или, в большинстве изданий, «История одной жизни»). И теперь он, по всем правилам художественности, составил из трех знакомых ему женщин, рассказавших свои биографии, собирательный образ работницы завкома Касьяновой, героини Гражданской войны, награжденной орденом Красного Знамени, которая начинала свою раннюю трудовую жизнь в няньках у «кулака-миродея», затем была прислугой-кухаркой у городских «бар-эксплуататоров», а после Февральской революции пошла за большевиками. Повесть называлась «Возмездие» и получила дружное одобрение критики. Цезарь Вольпе, оценивая ее в своей книге как наиболее значительную из новых повестей Зощенко, писал: «Самая тема повести „Возмездие“ представляет собой параллель к поэме Блока. На символическую тему „Возмездие“ Зощенко дает свой ответ. Революция кажется ему законным возмездием, но возмездием не в мистико-символическом плане, а в плане человеческой справедливости». Вольпе объективно отмечает позицию Зощенко, «сделавшего свою героиню Касьянову выразителем того нового мира, который пришел судить и уничтожить старый порядок». Но нельзя не привести и такие его слова о «Возмездии»: «Биография Касьяновой является как бы наглядной иллюстрацией к тезису Ленина о том, что в социалистическом государстве каждая кухарка должна научиться управлять государством. Черты нового человека, растущего в ходе революции, для которого дело борьбы за социализм составляет весь смысл личного существования, показаны Зощенко в этой повести». Сказано это было также со всею серьезностью и, конечно, с интеллигентским пиететом перед «человеком из народа» и перед

светлой идеей человечества. И никак не ведая, где же на деле таилось наше возмездие. А на последующий взгляд, когда стала известна цена подобных «тезисов» вождя мирового пролетариата, и окарикатуривая все сочинение...

Действительно, спустя время эта повесть стала восприниматься как самопародия — и на героиню, и даже на автора. Дело было в том, что Зощенко писал эту повесть своим испытанным приемом «от первого лица»: Касьянова сама рассказывает свою жизнь, то есть является *сказчиком*. Но в своих знаменитых сатирических рассказах Зощенко выводил *типаж*, который был отражением характерных изъянов действительной жизни. Этот типаж давался автором читателю во всей своей красе — глядите, смейтесь, но размышляйте — над кем смеетесь... И автор, находившийся «за кадром», при всей его доброте к людям показывал им, всему обществу — кто они, как живут, как далеки от совершенства. Такова была авторская позиция в сатирических рассказах.

А в повести «Возмездие» он поставил перед собой задачу показать и восславить героиню из народа, участвовавшую в революции и Гражданской войне. Однако уровень ее культуры, ее речь были почти те же, что и у прежних зощенковских типов, а вот позиция автора была уже иной, и получился явный разрыв между старанием автора дать безусловно положительного героя и фактическим воплощением замысла. Не говоря уж об односторонней и примитивной трактовке исторических событий, исходящей от героини, сами события, увиденные ею, оказываются чаще лишь названными, нежели изображенными. Причем речь героини насыщается идеологическими штампами. Вот, например, как она рассказывает о своем знакомстве с «революционером-студентом»:

«Его звали Аркадий Томилин. Он был сын чиновника, но он был всецело на стороне пролетариата, когда мы сражались в Киеве. Я к нему питала большое уважение. И он был тоже в меня влюблен. И у нас, вообще говоря, возникло большое чувство друг к другу.

Он не был в партии, но он весь горел, когда дело шло об интересах народа. Он ненавидел дворянство и купечество. И говорил, что каждый честный человек должен биться только за трудящихся. Он говорил, что сейчас наступил такой момент, когда народ может, наконец, сбросить со своих плеч всех эксплуататоров, с тем чтобы работать в дальнейшем на себя, а не для кучки паразитов. А как это будет в дальнейшем называться — коммунизм или как-нибудь иначе — это его пока не интересует. Там, в дальнейшем, разберутся и сделают именно так, как это будет полезно для трудящегося народа. А пока мы должны биться за эту ближайшую цель,

хотя бы это нам стоило жизни.

Он был пламенный и честный человек».

Приведем также отрывок из рассказа Касьяновой о ее пребывании в доме генеральши Дубасовой:

«Итак, я поступила кухаркой к генеральше Нине Викторовне Дубасовой.

И она была этим очень довольна, потому что я была в то время интересная, а это ее очень устраивало. Она была из таких надменных барынь, которые любят, чтоб у них все было самое красивое, самое наилучшее. И она добивалась, чтоб у нее прислуга тоже отличалась какой-нибудь интересной внешностью.

Ей нравилось, когда гости поражались, что им открывает такая миловидная прислуга. И она этим удовлетворяла свою барскую спесь и свою дурацкую гордость.

Но поскольку я была кухаркой, то я к гостям не должна была выходить. У нас днем двери открывали денщики, а вечером горничная.

Но баронесса непременно захотела, чтоб и я открывала двери.

<...> Но это не так долго продолжалось, потому что она сослепу приревновала меня к одному офицеру, который был ее любовником.

К ней каждый день заходил один молоденький офицерик, некто Юрий Анатольевич Бунаков. Он был хорошенький такой, как кукла.

И я раньше никогда таких не видела. Он был похож на херувима. У него на щеке была нарисована черная мушка. И губы свои он подкрашивал красной краской. И всегда ходил с маленькой коробочкой. И там у него была пудра. И он то и дело припудривался, потому что он любил, чтоб у него была матовая кожа.

<...> Она с ним буквально нянчилась.

И когда генерал был на фронте, то Юрий Анатольевич каждый день к ней заходил.

Он играл песенки на рояле. И напевал их вполголоса. Причем весь репертуар у него был исключительно из грустных номеров. Он чаще всего пел: „О, это только сон“ и „Под чарующей лаской твоею“.

<...> Но, конечно, это была сплошная ерунда, то, что она меня к нему приревновала. Я на него просто никак не глядела. Вернее, мне было забавно видеть его поведение. Но он действительно иногда глаз с меня не сводил.

Он мне однажды сказал в передней:

— Это, говорит, Анюта, чересчур жалко, что среди нашего высшего общества не бывает таких, как ты. Среди нашего общества все больше

высохшие мумии. И я бы, говорит, наверно, вполне исцелился от меланхолии, если бы сошелся с такой особой, как ты.

Но я рассмеялась ему в лицо и не велела ему об этом больше говорить.

А моей баронессе не понравилось, что он со мной то и дело заговаривал.

Она мне сказала:

— Я, говорит, Аня, считаю ниже своего достоинства к вам ревновать, поскольку вы для меня человек, стоящий на нижней ступени общественной лестницы, но тем не менее двери я вам больше не позволю открывать.

Конечно, я не стала от этого горевать, потому что, откровенно говоря, в конце концов плевала на них обоих».

Совершенно очевидно, что рассказ Касьяновой здесь и во многих других местах повести стилистически весьма схож с рассказами Зощенко 20-х годов (например, с «Веселой жизнью»; кстати, и приведенный выше отрывок взят из главы повести, названной также «Веселая жизнь», что может вызвать предположение о неслучайности такого совпадения). Так или иначе, но знаменитый прием никак не соответствует новой авторской задаче и дает эффект, противоположный желаемому...

Как видим, в середине 30-х годов литературный корабль Зощенко, набирая скорость, успешно плыл в прямо противоположном — относительно прославивших его 20-х годов — направлении.

А для продолжения сравнения скажем и о том, что как раз в 1936 году, когда Михаил Зощенко написал свое «Возмездие», другой Михаил — Булгаков приступил к «четвертой редакции» романа, получившего через год свое окончательное название «Мастер и Маргарита».

В эти годы Зощенко наиболее активно работал в жанре историко-биографической повести. Кроме «Истории одной жизни» и «Возмездия», он написал повести «Бесславный конец» («Керенский»), «Тарас Шевченко», а также «Шестую повесть Белкина» («Талисман»). К этому циклу относится и «Черный принц» — повесть о поисках на дне Балаклавской бухты затонувшего во время Крымской кампании английского парохода, на котором — по легенде — был большой груз золота.

Повесть «Керенский» (под этим названием она стала печататься в книжных изданиях после журнальной публикации) была приурочена Зощенко к двадцатой годовщине Октября. В ней он дает следующее объяснение появлению на исторической сцене России такого «не

государственного мужа», как Керенский:

«Он был представитель мелкобуржуазной, весьма вялой интеллигентской прослойки, которая вообще не могла играть самостоятельной роли в революции. Она лишь могла служить буржуазии или пролетариату. Она выдвинула то, что было в ее ресурсах. Конечно, она могла иметь более сильного и мужественного человека, но в пылу революции она выдвинула то, что в силу крикливости казалось наиболее энергичным и действенным. И это было заранее обречено на гибель.

Но если бы эта мелкобуржуазная прослойка и крупная буржуазия в целом выдвинула и более сильного человека, человека, предположим, с могучей волей, то результат был бы одинаковый, ибо и такому человеку не на что было бы опираться. Народ в огромном своем большинстве пошел за партией большевиков, которой руководил В. И. Ленин».

А в личном плане Керенский характеризовался так:

«В своем физическом облике он был сын своего времени — типичный представитель дореволюционной интеллигенции: слабогрудый, обремененный болезнями, дурными нервами и неуравновешенной психикой.

Он был сын и брат дореволюционной мелкобуржуазной интеллигенции, которая в искусстве создала декадентство, а в политику внесла нервозность, скептицизм и двусмысленность.

Он был слабый и безвольный человек».

Здесь ясно видно, что повесть писалась усредненным языком, соединявшим сниженные общелитературные нормы с разговорной речью и газетными штампами. Сказывалась установка, которую Зощенко объявил в своем выступлении в ходе «дискуссии о формализме», проходившей во всех творческих организациях после грозной статьи в «Правде» — «Сумбур вместо музыки» — по поводу оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Это выступление Зощенко неоднократно печаталось потом как статья под заголовком «Литература должна быть народной». Зощенко утверждал в ней, что литература должна иметь в виду «читателя нашего времени, а не... читателя, умершего до революции, питающегося главным образом сугубо интеллигентской литературой, — психологической и декадентской». Но на деле эта, казалось бы, такая понятная и демократичная цель оборачивалась умалением художественности вообще, понижением критериев, заданных в литературе ее классическими образцами.

Содержанием повести «Керенский» стали сто десять дней его пребывания во главе Временного правительства как министра-председателя

и Верховного главнокомандующего. Рассказывая о нем и его премьерстве, Зоценко опирался на опубликованные материалы (в том числе на записки самого Керенского, которые он писал и печатал тогда отдельными частями за границей) и на свои собственные впечатления и наблюдения очевидца, находившегося в Петрограде с марта по сентябрь 1917 года до отъезда в Архангельск. Безусловно, ему самому доводилось видеть и слышать Керенского, а также говорить о нем со многими людьми. И этот штатский Верховный главнокомандующий, «штафирка», судебный оратор, взявшийся возглавить армию, а затем и государство, по пристальному его рассмотрению не вызвал к себе симпатии у офицера-фронтовика, провоевавшего в окопах два года и ставшего командиром батальона.

И по возвращении из Архангельска, когда вся прежняя жизнь рухнула, а несостоявшийся спаситель Отечества был уже за границей, Зоценко написал о Керенском фельетон, как о человеке, у которого «много слов, бездна слов и нет смелой дерзости, дерзости властелина, дерзости творческой и непримиримости к врагам своим». И далее о нем говорилось: «Душа его — маленькая накрашенная кокетка. <...> Мы очень помним нарядные его фразы, слова, четко отрывистые и подчас громкие, они впивались чаще в воздух, чем в сердца наши. Мы еще помним его урок, урок политического бессилия. Его же бессильные руки чаще делали преступление, чем благодеяния». Фельетон назывался «Чудесная дерзость». И проявили эту вожделенную «чудесную дерзость», как увиделось тогда Зоценко, именно большевики. Напомним, что в то время Зоценко находился под сильным влиянием Ницше и держал в душе образ сильного человека, *сверхчеловека*, который должен быть «смыслом земли». Так что в тот момент он презирал Керенского, вероятно, не столько даже по идейным побуждениям...

Конечно, в своей повести о Керенском Зоценко постарался придать изложению событий необходимую для повествования объективность. Но о большевиках там почти ничего не говорится — все действие идет по другую сторону схватки. И поскольку все усилия Керенского окончились крахом, автор мог себе позволить этот спокойный тон с достаточной долей сарказма по отношению к своему незадачливому персонажу.

Несколько ранее «Керенского», к юбилейному сборнику в честь 15-летия ЭПРОНа (Экспедиции подводных работ особого назначения), отмечавшегося в 1936 году, Зоценко написал «исторический очерк», как он сам определил сначала жанр «Черного принца», издававшегося затем как повесть. Но язык и стиль произведения были действительно очерковыми. Вот концовка этой повести:

«Так или иначе, у всех желающих найти легендарное золото были тяжелые поражения и большие потери.

Что же касается Экспедиции подводных работ особого назначения, то, вопреки всему, поражения не последовало. И хотя золото „Черного принца“ и не было найдено, зато было найдено то, что давно превысило огромные суммы, каковые желали найти искатели морского клада.

За пятнадцать лет работ Эпроном были подняты со дна моря двести пятьдесят судов, из которых больше половины восстановлено и бороздят воды морей и океанов.

Помимо судов, Эпрон дал нашей промышленности сто сорок тысяч тонн металла, поднятого с морского дна.

И в свете этих дел меркнет сияние легендарного золота „Черного принца“».

Очерковый, описательный характер имела и повесть «Тарас Шевченко», написанная сразу же после поездки в Киев весной 1939 года на торжества по случаю 125-летия со дня рождения поэта, где Зоценко был одним из главных выступающих. Охватывая всю трагическую жизнь Шевченко, повесть о нем, естественно, рассказывала и о крепостничестве, и о солдатчине, тяготы которых он испытал на себе, и о прочих унижениях и ущемлениях, выпавших на долю великого «мужицкого поэта» в царскую эпоху.

Эти свои повести Зоценко не «записывал» ни на какого подставного автора (за исключением «Шестой повести Белкина»), не писал их от лица своего типизированного сказчика и не предоставлял в них герою право самому рассказывать собственную историю. Они писались напрямую автором по фамилии Зоценко, старательно изучавшим «материал» (например, он около полугода знакомился с работой ЭПРОНа, с водолазным делом, выезжал на места производимых работ) и затем профессионально передававшим этот «материал» читателю в виде литературного произведения. Но — странное дело! — именно в этих повестях не стало вовсе самого Зоценко с его неповторимым блистательным талантом, который и создал, прославил это имя. Эти повести могли принадлежать любому другому вполне заурядному автору. Кроме, опять-таки, «Шестой повести Белкина», написанной Зоценко к 100-летию гибели А. С. Пушкина, широко, на высшем государственном уровне отмечавшегося в СССР в 1937 году. В этой повести Зоценко, как бы в напоминание о себе-художнике, блеснул своим виртуозным даром стилизации, создав изящное художественное произведение, вполне соответствующее стилистике пушкинских повестей, записанных на Ивана

Петровича Белкина.

И тут соблазнительно было бы предположить, что и эти его заурядные повести могли быть стилизацией под неназванного автора-соцреалиста. Но они не были стилизацией, они писались всерьез, без тени игры, с полным старанием Зощенко «переделать себя», стать «как другие люди», и с отречением для этой цели от своего таланта...

30-е годы — пора, когда Зощенко было уже не до его таланта сатирика. А не писать вообще или писать «в стол» Зощенко не мог. Вот его признание, сделанное в одном из писем Е. И. Журбиной: «Я есть в некотором роде машина для литературных работ и весьма не сильный человек для жизни». Однако писать теперь, по-прежнему широко печатаясь, означало необходимость соответствовать требованиям власти, требованиям ее идеологических установок. И болезнь Зощенко, его ипохондрия, вызывая стремление к исцелению, продиктовала ему «смену курса литературного корабля» в сторону приемлемости и заурядности, чтобы быть «как все».

...И еще одно направление появилось в литературной деятельности Зощенко во второй половине 30-х годов. Начиная с 1937 года он все больше времени отдает рассказам для детей.

### **3. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

К началу тридцатых годов отношения Зощенко с женой вошли в тот противоречиво-устойчивый круг, который крепился общими насущными интересами и ставшими уже привычными житейскими связками и давал также каждому из супругов автономный выход вовне.

Сам Зощенко не вел дневники, и о его личной жизни известно по многочисленным свидетельствам других людей. Среди этих свидетельств, естественно, особое место занимают обширные воспоминания Веры Владимировны, которые фрагментарно опубликованы в трехтомном издании Института русской литературы (Пушкинский Дом) — «Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии» и которые частично, применительно к 20-м годам, уже нами цитировались. Оценивая эти воспоминания, публикаторы отмечают повышенную сосредоточенность мемуаристки на собственных душевных излияниях и упреках к мужу в ущерб ожидаемой полноте информации о нем самом; оговаривается также моральное право печатать записи интимного характера, поскольку самой Верой Владимировной даже «в статьи, явно предназначенные для печати,

включены сокровеннейшие страницы дневника, создававшегося в жанре „романа сердца“».

Имея это в виду, обратимся к опубликованным записям 30-х годов, в наибольшей степени характеризующим взаимоотношения в семье Зоценко.

Вот запись, сделанная летом 1930 года, когда вся семья находилась в сестрорецком Курорте:

«Сегодня „28 июля“ — 13 лет моей жизни с Михаилом. 13 лет назад произошло то, что „связало наши жизни“.

Жалею ли я об этом? Этот человек не дал мне счастья... Немножко „яркой страсти“ в молодые годы, несколько лет „обеспеченной“ жизни в зрелые — вот и все, что я от него имела.

Несколько „приятных“ разговоров с умным человеком — вот еще можно прибавить...

И это — все...<...>

Сегодня Михаилу 35 лет... Ведь „тогда“ — я „подарила ему себя“ — наивно и романтично.

Сегодня же я подарила ему  $\frac{3}{4}$  банки абрикосового варенья — на целую не могла уже достать абрикос. Он был очень доволен, наверное, не меньше, чем 13 лет назад... Подарила ему еще флакон одеколону — шипр, он любит, устроила „праздничный обед“ с пирогом. <...>

Михаил после обеда, несмотря на дождь, уехал на бега. Хотел вернуться вечером. Хотя бы он догадался — привез мне какой-нибудь подарок к сегодняшнему 13-летию... <...> Кстати — возвратившись из Москвы, из 1000 рублей, полученных из „Мюзик-холла“, он дал мне 200 р. Правда, мне было бы приятнее, если б он сам купил бы мне что-нибудь, привез бы из Москвы какой-нибудь маленький подарок...»

На страницах воспоминаний, относящихся к зиме 1931 года, есть такие строки:

«Михаил устает, худеет.

Обдумывает новую повесть, считает, что откроет ею какие-то новые горизонты. Я, по правде, „новых“ мыслей не вижу в ней. Но одно время он был страшно увлечен этой работой. Осенью — работал на заводах — в „стенной газете“ — тоже „общественная нагрузка“.

„Ревизор“ закрыт, он что-то делает в детском журнале — „Ленинских искрах“.

Увлекается он картами — покер, преферанс — и радио. Уверяет, что страстно любит музыку, кажется, — это правда. Последнее время разговаривает по телефону с „девицами“. Больше я не знаю о его жизни». (По поводу «новой повести» в 1971 году было сделано уточнение:

«Очевидно — „Возвращенная молодость“».)

Показателен летний эпизод 1931 года:

«Михаил получил путевку в Дом отдыха печатников в Новом Афоне. 26 мая выехали из Ленинграда. <...>

Вообще первое впечатление от Афона было самое неблагоприятное, тем более что обед в монастырской трапезной оказался ниже всякой критики, к тому [же] и сервировка, и ужасные, грубые подавальщицы, и совершенно „пролетарские“ соседи за столом, не умеющие даже прилично есть, — все это было так ужасно, что мы с Михаилом решили прожить здесь не более 10 дней, нужных для осмотра Афонских красот, а затем уехать в Гагры. <...>

Но... <...> уже на третий день неожиданно заболел Валя. <...> И мы с Михаилом по очереди дежурили около него, причем я обычно после обеда спускалась вниз, к морю — купаться, а Михаил всячески забавлял и развлекал мальчика — играл с ним в карты, в какие-то игры, читал ему и очень старательно измерял ему температуру, даже начертил в моей книжечке „кривую температуры“.

Когда Валя заболел, оставаться в нашей крохотной комнатке, к тому же залитой весь день горячим южным солнцем, стало совсем невозможно, и я настояла на том, чтобы Михаил похлопотал о более удобном помещении. И вот бедняжке Михаилу пришлось решиться на этот „отчаянный шаг“, что, разумеется, дорого ему стоило. Сначала невежественная регистраторша-абхазка в грубой форме отказала ему, к счастью, все же нашелся в Афоне „читатель и почитатель“ Зоценко и при его содействии мы, наконец, получили такую комнату, какую я себе наметила — большую, крайнюю, с 3 окнами в сад и на море. <...>

Лишь только у Вали установилась нормальная температура, Михаил уехал в Ленинград.

А после его отъезда начался мой „Афонский Декамерон“, мои „10 дней, которые потрясли мир...“. Я оказалась окруженной „поклонниками“, на море купаться я спускалась в обществе 6 или 7 мужчин, и они звали меня „нашей русалочкой“... <...>» (Как видно, и среди «пролетариев» отыскивались при надобности галантные кавалеры.)

Зима 1931/32 года.

«<...> Но во вторую половину зимы единственно, что меня немножко радовало, — это отношения с Михаилом... Правда, в них *нет ни нежности*, ни ласки, но он как-то много говорит со мной о своих делах (деловых, конечно), он как-то мягче, ближе и искреннее со мной...

25/1–32 г. Но и он меня беспокоит — он плохо чувствует себя,

перегружен работой, не дающей ни удовлетворения, ни больших денег... Он много нервничает, волнуется, беспокоится... <...>

Последние дни он говорил, что на него ожидается „гонение“ — об этом его предупреждают со всех сторон его друзья... Его будто бы думают обвинить „во вредительстве“ — м[ожет] б[ыть], поняли, что те „мещане“, над которыми он так смеется в своих книгах, не кто иной — как сам „пролетарий“ — краса и гордость революции.

М[ожет] б[ыть], их удивила та популярность, которой он пользуется за границей. Во всяком случае, сегодня было совещание цензоров и членов ГПУ по вопросу о Зоценке... Всё же они вывели заключение, что он — „порождение советской власти“ и только неправильны методы его работы — он не берет частные случаи, а обобщает... (между прочим, метод его работы — обратный).

Как бы то ни было, пока что он реабилитирован.

В сущности, и не могло быть иначе, т[ак] к[ак] в конце концов Михаил, конечно, „их“, да он и сам признает это, *только нет у него полной веры в этих людей, а потому и в исход их дела и их борьбы...*»

Однако в это же время у Веры Владимировны набирал силу ее роман с большевиком Н. К. Авдашевым, вторым секретарем Петроградского райкома партии. И на тех же страницах воспоминаний она продолжает, делая вкрапления из своего дневника:

«И через несколько дней я написала (6/II—32 г.): „Он (Н. К. Авдашев) был вчера... И нелепо в душе росла нежность и глаза говорили — люблю тебя, мой милый...“

Он говорил о том, что нужно пойти работать, стать „винтиком“ большой общей машины и тогда придет цель, смысл, радость и обновление...

Тогда не будет тоски и одиночества. <...>».

Далее идет следующая запись:

«А потом — разговор ночной с Михаилом — о том, что „они“ выбивают почву из-под ног, что „они“ не дают возможности творчески работать, что они загоняли человека, как несчастную, жалкую почтовую клячу, и что на стиле, на безжалостном, фанатически безжалостном отношении к человеческой жизни, они, как выражается Михаил, „ломают себе шею“».

Итак, большевик Авдашев, ставший ее любовником, призывал сделаться «винтиком» в общей машине, писатель Зоценко, бывший ее мужем, отстаивал человеческое отношение к людям и право на свободный творческий труд. (Публикаторы «Воспоминаний» дают такой, на наш

взгляд, чрезмерный комментарий этой ситуации: «В метаниях В. В. Зощенко между Н. К. Авдашевым и М. М. Зощенко есть что-то от героини Ф. М. Достоевского Настасьи Филипповны с ее дилеммой — Рогожин и Мышкин». Но Вера Владимировна была достаточно эгоистична и прагматична, чтобы не допускать саморазрушения и собственной гибели.)

К лету 1932 года Вера Владимировна выбрала и купила в Сестрорецке дачу. «Михаил был дачей доволен, но почему-то нервничал и хандрил, и не было между нами той чудесной дружбы и близости, как в лето 1929 года», — пишет она в воспоминаниях. И по возвращении осенью из Сестрорецка в Ленинград у них все более определенно пошло параллельное существование. О себе она написала: «<...>...началась моя „двойная жизнь“, и это было так сложно, так мучительно сложно и тяжело». Тогда же была сделана ею запись и о муже:

«Вот сейчас — он случайно встретил сестру своей „первой“ (и единственной) любви — Нади Русановой...

И начал бывать у нее...

Я уже видела у него 2 карточки Нади. Наверное, он написал ей... Хорошо еще, что она за границей. Нет, нет у него ко мне ни любви, ни нежности, ни дружбы...»

Но тут же Вера Владимировна сообщает о собственных «новых увлечениях». У нее — своя отдельная от мужа компания, «наш кружок». Там некий прежний знакомый представил ей своего гимназического товарища, писавшего стихи, который становится ее «придворным поэтом». Отметив, что «романа» между ними «никогда не было», она называет, уже без этой ремарки, фамилии еще двух-трех лиц, в том числе аккомпаниатора в Доме культуры по имени Модест (мать которого она поселила даже в их с Зощенко квартире, в комнате сына)...

А Зощенко той же осенью уезжает в Коктебель, чтобы — после усиленной работы над «Возвращенной молодостью» — «попробовать в первый раз основательно отдохнуть», как объяснял он жене в письме. В Коктебеле он редко получал от нее ответные письма, что послужило очередным поводом для их размолвки. Касаясь этого инцидента, Вера Владимировна дает довольно полную картину своих тогдашних забот, дел и переживаний:

«Очевидно, надо было писать чаще, но замотали дела и всякие неожиданные „переживания“. Каждый день приходилось заниматься с Валей, ходить по делам — без конца в Госиздат за деньгами — надо было продать мою старую дубовую спальню и на эти деньги купить вещи для Михаила, а для этого ходить по комиссиям. Надо было отдать в чистку

халат Михаила, заказать „шляпки“ у Лapidус... ходить в ЖАКТ на совещания... <...>

И, конечно, ссориться и мириться с Модестом...

И, конечно, приходил Николай...

Вскоре же после моего переезда в город...

Позвонил и пришел... Я, конечно, вызвала Шуру... Сначала сидели втроем... Как-то объяснил свое летнее молчание... Потом — Шура ушла в час, а он в 7 утра...

„И хорошо, и глупо, и не нужно, и жаль бросить. Полная неразбериха и тупик...“ — так записала я эту встречу в своей „ежедневке“... <...>

Как странно — только с ним, с „большевичком“, с таким простым, простым человеком, мне, изломанной интеллигентке, было по-настоящему хорошо...»

Но роман «изломанной интеллигентки» с «большевичком» тоже не обошелся без трудностей выбора. И Вера Владимировна записала: «Ради Михаила, ради его спокойствия, ради „призрака семьи“, я оттолкнула человека, который стал мне так нужен!»

И вот как она описывает окончание этого своего романа:

«А в вечер нашей последней встречи (с Николаем) случилось непоправимое... случилось то, что навсегда надломило нашу жизнь с Михаилом... подорвало его веру в меня и в мою любовь к нему... что стало трагедией всей моей последующей жизни... Забывшись в тот последний вечер, я сделала непоправимую ошибку... Я не могла отказать в близости любимому, думая, что теряю его навсегда, что навсегда расстаюсь с ним...

А Михаил... Михаил был за стеной. И он все понял...

Когда Николай ушел, какой мучительный, какой тяжелый разговор с Михаилом пришлось мне вынести. Я знаю — в этом, в последнем — я была не права перед ним, я не пощадила его гордости, его мужского самолюбия — в его доме, почти на глазах я отдалась другому!..

Это было нехорошо, я не имела права так забытья... Но что же делать — это было сильнее меня...

Но во всем остальном я права. Во всей своей жизни — права!

Я всегда хотела от Михаила одного — любви... Он ее мне не давал... Никогда не давал...

И вот, когда, проводив Николая и Шуру в передней, я зашла к Михаилу, как я помню его саркастическую усмешку и его злые, но справедливые упреки... Что я могла ответить?

„Ты любишь его“, — говорил Михаил...

Что могла я ответить?

„Не знаю, ничего не знаю... И он уезжает... уезжает надолго, может быть — навсегда... О какой любви можно говорить за 2000 километров? Все пройдет, все забудется... А сегодня — жалость у меня к нему была, и не могла отказать... за его любовь, за 4 года его любви“.

Так говорила я...

И, действительно, — разве я что-нибудь знала тогда?

Все было так страшно сложно, так неразрешимо! <...>

В общем, жизнь пошла по старому руслу, и снова была близость с Михаилом...»

Да, кардинальных перемен в их семье не произошло. Но Зощенко, как пишет Вера Владимировна, потом «часто поднимал мучительные разговоры». Она приводит его слова в одном из таких разговоров (осенью 1934 года): «Он говорил, что не может и не хочет жить с женщиной, которая любит другого, что он не такой маленький и ничтожный человек, чтобы пойти на это, что он не согласен делить свою жену с „хамом“, что тут классовая гордость — он — „римлянин“, а тот — „варвар“». Еще один пример незащищенности таланта от душевных ран...

Сама Вера Владимировна в это время старалась больше заботиться и помогать мужу: «И Михаилу, пожалуй, не в чем было меня упрекнуть — я делала для него все, что ему было нужно, — убирала его комнату, делала для него покупки, ходила по его делам — например, заказывала железнодорожный билет в Коктебель, ходила в Горком за путевкой. И, конечно, печатала ему...»

А Зощенко в те годы много ездит по стране — выступления перед читателями в разных городах, «экскурсия» (как записано у Веры Владимировны) на Беломорканал, дома отдыха на юге. Побывала вместе с сыном в Коктебеле в 1933 году и Вера Владимировна — познакомилась там с Андреем Белым, Мандельштамом, Лавреневым и их женами. Но были там и молодые люди, с которыми она ходила пешком в Старый Крым, «гуляла по морю»...

В этом устоявшемся стиле жизни семьи сохранялись и свои «неприятности». Одной из их причин были частые денежные «перетраты» Веры Владимировны, которая писала в свое оправдание: «...но ведь так трудно было все учесть! Тут бывали и лишние гости, иногда — лишние покупки, а ведь зарабатывал он тогда достаточно, и, право, совсем не стоило браниться из-за таких пустяков». Зощенко, понятно, считал иначе. Болевой точкой для него оставались и поклонники жены. В конце 1934 года Вера Владимировна записала по этому поводу:

«И вдруг неожиданно неприятности с Михаилом. <...>

Может быть, он обратил внимание на мои встречи с Борисом, может быть, решил, что отношения с Николаем у меня кончены, и в Борисе видел моего любовника? Борис был красивый, очень интеллигентный, воспитанный человек, сын екатеринославского миллионера — еврея... И он „ухаживал“ за мной в течение 5 лет...»

Об этих «неприятных» сторонах их жизни она весьма откровенно и трезво рассказывает в январской записи 1936 года: «В „Доме печати“ ставилась его пьеска — „Муж, жена и другие“, где, кстати, роль актера играл „мой“ Левушка, и он рассказывал, что Михаил усиленно ухаживал за какой-то актриской, а они, актеры, подсмеивались над ним — „разыгрывали“, на что он ужасно обижался...

Одним словом — стоило ли мне так уж корить себя за свое поведение? 25/1. Недавно (третьего дня) говорила с ним до 5 часов утра...

Он говорил, что, когда женился на мне, думал, что я принесу ему в жертву всю жизнь... что я буду беззаветно любить его и его искусство...

А я хотела, чтоб меня любили!..

В этом вся „роковая“ ошибка.

Он говорил — „я был очень „маленький“, когда женился на тебе, я не перебесился, я знал очень мало женщин, и когда я понял, что не должен был жениться, я от вас уехал, стал жить один. Я хотел чувствовать себя свободным, не связанным ничем и никем. Может быть, нам нужно было тогда разойтись...“

(Хорош бы он был, если б разошелся со мной тогда! Прожив с женщиной все самые трудные годы с 1917–1922 гг. — оставить ее и ребенка, лишь только вышел на „широкую дорогу“... Нет, он все-таки был достаточно благородным человеком, чтобы не поступить так!) (В. 3. 71 г.)

Ах, как далека еще до идеала наша жизнь! Ведь если б я работала — тяжелым педагогическим трудом, при полной нагрузке, не имея ни минуточки свободного времени, я могла бы заработать максимум рублей 500 — „прожиточный минимум“.

300 р. — еда (очень скромно). 100 р. — комната, отопление, освещение, 50 р. — стирка, услуги, мелочи — на одежду, развлечения и прочее оставалось бы максимум 50 р. Как живут люди, как можно жить — для меня загадка. <...>».

(В связи со сделанной Верой Владимировной в 1971 году ремаркой к этой дневниковой записи, воспроизведенной в «Воспоминаниях», напомним, что согласие на брак с Зоценко она дала только в 1920 году после его вторичного предложения. А о зарботке «тяжелым педагогическим трудом» она знала не понаслышке — до брака с Зоценко

работала учительницей начальных классов и воспитательницей в сестрорецком Курорте.)

Следует отметить, что Вера Владимировна и при жизни Зощенко, и после его смерти при написании «Воспоминаний» вела с ним свой непрерывный спор. Вот еще одна ее ремарка:

«А м.б., — если бы не материнство и не такая трудная, сложная жизнь, в которой пришлось мне жить, я могла бы быть писательницей... Совсем маленькой, правда, но все же — писательницей... Или актрисой. Да, актрисой... И все это я растеряла... И как я прожила? Только женой „знаменитого писателя“... Только женой... В.З. 70 г.»

Публикаторы ее «Воспоминаний» высказывают мнение, что постоянные претензии Веры Владимировны к своему супругу «вызывают в конечном счете не осуждение, а скорее сочувствие к одинокой и трагической фигуре М. Зощенко. Очевидная неудача в семейной жизни лишь отягощает и без того драматическую судьбу писателя».

Конечно, очень хотелось бы, чтобы рядом с Зощенко, пользовавшимся огромной славой и любовью несметной массы читателей, оказалась женщина, которая в полной мере понимала его писательский масштаб, беззаветно любила его таким, каков он был, была бы ему женой-помощницей, женой-вдохновительницей, женой-подвижницей. Как Анна Григорьевна Достоевская, как Елена Сергеевна Булгакова...

Но чтобы воссоздать на основе множества опубликованных материалов целостную картину его жизни, требуется, по возможности, понять — *почему* эта жизнь в главных ее компонентах сложилась так, а не иначе. И если трагичная писательская судьба Зощенко с ее блестящими успехами, разочаровывающими спадами в заурядность, и обрушившимся на него в конце концов государственным гонением и ошельмованием (именно за вершинные произведения) связана напрямую с советской эпохой, в которую он жил, то истоки его семейной планиды надо, наверное, искать в первую очередь в нем самом, в формировании его личности.

В многолетней, исключительно сердечной и дружественной переписке писательницы Мариэтты Шагинян с Михаилом Зощенко (также опубликованной в посвященном Зощенко трехтомнике «Материалов к творческой биографии») есть ее письмо 1928 года, которое затрагивает «семейный» аспект. В этом письме вроде бы в общей форме Шагинян изложила по поводу семейной жизни мысль, ставшую для Зощенко пророческой. Мысль эта была, видимо, ответом на его сообщение о том, что он теперь живет вместе с семьей. И Шагинян написала:

«Что Вы живете с семьей, это не плохо. Это научит Вас *истинному*,

скрытому, мужественному одиночеству. А холостая жизнь отучает от него. Это не парадокс, живой опыт».

Здесь особую значимость ее словам придает то, что известный ей «живой опыт», то есть некая познанная закономерность, направляется конкретно на Зощенко как на личность, которой этот опыт — «истинного, скрытого, мужественного одиночества» — необходим, соответствует его натуре и писательской судьбе. И с этой точки зрения Вера Владимировна делается той женщиной, которая укрепила в нем тягу к одинокому существованию даже в семейных рамках. Но, как известно, практический путь всегда намного тернистей предполагаемого...

И все же остается вопрос — как образовалась эта одинокость в душе Зощенко, где ее корни и что способствовало формированию этой его поведенческой особенности? Понимая всю сложность и зыбкость ответов, назовем возможные причины. Во-первых, это наследственная предрасположенность к обостренному индивидуализму: мать Зощенко говорила о том, что у «него вылитый характер отца», а характер этот, как она утверждала, был трудный, закрытый. Затем, это — война, фронт; это — глубокая травма от оборвавшейся первой юношеской любви; и это — сильная увлеченность в молодости Ницше, который был тогда для многих, в том числе для Зощенко, властителем дум. Ничто в нашей жизни не проходит бесследно.

#### **4. «ПИР» И «ЧУМА»**

То были годы, когда идеология и страх изменяли нормы и принципы человеческого поведения, когда единомыслие и единогласие представлялись высшими проявлениями свободы и совести, когда подлинная действительность воспринималась многими людьми в преломленном, нереальном свете, по предписанному истолкованию. Но в то же самое время шла привычная, повседневная жизнь со своими у каждого человека заботами, целями, успехами, радостями и трудностями.

И все эти сложности, искаженности советского бытия так или иначе выражались в поведении Зощенко, благополучного советского писателя и советского человека тех лет.

Сразу по возвращении из четырехдневной поездки на Беломорканал его избирают председателем группкома ленинградских драматургов. Его имя постоянно присутствует в газетной хронике литературной и политической жизни. У него часто берут интервью. Одна из обширных бесед с ним в

«Литературном Ленинграде» озаглавлена «О моей трилогии». А его выступление в Доме писателя в связи с идеологической «дискуссией о формализме», как уже говорилось, было напечатано в этой газете под броским заголовком «Литература должна быть народной». Здесь же подробно освещается ход обсуждения его повести «Возвращенная молодость». В составе делегации Союза советских писателей он возлагает венок и стоит в почетном карауле у гроба С. М. Кирова, члена Политбюро, первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), члена ЦИК СССР. Зощенко подписывает коллективное письмо «Писателям революционной Испании».

После убийства Кирова в декабре 1934 года, тотчас объявленного злодейским актом троцкистов, вал политических репрессий в стране быстро достиг своей наивысшей силы и жестокости. В Ленинграде проводились массовые аресты. А в 1936 году начались организованные судебные процессы над крупными деятелями из так называемой «ленинской гвардии», в которых Сталин видел своих возможных соперников или считал их недостаточно близкими и преданными лично ему. Громогласное одобрение процессов и обнародованных на них обвинений проходило повсеместно — на собраниях во всех трудовых и профессиональных коллективах, в учреждениях и учебных заведениях. Требование везде было единое — «Никакой пощады!».

И Зощенко также выступает на общем собрании ленинградских писателей в январе 1937 года — вместе с М. Чумандриним, А. Прокофьевым, Л. Соболевым, В. Саяновым, Б. Лавреневым и многими другими, — газетный отчет о котором дается под шапкой «Смерть троцкистским извергам — изменникам родины». В отчете приводятся и его гневные слова: «Ни о какой жалости не может быть и речи! Я, считавший себя знатоком человеческой совести, никогда не предполагал, что можно совместить столько подлости и грязи, сколько совмещали в себе Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков и другие фашистские наймиты». И под резолюцией собрания с требованием «расстрелять всю фашистскую шайку» стоит его подпись. И в том же номере «Литературного Ленинграда» — его отдельная статья: «Суд сурово покарает преступников». В ней Зощенко пишет: «История не знает примеров более тягостных. Границы между троцкистом, диверсантом и фашистом окончательно стерлись. Поражает полная аморальность участников блока. У них даже нет и не было спайки между собой». Все это говорится и пишется им, как и всеми другими, до суда, только с подачи официального агитпропа...

Однако наряду с этими общественными выступлениями он вместе с

Верой Владимировной оказывает помощь попавшим тогда в беду людям.

В 1936 году в Ленинграде был арестован Н. К. Авдашев, секретарь Петроградского райкома ВКП(б), тот самый «большевичок», с которым у Веры Владимировны несколько лет продолжался наиболее приятный из ее романов. Авдашева осудили и отправили в лагерь за «троцкистский уклон». Как вспоминает одна из его дочерей — Нинель (названная так в честь Ленина), Зоценко тогда пригласил жену Авдашева к себе и старался ее поддержать, ободрить. Но через год арестовали и ее. У Авдашевых было трое детей. Двух несовершеннолетних девочек, как детей «врагов народа», отправили, по тогдашней практике — разлучив, в детские дома. Шестнадцатилетний мальчик остался один. «И вот семья Зоценко не побоялась „пригреть“ врага. А нам, его сестрам, посылались посылки, деньги, не проходило месяца, чтобы мы не получали от Веры Владимировны письма», — вспоминает Нинель. И когда она «отбыла свой срок в детском доме и вернулась в Ленинград», ее снова приняли в семье Зоценко и поселили на только что купленной в 1939 году новой даче, где они и сами жили тем летом. Все обиды и сложности во взаимоотношениях с женой, шедшие от ее связи с Николаем Авдашевым, не помешали Зоценко принять участие в судьбе его детей.

Волна арестов 1937 года не обошла и писательский дом на канале Грибоедова. Целый ряд литераторов попали в ГУЛАГ, а переводчик Валентин Стенич, близкий друг Зоценко, и поэт Борис Корнилов были в заключении расстреляны. О смерти Стенича тогда, в 1938 году, Зоценко не знал: в официальной справке значилось, что он осужден на 10 лет дальних лагерей без права переписки. Указывалась и точная дата высылки из Ленинграда — число, месяц, год. А в действительности Стенич был расстрелян за двое суток до этой даты. Но Зоценко, веривший, что Стенич еще жив, в 1940 году, когда вал репрессий снизился, обратился в НКВД с письмом, в котором просил о пересмотре его дела: «Было бы справедливо вернуть его к его работе. Я не сомневаюсь, что он был бы ценным и полезным членом среди советских литераторов»... Помогал Зоценко в это время семьям даже тех писателей, с которыми до того был мало знаком. Так, узнав об аресте поэта Николая Заболоцкого, он пришел к его жене и принес ей деньги.

Несомненно, в той химерической действительности, пронизанной страхом и ожиданием беды, когда каждый человек, не ведая за собой греха, прислушивался по ночам к «громыханию черных марусь», как написала потом Анна Ахматова в своем «Реквиеме», Михаил Зоценко понимал, что и в его дверь может раздаться злосчастный стук. Невзирая на «смену

литературного курса», у него оставалось еще немало критиков. И в биографии были компрометирующие пятна — бывший офицер царской армии, дворянское происхождение. И хотя сам он после Октября воевал в Красной армии, но его брат Владимир оказался в белой, а затем и за границей, где-то на Балканах. В 1927 году Владимир написал ему два отчаянных письма с просьбой помочь вернуться в Россию. Зощенко начал было тогда добиваться такого разрешения, но переписка вдруг оборвалась, и ничего больше о судьбе брата Зощенко не знал. Теперь, во второй половине 30-х годов, этот факт представлял для него реальную опасность. И еще одна заграничная угроза висела над ним дамокловым мечом. В 1927 году в дневнике Веры Владимировны была сделана следующая запись слов Зощенко: «Говорил он еще о том, что приехавший из Парижа Слонимский сообщил о том, что за границей огромная популярность Зощенки, что эмигранты считают его единственным писателем, дающим настоящее, неподдельное и отвратительное лицо Советской России, что там устраиваются вечера „Уважаемых граждан“». (Подчеркнуто Верой Владимировной.) Никаких политических обвинений по этому поводу тогда не последовало. Теперь, десять лет спустя, популярность у «белоэмигрантов» могла быть инкриминирована ему как связь с ними и подпольная враждебная деятельность, шпионаж и все прочее. Так что весь этот груз прошлого Зощенко постоянно надо было держать в уме...

И в середине 1937 года он печатает в «Ленинградской правде», органе обкома ВКП(б), большую статью «Четыре письма А. М. Горького» — о письмах Горького к нему, Зощенко, с публикацией самих текстов. В момент девятого вала репрессий он, видимо, счел необходимой такую защитную публикацию. Вкупе со всеми другими обстоятельствами она, наверное, также помогла ему остаться в неприкосновенности.

И весной 1938 года он с триумфом приезжает в Москву. «Писатель Мих. Зощенко сегодня утром „Красной стрелой“ приехал в Москву. Михаил Зощенко рассказал нашему сотруднику о своих творческих планах...» — сообщила «Вечерняя Москва». В Московском клубе писателей устраивается вечер в его честь, его приветствуют А. Толстой, С. Кирсанов, П. Павленко. А ленинградские писатели выбирают его в этом году в новый президиум своего Союза. Затем, в феврале 1939 года в газетах публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении советских писателей». В их числе — Зощенко, награжденный орденом Трудового Красного Знамени.

И снова — его творческий вечер в Ленинграде, сообщения о литературных концертах, на которых знаменитые Игорь Ильинский и

Владимир Яхонтов читают его знаменитые рассказы, опять интервью, встреча с партийным и комсомольским активом, где собралось более 700 человек...

Конечно, он широко издается. Переиздаются и его прежние рассказы. В июне 1940 года «Литературная газета» даже сообщает: «В ближайшее время поступит в продажу юбилейное издание рассказов Мих. Зощенко „Уважаемые граждане“, выпущенное издательством „Советский писатель“». Книга включает лучшие произведения Зощенко и является как бы творческим отчетом писателя за пятнадцать лет работы — с 1923 по 1938 г. Издание прекрасно оформлено и иллюстрировано автолитографиями Евг. Кибрика». Поразительный факт — вновь «Уважаемые граждане»! А из его новых произведений для детей отметим вышедшую книгу «Рассказы о Ленине». О ней он говорил на Ленинградской комсомольской конференции: «Я попробовал свои силы в труднейшей теме — написал 12 рассказов о Ленине. Причем рассказы эти написаны по фактическому материалу. В каждом рассказе показана та или иная черта характера великого человека. Сложенные вместе, рассказы эти должны были дать образ великого человека».

Но несмотря на его новые произведения, на глубококомысленные «Возвращенную молодость» и «Голубую книгу», на идеологически выдержанные биографические повести, несмотря на пьесу «Опасные связи», в которой органы НКВД разоблачают «врагов народа» из антипартийной оппозиции, — ореол изумительного юмориста и сатирика стойко сопровождал Зощенко повсюду и в 30-е годы. Все помнили его заразительно смешные рассказы 20-х годов, их ответ ложился на все последующие его сочинения и на него самого. И какую бы «положительную» книгу 30-х годов ни обсуждали читатели на вошедших в общественный обиход читательских конференциях, они шли посмотреть на автора тех рассказов. Сложны, причудливы, противоречивы повороты и переплетения нашей жизни. И, может быть, все, что он сочинял в 30-е годы, имело также своей функцией прикрыть написанное в 20-е... Однако тут неизбежно возникает вопрос о цене прикрытия. Но — вся страна была охвачена пандемией страха, гнездившегося в людских душах, вирус которого образовывал самые различные «штаммы».

Он подошел к Великой Отечественной войне, сделав, казалось, все, что делали завзятые советские писатели. Обстоятельства окружающей действительности, миропонимание, здоровье, надежды, заблуждения, страх, самообман, потребность стабильности, желание успеха, чувство

самосохранения — сколько внешних и внутренних сил своим одновременным воздействием правят человека в ту или иную колею... Единственное, что Зоценко не смог или не успел тогда сделать, это сочинить книгу о Сталине.

И все-таки была у него одна работа, одна рукопись, которую он не сумел закончить в это свое советское десятилетие. Которая не поддавалась ему в тот срок, увернулась от него тогдашнего, отложились в той суете, осталась в столе. Называлась она тогда «Ключи счастья». А впоследствии стала повестью «Перед восходом солнца», которую он полагал своей главной книгой.

## 5. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Среди всех любовных увлечений Зоценко одна связь была у него и длительной, и особенно глубокой. Хотя начиналась, как и прочие.

В 1935 году в Гослитиздате, располагавшемся на одном из этажей знаменитого Дома книги, он познакомился с Лидией Александровной Чаловой. Она работала там художественным редактором, ей было тогда 22 года, и она была замужем.

А Зоценко исполнился 41 год, он был на девятнадцать лет старше Чаловой. Вот как она сама описывает начало их знакомства:

«Мы стали видеться — Михаил Михайлович и я с мужем. Ходили в Дом кино, в театр. В 1938 году мой муж (он был инженер, работал в оборонной промышленности) трагически погиб, испытывая какое-то взрывное устройство. Мне было очень плохо, и Михаил Михайлович, чтобы помочь мне прийти в себя, стал часто бывать у нас вечерами. В моей комнате был камин, Михаил Михайлович садился возле него в кресло и занимал меня разговорами о повести, которую писал и которую называл „Ключи счастья“. Он мог говорить о ней без конца. На протяжении всех предвоенных лет он только о ней и думал, только о ней и говорил. Это была постоянная тема его разговоров».

Следует отметить, что обычно Зоценко мало рассказывал о своих творческих замыслах женщинам, которыми увлекался. Он изящно ухаживал за ними и приятно проводил время, отдыхая вместе с тем от своей писательской работы. И уже одно то, что с Лидией Чаловой он изменил этому правилу, указывает на особенность установившихся у них отношений.

И далее Чалова пишет:

«Но, конечно, участие Михаила Михайловича в тогдашней моей жизни не ограничивалось только умными беседами у камина. В то время модно было ходить на футбол. И мы ходили. Иногда в компании с Д. Д. Шостаковичем и В. В. Лебедевым. Они были настоящие болельщики. Шостакович „болел“ отчаянно, вел себя как мальчишка — вскакивал, кричал, размахивал руками. А Михаил Михайлович болельщиком не был. Он вообще не был азартным человеком. Хотя ходил не только на футбол, но и на бега. И в карты играл. Вот что он действительно любил, так это карты — любил раскладывать пасьянсы, гадать. Мне казалось, что он всерьез верит в гадание на картах».

У Зоценко, как известно, было обостренное чувство собственного достоинства, и он не старался как-то маскировать свои отношения с Чаловой. Его ухаживания за нею запечатлела в своих воспоминаниях С. Гитович, жена молодого в то время поэта Александра Гитовича:

«Я сижу на широком подоконнике в Доме книги и жду Саню. Скоро конец рабочего дня. <...>

Вот по длинному коридору в расстегнутом пальто и темной кепке медленно идет Михаил Михайлович. В вывернутой руке, как оружейный приклад, он держит тугой колючий ананас, издали похожий на черепаху.

Тогда ананасы были в диковинку, и все встречные с интересом смотрели на Зоценко, на большой с прозеленью ананас и знали, что он его несет старшему техреду, роковой женщине — Лидочке Чаловой. Любопытные сослуживцы, как бы невзначай, проходя, открывали дверь и заглядывали в комнату техредов, и мне сквозь раскрытую дверь был виден заваленный бумагами стол, и на гранках, как бронзовый идол, стоял ананас, а над ним маячило розовое, хорошенькое личико Чаловой.

Напротив ее стола сидел Михаил Михайлович — подтянутый, изящный, вежливый, смотрел на нее печальными глазами и, улыбаясь, ей что-то говорил.

Потом я видела, как Лидочка надевает синюю поддевичку с серой мерлушкой и, сунув Михаилу Михайловичу свой портфель, в одну руку берет ананас, а другой цепляется за рукав Зоценко и, смеясь и что-то щебеча, уводит его коридором Госиздата». (Вероятно, определение «роковая женщина» приложилось к Чаловой после гибели ее мужа.)

И вот еще один, более поздний, «снимок», оставшийся в памяти Евгении Хин, которая познакомилась с Зоценко в поезде, направляясь, как и он, в Дом творчества в Коктебеле, где они затем много времени проводили в совместном общении:

«Я увидела его в первый раз в июне 1938 года на перроне вокзала у

поезда „Ленинград — Феодосия“. Не зная его имени, я обратила внимание на темное, как будто закаленное в огне лицо, выразительные, прикрытые тяжелыми веками глаза, усталую, в чем-то очень грустную улыбку. Он прохаживался по перрону с молодой женщиной, звонко болтавшей рядом, и мне показалось, что, несмотря на внешнюю учтивость, он не слышит ее, а занят какими-то своими, очень важными для него и не идущими к обстановке мыслями.

...этот беспечно прохаживающийся, невысокий, скромно, но изящно одетый человек, так отчетливо углубленный в свои мысли, все больше привлекал мое внимание.

Протрещал звонок, забегали носильщики, заторопились опаздывающие пассажиры. Незнакомая пара прощалась под моим окном. Вдруг, к моему удивлению, женщина поцеловала руку своему спутнику, а затем стала целовать другую — и еще, и еще. И он, мягко и снисходительно улыбаясь, тоже прикоснулся губами к ее руке. Так они прощались „потиурецки“, и этот необычный жест еще более заинтриговал меня.

— Это — Зоценко! — сказал кто-то сзади. И мое любопытство, столь возбужденное, получило свое оправдание.

Вряд ли был в ту пору писатель в Советском Союзе более популярный, чем Зоценко». (Е. Хин кратко записала около пятидесяти устных рассказов Зоценко, которые услышала от него тем летом в Коктебеле, и несколько из них в восстановленном виде опубликовала после его смерти. В ее воспоминании Л. А. Чалова не названа, но со всей вероятностью можно полагать, что тогда на перроне была именно она.)

Бликие отношения Зоценко с Лидией Чаловой длились четырнадцать лет (при том, что обычно его романы были непродолжительны). Ее в высшей степени достойно написанные воспоминания о Зоценко, естественно, много говорят и о ней самой — в них раскрывается исключительно тактичная, добрая, преданная и любящая женщина, глубоко понимавшая особенности его характера и не требовавшая от него никакого официального узаконения своего положения (хотя во время войны были периоды, когда они жили вместе). Видимо, именно с нею он чувствовал себя наиболее удобно, спокойно, и рядом с нею у него все совместные годы был второй дом.

Имеется фотография, любительский снимок, сделанный в одном из обжитых дачных мест под Ленинградом на берегу Финского залива. Под снимком рукою Зоценко написано: «1940. Ленинград. Лето. (Станция Ольгино). Рядом — Лидия Александровна Чалова». Чалова на снимке оказалась сбоку, сидит в шезлонге, в тени, и видна плохо. И неназванный в

подписи их гость снят почти что со спины. А вот Зощенко — в центре, он полулежит около Лидии Александровны, лицо у него спокойное, очень мирное, с легкой полуулыбкой...

Это было за год до начала Великой Отечественной войны.

Однако и официальный семейный дом Зощенко продолжал жить своей устоявшейся жизнью. Здесь он работал, следил за возмужанием сына, и при всем том непререкаемо сохранял свою полную личную независимость.

Связь с Лидией Чаловой действительно выделялась из всех прежних романов Зощенко. Но — не прекратила его попутные амуры.

В том самом июне 1938 года, когда Чалова провожала его в Коктебель, он, по прибытии в эту свою «обитель сердца», пишет письма студентке строительного техникума Ольге Шепелевой, которая в то время готовилась в Ленинграде к защите диплома. Это была симпатичная молодая девушка, успевшая уже выйти замуж, пристрастившаяся к чтению книг и посещавшая литературные вечера. Среди любимейших ее писателей был Михаил Зощенко. А увидев Зощенко воочию на одном из таких литературных вечеров, она влюбилась в него самого. И он не лишил себя этого нового подарка жизни.

Имеется двадцать опубликованных писем Зощенко, посланных Ольге Шепелевой в период с июня 1938 года по сентябрь 1939-го. Он писал ей из Коктебеля, из Сочи, из Москвы, из Ленинграда (когда она была в служебной командировке и на отдыхе). Поражает прежде всего взятая в письмах тональность, полагающая заведомое равноправие вступивших в интимные отношения двух человек. Здесь нет ни знаменитого писателя-небожителя, ни обыкновенной девчонки, только что окончившей какой-то строительный техникум. Есть мужчина и женщина, прильнувшие друг к другу и ставшие близкими на данном отрезке жизненного пути, при том, что находились в своих обязывающих каждого из них обстоятельствах и имели не во всем совпадающие желания.

В первом из тех писем, говоря о прошлогодней их встрече в Коктебеле, Зощенко писал (*здесь и далее орфография и пунктуация автора*):

«<...> Все дни я о Вас думал хорошо и с большой нежностью вспоминал Вас, моя милая испанка. Стало быть, наверно меня тревожит ваша судьба больше, чем я думал.

Раньше я не задумывался о такой материи, а сейчас юность и пожалуй первая молодость — позади. И вот возникают всякие рассудочные соображения.

Не причину ли я вам беды, моя милая любимая Оленька? До чего мне

этого бы не хотелось. И хотя вы, строптивая девчонка, не пожелали однажды об этом слушать. Но вот выходит, что эта мысль наиболее всего меня занимает.

Согласен даже продаться Вам в рабство, чтоб не увидеть ваших слез и огорчений».

И тут же, в конце письма, дабы не вводить ее в заблуждение, он откровенно пишет о самом себе: «А что касается любви, то вероятно это не совсем доступно моему воображению. Так наверно и проживу, как всегда жил». И подписывается: «Ваш дряхлый друг *Мих.*».

Но, обозначая некоторые пределы отношений, Зоценко внимателен и участлив к делам Шепелевой, и на ее письмо с сообщением и переживаниями по поводу того, как она окончила техникум, пишет: «Все будет хорошо, душенька моя! Надо было спокойней ко всему относиться. Ну подумаешь — диплом II степени. Что из того. Насколько было бы огорчительно, если б труды совсем пропали даром. И то надо плевать — жизнь выше всего». И сразу же назначает ей встречу на вокзале при его возвращении из Коктебеля в Питер: «Итак буду 25 в Ленинграде, либо на почте будет лежать телеграмма с изменениями. А если ты бедненькая после столь трудного месяца плохо выглядишь и это тебя будет тревожить, то пусть это тебя не смущает. Как поется в английской песенке: „Пусть ты кривая и пусть ты косая, но ты для меня лучше всех“. *Мих.*».

Увлечение Зоценко Шепелевой было достаточно сильное. Во время ее первой после получения диплома служебной командировки на полтора месяца в город Николаев они непрерывно прикидывали варианты свидания, и Зоценко даже так писал ей на случай своего приезда: «Я бы тебя провожал на работу. И приготавливал бы тебе завтрак, дурочка». Хоть и кратко, он писал ей также о своих делах, о работе, и в его письмах упоминаются имена писателей, с которыми он без нее общался, — Олеша, Катаев и другие — упоминаются так, словно и она вполне причастна к этому кругу. В одном из писем он рассказал ей про свой литературный вечер в Москве, на который специально приезжал в столицу (и который, возможно, походил на вечер их первого знакомства):

«16 ноября 38.

Оленька, вечер мой прошел весьма хорошо. Но было утомительно — пришлось много читать. Народу множество. Было переполнено. И даже у входа была изрядная толпа.

Но читал я, по-моему, не так хорошо, как иной раз умею. Что-то не было настроения. Может быть потому, что вечер уж очень странный — актеры и я, — это давало особый стиль вечеру, мне лично не совсем

приятный.

Публика же была очень довольна. Администраторы и подавно. Так что в общем счете хорошо. <...>

На записки (из публики) отвечал лихо. Штук 10 записок — вопросы: женат ли я и свободно ли мое сердце. В одной записке указывался адрес и описывалась наружность подательницы записки.

Огласив эти записки, я сказал публике: „Все-таки можно сказать о моем литературном вечере — я имел порядочный успех у женщин“. Много смеялись и аплодировали.

А вечером пришел домой, посмотрелся в зеркало — нет, увы, потрепанная физиономия, и нет ничего, по-моему, хорошего. Стало быть, дело в ином. Уж скорей бы мне постареть. А то меня женщины „портят“ и заставляют думать о себе иначе, чем должно быть.

Кажется, с 39 году начну чистую и опрятную жизнь — приличную моему возрасту».

А 3 февраля 1939 года, после опубликования Указа Президиума Верховного Совета СССР «О награждении советских писателей», он пишет ей из Сочи, где жил в гостинице «Ривьера», в номере «люкс» и питался в лучшем санатории:

«Сейчас, когда тут публика узнала, что мне дали орден — покоя мне нет — шляется народ и в столовой с любопытством глазееет на меня. Оркестр сыграл туш, когда я вошел в зал. Народ аплодировал. Так что я тут хожу как герой Советского Союза.

Получил 40 телеграмм с поздравлением. Даже не понимаю, где узнали адрес. Поздравляют главным образом учреждения. Из частных телеграмм были весьма интересные. Телеграмма Утесова, телеграмма сердечная, но сквозь строки видно, что он бедняжка до нельзя страдает, что у него ничего нет. Вот уж кому следовало бы дать — он был бы счастлив. В общем целый ворох телеграмм привезу — интересно.

Я очень (и пожалуй больше всего) порадовался, что дали орден Лавреневу. Это его поднимет. Вот уж наверно он бесконечно счастлив. <...>».

Но главное в письмах Зощенко к Шепелевой состоит в том, что в них есть откровения, которые дают представление о сути его взаимоотношений с женщинами и о потребностях его души в этих взаимоотношениях.

Он пишет ей (из Москвы, в октябре 1938 года):

«По тебе я соскучился, хотел бы тебя повидать. Я привык к тебе, глупенькая дурочка. Привык, что ты меня баловала вниманием, нежностью, словами. Без всего этого мне как-то скучновато. Я понимаю и всегда

понимал, что тебе много не хватало в моем отношении к тебе. Ты всегда хотела от меня большой любви, больших чувств. И от этого ты часто огорчалась. И вероятно, не раз хотела от меня уйти».

И далее:

«А если снова ты мне не будешь писать, то, гляди, заведу романчик. А то мне без ласковых слов невозможно жить. И я как цветочек угасаю без солнца».

И после подписи «Твой старый друг и возлюбленный»:

«У меня романов не было. Ты уж наверно что-нибудь там вообразила. Конечно, я немножко шлюха, но на этот раз все обошлось без любви».

Вот ведь какой клубок желаний, чувств, черт характера, сложившегося стиля жизни. Тут и неутоленная потребность нежности, и тяга к молодости, и донжуанство, и необходимость свободы...

Судя по известным романам Зощенко (в том числе и с Ольгой Шепелевой), ему нравились женщины милые, приятные, но не броские. Как точно отметила одна его близкая приятельница, «его не влекла любовь-тщеславие». В. А. Каверин в «Эпilogе» вспоминает такой характерный случай: «Когда однажды, где-то на юге, две стройные, высокие красавицы... <...> внезапно явились перед ним из пены морского прибоя, он был поражен, восхищен, но, слабо махнув рукой, сказал: — Это не для меня». И сия «отмашка» никак не означала его неуверенности в себе перед явлением общепризнанной красоты и прелести. Напротив — эта общепризнанность, яркость, блеск, внешнее великолепие женщины не привлекали именно его. Для него женщина не была некоей эмблемой, атрибутом мужской значительности. Зощенко был глубоко *интимным* человеком. И ценил эту интимную теплоту, ласку и нежность, какие возникают между мужчиной и женщиной — сколько бы их отношения ни продолжались.

# ПОСЛЕДНИЙ ВЗЛЕТ

## 1. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Общая панорама первого и самого трагического периода войны, который для Зоценко обернулся эвакуацией из его родного города в Алматы, была следующей.

В начале сентября 1941 года, всего через два с половиною месяца после нападения Германии на Советский Союз, немецкая группа армий «Север» полностью окружила Ленинград — город Ленина, колыбель Великой Октябрьской социалистической революции, как с гордостью величали в советскую эпоху прежнюю столицу Российской империи. Кольцо окружения сжималось, делалось непроницаемым, началась блокада города, в котором было три миллиона жителей.

К этому сроку немцы уже захватили всю советскую Прибалтику — Литву, Латвию и Эстонию, всю Белоруссию, большую часть Украины, а на пути к Москве взяли Смоленск. Около двух миллионов бойцов и командиров Красной армии, рассеченной и раздробленной по всему фронту стремительными ударами механизированных клиньев противника, оказались в плену, столько же погибли в героических, но безуспешных, часто совершенно бесполезных контратаках и при отступлении под сокрушающим натиском немецкой военной машины, господствовавшей и на земле, и в воздухе. По опубликованным в начале 90-х годов подсчетам военных историков, «безвозвратные» потери советской армии за первые полгода войны составили пять миллионов человек; огромные потери были понесены в боевой технике — самолетах, танках, артиллерии...

Столь катастрофическое для СССР начало войны явилось прямым следствием установившейся в стране единоличной диктатуры Сталина, его тирании с массовыми репрессиями во всех слоях общества, отчего армия также понесла — в мирное время — невосполнимый урон в командных кадрах и ущерб в боевом оснащении. Это явилось и следствием внешней политики Сталина, вступившего в двойной, публичный и тайный, сговор с Гитлером, в котором фашистский диктатор перехитрил, переиграл советского. Но в конечном счете это было еще одной тяжелейшей расплатой за Октябрьский — большевистский — переворот Ленина, проложивший в России путь к тоталитаризму со всеми постигшими затем народ трагедиями.

Настойчивые предупреждения о готовящемся нападении Германии на СССР, как известно, шли от первоклассных разведчиков-резидентов из разных мест. Тревожная информация поступала и по другим каналам — дипломатическим, экономическим, партийным, военным. Сообщалась даже — и неоднократно — точная дата начала войны. Но Сталин, сознавая всю неподготовленность страны к войне, с параноидальным упорством отвергал все эти предупреждения как дезинформацию и провокацию. Заложник собственного коварства и подозрительности, он видел в этой угрожающей информации только козни англичан, французов и самого Гитлера. Диктатор, он тщился переиначить саму действительность, скрыть ее, отринуть, уйти от нее. И строжайше запретил проводить все предупредительные передвижения частей Красной армии к границе и массовые мобилизационные мероприятия, дабы «не спровоцировать Германию на войну». И никто вокруг не перечил ему, великому и всесильному, никто не высказал своего личного мнения, не заявил протест, не подал в отставку, не застрелился во искупление своей вины перед народом и отечеством, ужаснувшись постигшей страну катастрофой. У них, его приближенных и соучастников, не было личного мнения, все единодушно соглашались со своим *хозяином*.

Однако на необъятных отечественных пространствах, где не падали бомбы и не катился огненный вал войны, люди еще были убеждены, что доблестная Красная армия быстро приведет в чувство зарвавшихся фашистов, что война закончится в две-три недели, максимум в два-три месяца — этого срока вполне хватит, чтобы исполнились гордые утверждения советских вождей, тотчас переходившие в стихи и песни, о советском тройном ударе на удар поджигателей войны и о ведении этой победоносной войны малой кровью и исключительно на чужой территории.

Но Сталин, конечно, сознавал, что страна попала в катастрофическое положение и что на одних карательных мерах спасти страну теперь невозможно. На борьбу с вторгшимся врагом нужно было бросить весь народ. И он провозгласил войну с фашистской Германией всенародной, освободительной, Отечественной войной. Он говорил весомо: «Наши силы неисчислимы, зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Поднимутся миллионные массы нашего народа». Сталин делал ставку на эти *неисчислимые* людские массы. Но народ, конечно, не мог знать, что эта ставка обойдется ему на пути к Победе в 27 миллионов жизней.

А пока люди все еще верили в скорый разгром ненавистных фашистов. Они, за четверть века после Октября напрочь отказавшиеся в большинстве своем от Бога, верили в Сталина. И шли сражаться за святое дело — за

свободу своей Родины.

Настроение в Ленинграде в те первые дни и недели было таким же. Хотя сами власти быстро осознали надвигающуюся опасность.

Патриотическим подъемом была охвачена и ленинградская писательская организация. У кабинета партбюро выстроилась очередь для записи в народное ополчение. Даже немолодые и нездоровые литераторы стремились встать в воинский строй. Правда, те, кто возглавлял здешнее отделение Союза писателей, оказались в особой писательской группе при штабе фронта, то есть в главном руководящем центре, рядом с высшим партийным и военным начальством города, и находились в самом Смольном. Но по тогдашним представлениям это была чрезвычайно важная и ответственная работа, на которую по праву привлекались только писательские вожаки-коммунисты.

Михаилу Михайловичу Зощенко было в тот момент 47 лет. Его феноменальная слава двадцатых и начала тридцатых годов уже шла на убыль, но он оставался одним из самых известных в народе писателей. И был чтим в литературной среде — живой классик жанра сатиры и юмора. Ценили Зощенко и за исключительную деликатность, доброжелательность, порядочность.

У него был признан порок сердца — как следствие отравления газами на германском фронте во время Первой мировой войны, и он давно не числился военнообязанным (был снят с военного учета в 1919 году). Да и возраст, считавшийся пожилым, отдалял от решительного армейского настроения. К тому же он испил эту чашу до дна четверть века назад. (Один из биографов все же упоминает о заявлении, поданном Зощенко с просьбой направить его на фронт добровольцем.) Но он со свойственной ему добросовестностью и аккуратностью еженощно дежурил на крыше своего писательского дома по каналу Грибоедова, 9, в группе самозащиты. Эти группы были организованы в Ленинграде сразу же и повсеместно — для тушения «зажигалок», которые, как ожидалось и как это произошло вскоре в действительности, немцы станут бросать на город.

В те же первые недели войны Зощенко совместно с Евгением Шварцем пишет сатирическую антифашистскую пьесу для ленинградского Театра комедии. Работа была срочной — главный режиссер театра Н. П. Акимов обратился, по его словам, к двум своим любимым драматургам с призывом оперативно создать боевое произведение, поднимающее дух зрителя. Оба драматурга восприняли этот заказ как свой патриотический долг. Отдельные сцены, сочиняемые порознь каждым из них по сообща

придуманному плану, тотчас репетировались труппой, не дожидаясь окончания всей пьесы. И пьеса, и созданное по ней за один месяц гротесковое представление «Под липами Берлина» отразили общее настроение начального момента войны: там действовали Гитлер и его окружение, показанные в остросатирическом плане, и всем им уверенно предвещался скорый крах. Спектакль был сыгран около пятнадцати раз; затем его по честному решению самих создателей и санкции надзирающего начальства пришлось снять с репертуара — в обстановке постоянных налетов немецкой авиации, в надвигающейся угрозе полного окружения и блокады города легковесная насмешка над фашистскими главарями звучала неуместно, оборачивалась самопародией.

Писал Зощенко в то время и для радио. Исправно приходил на заседания писательского секретариата, членом которого состоял много лет. Выступал, как и другие писатели, в воинских подразделениях. Он не отказывался ни от какой работы, добросовестно выполняя свои литературские, общественные и гражданские обязанности. Но он ни в чем не изменился, ни внешне, ни внутренне. И тем, кто общался с ним тогда, это запечатлелось особенно. Вот зоркое писательское свидетельство И. Меттера:

«Запомнился мне Михаил Михайлович опять-таки личностью своей, всем своим неизменным обликом. Ничто в нем не стронулось с места. Даже внешне. В те тяжкие дни многие окружавшие меня люди, да и сам я, хоть как-то переменились. Зловещая печать блокады — голода, холода, пещерной тьмы — не могла остаться бесследной. Отражалось это в людях по-разному: изменялись одежда, обувь, походка, голос, выражение лица, глаз, очертания фигуры — я уж не говорю о поступках, о поведении. Изменения эти происходили в людях и в дрянную сторону — происходила кристаллизация человеческих характеров. А некоторые и попросту рассыпались в порошок.

Зощенко оставался таким, каким был всегда. Он не утеплялся кофтами, галошами, толстыми шарфами. Он оставался все таким же аккуратным, я бы даже сказал „элегантным“, если бы это дурацкое слово так вопиюще не подходило ни к блокаде, ни к самому Михаилу Михайловичу. Он не похудел и не почернел лицом: худеть ему было не из чего — он всегда был худ, а природной смуглости лица доставало ему и без военных лишений. Походка его не стала торопливой — он и до войны никогда никуда не опаздывал. Опаздывают ведь чаще всего люди, едущие в автомашинах, а Зощенко был пешеходом.

И голос его, тональность, что ли, остались нетронутыми: не появилось

в них ни тревоги, ни какой-либо особой строгой собранности. Все мы, очевидно невольно, полагали, что надо покончить с кое-какими нашими глубоко штатскими, мирными замашками. Зощенко не потребовалось корректировать в себе ничего. Быть может, сказалось здесь, что еще в молодости, в первую мировую войну, он был отличным, отважным военным. Во всяком случае, определение храбрости, по Льву Толстому, складно ложилось на характер Зощенко. Храбрый человек — это тот, кто делает то, что следует, писал Толстой.

Мужество Зощенко было именно таким».

Однако по поводу того, что в тяжкое военное время «Зощенко не потребовалось корректировать в себе ничего», следует, наверно, заметить: для него вообще не существовало тогда подобной задачи, ибо он, как и Анна Андреевна Ахматова, независимо даже от своего дворянского происхождения, обладал аристократизмом души, свойственным истинным и избранным художникам. И оставаться самим собой было естественным качеством его натуры.

Эта невозможность для него хоть в чем-то отступить от самого себя, примениться к подчиняющим человека бесчеловечным обстоятельствам, делала Зощенко особенно незащищенным в условиях наступавшей блокады. Тем более что нездоровье в той или иной форме преследовало его в течение всей жизни. Тяжкий быт рядового ленинградца, к чему он не мог приспособиться, быстро истощал его физические силы.

Наконец в писательской организации было решено обязательно его эвакуировать, несмотря на то, что он противился этим предложениям.

Возглавившая в Ленинграде писательский секретариат военного времени В. К. Кетлинская писала впоследствии о Зощенко:

«Михаил Михайлович не хотел, вернее, стыдился уезжать:

— Мне кажется, потом мне всю жизнь будет совестно.

С помощью Евгения Львовича (Шварца), который был дружески близок с ним, нам все же удалось эвакуировать Зощенко уже в крайне тяжелом физическом состоянии».

Конечно, он понимал бесполезность своего нахождения здесь — никакой действительной помощи в обороне осажденного города, если враг пойдет на штурм, он оказать не мог. Но в Ленинграде оставались сотни тысяч жителей, больных, физически ослабленных, как и он, людей, не говоря уже о детях. И ему было совестно не разделить с ними пусть и погибельную, но общую участь. Человек чести, он стыдился предоставляемой ему писательским руководством — и, по мнению окружающих, безусловно, справедливой и заслуженной — льготной

возможности уехать.

К тому же эвакуировался Зоценко один, без семьи.

Причины и обстоятельства такого семейного поворота изложены в воспоминаниях Веры Владимировны:

«Как же случилось, что Михаил уехал из Ленинграда, оставил нас одних — почти на верную гибель?»

А случилось вот что.

18 сентября его по телефону вызвали неожиданно в Смольный... Уходя, он сказал — „Боюсь, что это по вопросу об эвакуации...“

Так и оказалось — ему было предписано в 2-дневный срок вылететь из Ленинграда в Москву — его, как и ряд других „ценных людей“ — „золотой фонд республики“, срочно вывозили из осажденного города — в тот момент, момент смертельной опасности, у руководства были сомнения — удастся ли удержать город в наших руках...

Отказаться от эвакуации было невозможно. Это дало бы повод подумать, что он „ждет немцев“. Ведь полного доверия к Зоценко, книги которого тысячными тиражами издавались за границей и толковались буржуазными критиками как доказательство нашей убогой жизни, глупости и некультурности народа, полного доверия к нему не было.

В действительности же Михаил никогда не допускал мысли о том, что немцы могут взять Ленинград. <...>

И когда он вернулся из Смольного и сообщил мне о необходимости эвакуации и я, подчиняясь неизбежному, согласилась ехать с ним, если, конечно, отпустят и Валю — оставить его одного, беспомощного и беззащитного, я, конечно, не могла.

Михаила увозили в безопасное место, о нем будет заботиться правительство, о Вале же должна заботиться только я.

Михаил все же позвонил в Смольный, спросил, может ли он взять с собой жену? Ответили: „Да, пожалуйста“.

„А сына?“

„Военнообязанный?“

„Да“.

„Нельзя“.

...мне было очень грустно, очень тяжело расставаться с Михаилом...

Я поняла тогда, что я все же любила его, что он мне дорог бесконечно...

К тому же я боялась, как он, со своим больным сердцем, перенесет путешествие на самолете. И когда вечером явился сотрудник НКВД —

молодой еврейский мальчик — явился, кажется, для того, чтобы получить подтверждение, что Михаил действительно уедет, я поделилась с ним этими своими опасениями.

На что он мне неожиданно ответил, что, возможно, через день-два Ленинград ожидает такой „ужас“, перед которым путешествие на самолете — пустяк...

Да, они сами не были уверены в том, что удастся отстоять город. Так велика была в те дни паника и так сильны были тогда враги!

Михаил искренне огорчился необходимостью нашей разлуки, тяжело переживал ее, чуть не плакал, прощаясь с нами перед отъездом на аэродром... <...>».

В воспоминаниях Веры Владимировны много говорится о ее хлопотах в течение двух предвоенных лет освободить сына от призыва в армию по состоянию здоровья. В вуз он не попал — не выдержал экзамены. В конце концов, после нескольких переосвидетельствований, его признали годным к армейской службе, но, как пишет Вера Владимировна, «оставили в запасе до войны». (Примечательно, как объясняет Вера Владимировна свои тогдашние переживания из-за сына: «А как было не огорчаться, если в ВУЗ Валя не попал и вот-вот должен был пойти в армию в такое беспокойное время — мы только что, вместе с немцами, напали на Польшу и отняли у нее наши бывшие западные губернии — присоединили к себе Вильну... <...> Не волноваться и не огорчаться было невозможно, тем более, что даже при самых благоприятных обстоятельствах призыв в армию отодвинул бы поступление в ВУЗ на 3 года, не говоря уже о необходимости разлуки с мальчиком на такое длительное время».)

Таким образом, ее решение остаться в Ленинграде было связано с тем, что здесь оставался сын. Что до самого Зоценко, то при всех противоречивых чувствах, которые должна была вызвать у него предложенная эвакуация из осажденного города, при всем этом внутреннем споре с самим собой, в душе его действовал также писательский императив. И решающим для него доводом явилась, надо полагать, именно та создаваемая им новая книга, материалы к которой он собирал почти десять лет и о которой все более думал, как о главном своем сочинении. Эти его материалы чудом уцелели при пожаре и бомбежках. И он должен был теперь вывезти их отсюда, а со временем завершить во что бы то ни стало и саму книгу. В предисловии к начавшейся в 1943 году журнальной публикации (сразу же и оборванной) Зоценко так описал историю сохранения и вывоза из Ленинграда своих заготовок для этой повести:

«<...> Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов.

Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились.

Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда.

Я взял с собой двадцать тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около восьми килограммов из двенадцати килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог.

Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью...»

Здесь, очевидно, надо иметь в виду, что каждый творец, будучи властителем собственного творения, одновременно и сам находится в его власти. Он, демиург, дает своему творению жизнь, но в процессе создания оно также подчиняет себе жизнь, помыслы, поступки, судьбу своего создателя. И, забирая все его силы, придает в нужный момент дополнительные, и даже продлевает ему жизнь, как это было, например, с тяжело болевшим Марселем Прустом, многие годы в затворничестве работавшим над своим многотомным сочинением «В поисках утраченного времени» и дописавшим последние страницы накануне смерти. Вернее, умершим тотчас после их написания.

Когда Зоценко согласился уехать, это можно было сделать только самолетом через линию фронта. С захватом станции Мга немцы перерезали последнее действовавшее железнодорожное направление, и ни один эшелон не отправлялся более из Ленинграда. Кольцо окружения быстро сжималось, — были заняты известные каждому жителю с детства дачные и пригородные места. А Дорога жизни (или, как ее точнее называли, «дорога смерти») по льду Ладожского озера еще не установилась.

Но и самолеты гражданского назначения летали редко. По свидетельству В. К. Кетлинской, писательская организация даже при поддержке своей особой группы в штабе Ленфронта добилась всего шести посадочных мест в месяц. Персональные списки на эти шесть мест утверждались Военным советом, где требовали отправлять в первую очередь наиболее известных писателей, по возрасту и состоянию здоровья неспособных носить оружие. Кетлинская неоднократно возила в Смольный список оставшихся в городе писателей и оказывалась в трудном положении: тех, кто во что бы то ни стало рвались поскорее уехать, откладывали, а те, кому предоставляли возможность первоочередной

эвакуации, уезжать не хотели.

Помимо Зощенко, так было с Анной Андреевной Ахматовой, чьи выступления по радио и в печати находили широкий отклик у ленинградцев, так было и с превосходным поэтом-переводчиком Михаилом Леонидовичем Лозинским, переводившим несмотря ни на что в блокадные дни «Ад» Данте. Кетлинской, чтобы настоять на отъезде Лозинского с женой, пришлось вручить им сочиненное ею самую «предписание Военного совета». Сослалась она на прямой приказ Военного совета и при отправке Ахматовой...

Своя посадочная норма для эвакуации самолетами имелась и у композиторов, артистов, ученых.

19 сентября Зощенко послал по почте письмо Лидии Чаловой (жившей неподалеку от него):

«...Сегодня утром должен был лететь, но произошла заминка. Едва подъехал к аэродрому — началась бомбежка. Полежал в канаве со своими спутниками — престарелыми академиками. Потом часа два ждали, пока придет все в порядок. После чего академики отказались лететь.

Я был в сомнении. Но увидел во всем этом некоторое дурное предзнаменование и тоже присоединился к академикам. Полетел один Мигай.

В общем, не знаю, как будет обстоять дальше. Возможно, что сегодня позвонят и прикажут лететь...» (В письме упомянута фамилия известного оперного певца.)

Вылетел он спустя день, 21 сентября.

Таковы были обстоятельства отъезда Зощенко из блокадного Ленинграда осенью 1941 года.

В воспоминаниях Л. Чаловой, помимо приведенного письма Зощенко, о его отъезде также говорится:

«Из того, что обычно берут люди, отправляясь в дальний путь и на долгое время, он не взял ничего. Думал, что едет — в худшем случае — на несколько месяцев. Был в легком пальто и — чемоданчик в руках. В чемоданчике — только материалы для своей „главной книги“ и ее черновая рукопись. Из Москвы, а затем с дороги посылал открытки и телеграммы. Писал, что ему предложили на выбор Ташкент или Алма-Ату. Он выбрал Алма-Ату, так как там будет возможность работать на кинофабрике ‘Мосфильм’. 28 октября он прибыл на место и написал, что Алма-Ата „очень красивый город“, что ему там понравилось. Через месяц сообщил, что работает „в ‘Мосфильме’ на зарплате“».

Конечно, обо всех своих делах он сообщал Вере Владимировне — и из

Москвы, и по дороге в Алма-Ату. Писал он ей часто и посылал постоянно деньги.

В Алма-Ате, тогдашней столице советского Казахстана, Зоценко работал на «Мосфильме» как штатный сценарист — разрабатывал предлагаемые ему темы, нужные в дни войны. Написал он и собственный сценарий для прославленного режиссера Григория Александрова, постановщика знаменитых «Веселых ребят», но тот тяжело заболел, и сценарий оказался невостребованным. «Некоторый рок продолжает висеть над моими драматургическими опытами...» — отметил Зоценко в письме Чаловой от 29 мая 1942 года. Тем не менее он хотел взяться за пьесу для театра Юрия Завадского, находившегося там же, в Алма-Ате.

Жил Зоценко в центральной гостинице («Дом Советов»), куда местные власти поселили эвакуированных московских кинематографистов, среди которых были известные всей стране режиссеры и актеры. Все «киношники» давно знали друг друга и жили в гостинице своим компанейским сообществом шумно, вольготно, с поздними хождениями из номера в номер, что Зоценко считал бесцеремонностью и что было ему в тягость. И сама работа в кино, как он также признавался Чаловой, не очень его удовлетворила. «Скучаю по своей основной работе. Но заняться моим делом пока затруднительно», — писал он ей. Своим — писательским — делом ему было трудно заняться не столько даже по загруженности на «Мосфильме», сколько по раздражавшему его образу жизни в гостинице. Наконец, чтобы найти себе спокойное пристанище, он обратился за помощью в местный Союз писателей. Зоценко повезло: уезжавший в Москву на работу в Казахское постпредство университетский преподаватель философии У. М. Балкашев с восточным гостеприимством предлагал в тот момент кому-либо из эвакуированных писателей поселиться в его квартире. Счастливицу предоставлялся кабинет хозяина — небольшая комната с письменным столом, тахтой и библиотекой. И Зоценко сразу ухватился за это предложение. Семья Балкашева — жена и трое детей — оставалась в квартире, но вела себя на редкость обходительно и тихо.

То была первая отрадная перемена в его здешней жизни. И он тут же принялся по вечерам за работу над своей задуманной почти десять лет назад и столь дорогой ему повестью. В упоминавшемся уже предисловии к ней, поведав, как он вывозил собранные материалы из окруженного Ленинграда, Зоценко рассказал и о том, как возобновил работу над «Перед восходом солнца»:

«В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата.

<...> Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал.

По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились двадцать моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке.

Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов.

— Ничего, — говорил я сам себе, — тотчас по окончании войны я примусь за эту работу.

Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки. И, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда — вот этого я установить не решался.

„Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу?“ — как-то подумал я. — Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает „философию“ фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье — в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации.

Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем.

В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе».

А вскоре в Алма-Ату приехала Лидия Чалова: ее сестра родила в блокадном Ленинграде дочку и, чтобы сохранить ребенка, надо было срочно эвакуироваться на Большую землю. Чалова написала об этом Зощенко, и он, при всей своей непрактичности, неумении и нелюбви обращаться с просьбами к должностным лицам, сумел все-таки оформить вызов в Алма-Ату и Чаловой, и ее матери, и сестре с дочкой, которые покинули город по Ладоге.

Приезд Чаловой был для Зощенко спасительным в самом прямом смысле — она застала его поразительно истощенным и больным. В своих воспоминаниях она пишет:

«На алма-атинском вокзале, когда я впервые взглянула на Михаила Михайловича, то глазам своим не поверила. Я видела дистрофиков в Ленинграде, сама была почти что дистрофик, но чтобы здесь, в глубоком

тылу, так ужасно мог выглядеть человек — нет, это было невыносимое зрелище! Я спросила, как ему удалось довести себя до такого состояния? Он сказал, что получает четыреста граммов хлеба, половину съедает, а половину обменивает на пол-литра молока и луковицу. Таков, мол, его дневной рацион. Я спросила: „И у вас на студии все так живут?“ Он ответил: „Кое-кто, конечно же, чего-то там достает, но, ты же знаешь, я этого делать не умею“».

На следующий день по приезду Лидия Александровна Чалова пошла на студию «Мосфильм» в сценарный отдел, где состоял в штате Зоценко. Там же работали такие признанные кинодеятели, как Блейман, Юзовский, а заведовал отделом Николай Коварский. Коварский изумился, узнав, что Зоценко почти год живет только на четырехсотграммовую хлебную карточку. Ни он, ни другие кинодеятели даже представить себе не могли, что Зоценко по незнанию и своей гипертрофированной деликатности не получает положенный им всем продуктовый паек.

Вызванный Чаловой врач определил у Зоценко самую настоящую дистрофию, и по представлению сценарного отдела ему было выписано месячное питание из больницы здешнего Совнаркома. Этого обильного питания хватало на двоих человек. Затем, преодолевая его сопротивление (Зоценко не хотел писать никаких заявлений, считая, что во время войны нельзя, неудобно добиваться какого-то улучшения своего положения), она оформила ему в торговле ежемесячные дополнительные продуктовые талоны. И там, в торговле, тоже были крайне удивлены — перечисляя известные писательские фамилии, они признались Чаловой, что даже не знали о нахождении Зоценко в Алма-Ате...

Болезненное состояние Зоценко в Алма-Ате было связано не только с его дистрофией, но и с участвовавшими сердечными приступами. Сказывался жаркий и относительно высокогорный климат, а главное, усиленная работа над повестью «Перед восходом солнца». По свидетельству Л. Чаловой, он изнурял себя этой работой, и в то же время торопился ее закончить, не давал себе отдыха, боясь умереть, не дописав «главной книги». Всячески оберегая его, Л. Чалова находилась постоянно рядом с ним, жила в той же квартире, на хозяйской половине у Балкашевых. А Зоценко даже во время сердечных приступов, которые случались у него на улице (где, как всегда в центре города, было много знакомых), старался иметь бодрый вид, не выглядеть беспомощным и, вынужденный остановиться, переждать приступ, велел сопровождавшей его Чаловой встать так, словно они только что встретились и просто стоят, разговаривают...

И по особенностям своего характера, и по состоянию здоровья Зощенко встречался в Алма-Ате с немногими людьми — чаще других виделся с Юзовским, побывал в гостях у Эйзенштейна. Но все свое время отдавал прежде всего работе. А по мере приближения работы над повестью к концу он предпринял необходимые шаги для переезда в Москву. И весной 1943 года получил официальный вызов в столицу.

## **2. ПОВЕСТЬ «ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА»**

Повесть «Перед восходом солнца» стала самым сложным — многоплановым, многоцелевым, многослойным — произведением Зощенко. Ее построение и содержание не соответствовали, казалось бы, объявленной автором задаче произведения, но заинтересованный читатель не обращает на это внимания. Хотя вопросы возникают...

Как известно, сюжет «Перед восходом солнца» Зощенко выстраивал на влекущем поиске той роковой причины, которая вызвала жестоко изнурявшую его многие годы хандру. Как бы вместе с читателем, на его глазах, он определял направление и примерную систему своего поиска, решая вспомнить самые яркие картины собственной жизни, связанные с большим душевным волнением, когда, конечно, только и могло случиться то несчастное, злополучное происшествие. Так же доверительно, беря читателя в собеседники, он рассказал, почему отсек детские годы — «Какие там могут быть особые душевные волнения у мальчишки. Подумаешь, великие дела!» — и рассудил начать свои воспоминания с шестнадцати лет.

Итак, условия поиска, представлявшиеся совершенно логичными, были заданы, и к читателю двинулась череда кратких, мастерски сделанных эпизодов, каждый из которых был маленькой новеллой, а все они связывались в целую, со своим внутренним единством хронику определенного периода жизни Зощенко. Первая серия обозначалась «1912–1915». За нею следовали «1915–1917», «1917–1920», «1920–1926»...

В «Заключении» к этой части своей хроники, собранной по подсчету самого Зощенко из шестидесяти трех историй, в которых — хотя бы в одной! — он надеялся найти причину своей тоски, огорчений, болезни, был откровенно подведен итог: «Нет, ни в одной из этих историй я не нашел того, что искал». И вся совокупность их также не являлась, по его убеждению, такой причиной: «Да, конечно, огромные потрясения выпали на мою жизнь. Перемена судьбы. Гибель старого мира. Рождение новой

жизни, новых людей, страны. Но ведь я-то не видел в этом катастрофы! Ведь я же сам стремился увидеть в этом солнце. Ведь и до этих событий тоска преследовала меня...» И опять прилюдно он принимает новое логичное решение — искать свое роковое происшествие именно в детстве, в тех ранних годах, когда совершается первое знакомство с миром и впечатления должны быть самыми глубокими.

Но тут и начинается череда вопросов. С какую же истинной целью исповедовался Зоценко в хронике своей юности и молодости, если заранее знал отрицательный результат предпринятого поиска в данном периоде жизни? Уж коли объявлена совершенно конкретная задача сочинения — отыскание причины болезни и опыт самоизлечения от нее, то по строгой логике композиции вся рассказанная предыстория оказывалась здесь ненужной, лишней — при всей ее замечательности и увлекательности. Она становилась отдельным, самостоятельным, вставным сочинением. Однако Зоценко тонко подменяет правила композиции. Зачем? И даже если поддаться этой подмене, отчего надо было, помимо откровения о юношеской любви, оставшейся в душе на всю жизнь (и в чем могла бы еще таиться искомая причина), или о такой острой психологической («стрессовой», по-нынешнему) ситуации, как попытка самоубийства в гимназические годы, рассказывать также о нехристианском поцелуе в пасхальную ночь его молодой замужней соседки по дому, об одиноких именинах, на которые его, «студентика», упросила зайти случайно встреченная на улице проститутка, о забавном эпизоде с актрисой цирка Эльвирой, страстно возлюбившей его на Кавказе?.. Почему вопреки заявленной теме он вставляет в эту повесть целый блок исключительных по художественной силе и мастерству фронтовых картин, хотя сам же говорит о том, что как раз на фронте он перестал испытывать тоску и почувствовал себя почти счастливым? Что подвигло его решительно отодвинуть на обочину всей первой части задуманного произведения собственно «медицинскую» задачу и пустить по магистральному простору повести свою жизнь в ее свободном человеческом движении и во всем диапазоне происшествий и встреч — от встреч с Блоком, Есениным, Горьким, Маяковским до интимных свиданий? Не скрывая при том ситуаций, лицемерно считавшихся в советское время «непристойными», «недостойными нового человека».

И здесь надо обратить особое внимание на сказанные в повести слова Зоценко о том, что сохранившиеся в памяти с необычайной точностью картины его жизни, когда он стал их вспоминать, взволновали его больше, чем даже желание найти причину его несчастий. Выходит — осознанно или

неосознанно, — но писалась книга для отчета перед самим собой, перед людьми, перед всем миром; писалась для самоутверждения в собственных глазах; писалась, чтоб показать себе и всем вокруг, что человек не отрекся, не должен отрекаться от себя, от того, что с ним было раньше, кем он был и что он есть в совокупности всей своей жизни; и чтобы подтвердить — человеку надо все помнить и не бояться, не стесняться об этом рассказать. И в этом смысле книга писалась как *моральное алиби* Зощенко, остававшегося самим собой. Потому и надо было ему вспоминать гимназистов и гимназисток, свое фронтовое офицерство, свои увлечения, «пятичасовой чай» у княгини, архангельское житье-бытье, участие в Гражданской войне в Красной армии, хождение в народ, вхождение в литературу — свою жизнь до тридцатилетнего возраста. Ибо, как он без околичностей написал в «Прологе» повести: «С тридцати лет я стал совсем другим человеком — уже негодным в объекты моего сочинениях <...> Возникла совсем иная жизнь, вовсе непохожая на то, что было». Однако своим сочинением он как раз подтверждал свою неразрывную связь с прошлым.

Конечно, надо было отважиться писать *такую* книгу во время Великой Отечественной войны. Но вся подлинная литература состоит из произведений, которые *должны были быть написаны* независимо от обстоятельств времени, места и субъективных человеческих факторов. Очевидно, создание этих книг предопределяется Свыше. И все, казалось бы, противоречивые обстоятельства и факторы вдруг складываются и совпадают так именно, чтобы книга явилась на свет, несмотря даже на неподходящий вроде бы момент. А в случае с публикацией (пусть частичной) повести Зощенко уместно вспомнить рассуждение Пастернака об Отечественной войне, что в ту годину самых тяжелых испытаний, бед и утрат выдался одновременно и праздник души для всех наших людей. Да, чтобы разбить немцев, надобен был этот великий взлет духа, а без свободы духа нет и взлета его. И народ в тот период вдруг вздохнул даже облегченно: было ясно, где враг, где свои — впервые после двух десятков лет страшной внутренней трагедии, когда устанавливалась единоличная диктатура Сталина.

Но проблеск свободы духа был, понятно, ограничен временными рамками. Применительно к повести Зощенко надо полагать, что ее можно было напечатать по образовавшемуся среди соответствующего начальства настроению только летом 1943 года — *после* Москвы и Сталинграда, но до Берлина. Начало публикации и произошло в это «окно». И сам автор, несмотря на все сомнения, колебания и опасения, не смог уже отказаться,

не ринуться в этот просвет. Он находился, вероятно, под радикалом переоценки себя, своего пути, необходимости высказаться. Вот почему такой большой стала предыстория, описание всей его молодости, которая оказывалась ненужной для медицинского открытия, ради чего и писалась сначала повесть. Вот почему автобиография заняла две книги (части) из трех; и вот почему он поставил под удар, пошел на риск ради тех двух первых частей потерять право на опубликование главной, по замыслу, медицинской и философской третьей части. И потерял...

Таковы общие размышления о повести «Перед восходом солнца», которые необходимо подтвердить документированным анализом.

В «Предисловии» к журнальной публикации 1943 года Зоценко говорит о собранных им до войны *материалах* для новой книги и о том, что он «выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу». Далее следует, что этого не случилось из-за начавшейся войны. И — двадцать заветных тяжелых тетрадей с оторванными для уменьшения веса коленкоровыми переплетами полетели с ним на самолете из окруженного Ленинграда.

Но Цезарь Вольпе в «Заключении» своей книги свидетельствует: «Когда Зоценко узнал, что о нем написана книга, он выразил сожаление, что я не знаю последней его работы, которую он почти закончил, — „Ключей счастья“. „Ибо эта книга, — рассказал он, — по-новому раскрывает круг вопросов, поставленных в „Возвращенной молодости“ и „Голубой книге“. Все эти три книги составляют трилогию, и „Ключи счастья“ — итог этой трилогии, итог моих размышлений о роли человеческого разума в истории. Мне удалось теперь показать, что сознание должно восторжествовать во всем мире (предпоследняя глава „Ключей счастья“ будет называться „Торжество сознания“) и разрешить трагические противоречия темы первых двух частей трилогии именно в „Ключах счастья“». Вольпе сообщает, что Зоценко подробно рассказал ему замысел этой книги, и делает такой вывод: „Можно надеяться, что читатели увидят это произведение еще в настоящем году“. Под „Заключением“ стоит дата — „Декабрь 1940 г.“. По-видимому, надежда увидеть произведение Зоценко в публикации возлагалась уже на 1941 год.

К этим „показаниям“ добавим еще одно, сделанное Зоценко за пять лет до приведенного разговора с Вольпе и за восемь лет до начала публикации повести „Перед восходом солнца“ в журнале „Октябрь“. Вот что говорил М. Зоценко по интересующему нас вопросу в обширном интервью „О моей трилогии“, помещенном в газете „Литературный

Ленинград“ 26 октября 1935 года:

„Сейчас я думаю приняться за новую книгу, которая будет последней в моей трилогии, начатой „Возвращенной молодостью“ и продолженной „Голубой книгой“. Все эти три книги, хоть и не объединены единым сюжетом, связаны внутренней идеей. Последняя книга трилогии задумана значительно более сложной; в ней будет несколько иной подход ко всему материалу, чем в „Возвращенной молодости“ и „Голубой книге“, а те вопросы, которые я затрагивал в предыдущих двух книгах, получат завершение в специальной главе новой книги. Эта книга будет мало похожа на обычную художественную прозу. Это будет скорей трактат философский и публицистический, нежели беллетристика. Впрочем, я не думаю лишиться ее элементов художественного произведения. В книге будут новеллы и, может быть, даже единый сюжет. Во всяком случае, все главы должны быть связаны единой идеей. Возможно, что в будущем году в печати уже появятся отдельные главы новой книги, но закончить ее я думаю только через три года. Она будет довольно обширна (около 20 листов), работа предстоит очень сложная, хотя почти весь материал уже собран“.

Итак, замыслился „трактат“. Философский и публицистический. Художественность в нем допускалась в виде „элементов“. Главная связующая сила всех частей произведения — „единая идея“. Весь материал для книги „почти собран“. Это — данные на 1935 год. В следующем году Зощенко предполагал даже печатание отдельных глав. А закончить всю книгу планировал в три года. (В 1936 году Зощенко даже подписал договор на „Ключи счастья“ с издательством „Советский писатель“, в котором обязался представить рукопись через год.)

Но никаких публикаций из этой книги не последовало ни через год, ни через три года, ни через пять лет, хотя в 1940 году он заявил Вольпе, что книга почти готова.

Значит, что-то сдерживало его, происходило внутреннее борение, он сопротивлялся самому себе, не хотел выпускать из рук *эту* книгу, публиковать ее в том виде, какой она имела тогда. А какой вид она могла иметь в те пять-шесть лет, когда он печатал „Голубую книгу“, „Возмездие“, „Бесславный конец“ („Керенский“), „Опасные связи“, „Рассказы о Ленине“, когда жал руку „всесоюзному старосте“ Михаилу Ивановичу Калинин, вручавшему ему орден Трудового Красного Знамени и ворковавшему при этом с теплотой во взгляде и милым потряхиванием козлиной бородкой — „Вот вы, оказывается, какой, Михаил Михайлович!“... Когда публично выступал — до суда — в общем оголтелом хоре призывов к беспощадной каре „троцкистских извергов“... Когда публиковал письма Горького к нему,

чтобы подкрепить свою репутацию, обезопасить себя в том крошечном 1937 году, пролегшем широкими людскими прокосами во всех слоях советского общества, пронизанного страхом, доношением, охотой на „врагов народа“, восхвалением Сталина и „органов“ НКВД, энтузиазмом строительства очередной сталинской пятилетки... Когда он, уцелев, купался в почете, славе, признании, а миллионы его сограждан, кого миновал расстрел, были превращены в эков... Но прервем этот дополнительный просмотр ленты действительно происходивших тогда событий и в стране, и с самим Зощенко, ибо феномен истории, как известно, состоит в том, что она видится, понимается, отрицается, оправдывается жизненно заинтересованными участниками дней ее вершения совсем иначе, чем она будет истолковываться потом, из дней грядущих.

На основании того, что Зощенко говорил Вольпе о своей новой книге в 1940 году, можно утверждать, что его первоначальный замысел — философского и публицистического трактата — не претерпел за минувшие пять лет каких-либо существенных изменений. И незадолго до войны он, как и раньше, видел в этой книге, завершающей всю его трилогию, „итог размышлений о роли человеческого разума в истории“. И так же, как в 1935 году, придавал ключевое значение „специальной главе“, которая теперь обрела новое название — „Торжество сознания“. А вся книга по-прежнему называлась „Ключи счастья“.

Значит, именно этот ее склад, совсем, казалось бы, устоявшийся, давно и глубоко продуманный, скрепленный единой идеей, в то же самое время никак не принимался им окончательно. Очевидно, что „трактат“ Зощенко-мыслителя не удовлетворял Зощенко-художника, и художник упорно, отчаянно накладывал свое вето на публикацию. Этот художник, постоянно шедший в 30-е годы на компромиссы, подавленный и отброшенный к последнему своему пределу, уцепился за глубоко личный *материал*, заложенный мыслителем в „Ключи счастья“, и не давал переволочь ни себя, ни заветный материал за ту крайнюю черту. Не беремся, однако, утверждать, как разрешилось бы это противоборство, не начнись война...

Но война началась. И были всеобщий подъем духа, переживания, потрясения. Война вдруг вернула многих людей к самим себе, к своим душам. И происходившая со страной трагедия, страшная, катастрофическая, была все же реальной трагедией народа, а не дьявольской фантазмагорией 30-х годов. И было скорое окружение Ленинграда, бомбежки города немецкой авиацией, нависающий голод, что привело Зощенко к эвакуации в Алма-Ату.

А там, „в благословенном отныне городе Атма-Ата“, его почти готовая, как он считал, книга вновь становится — после всего пережитого — исходным материалом. Он неотвязно думает над этим материалом еще целый год. Потом около года опять работает над рукописью. Направление проделываемой теперь работы было развернуто определено в сторону художественности. Беллетристика, допускаясь прежде в виде подсобных „элементов“, стала теснить научно-публицистический текст. Новеллы из его собственной жизни расширялись и множились, обретая одновременно самостоятельность. Это видно, скажем, из сравнения чисто психологических примеров, имеющих в последней, „трактатной“, части, с аналогичными эпизодами „Финал“ и „В гостинице“ („В Туапсе“), получившими свою художественную форму в первой, повествовательной, части, где иллюстративные „элементы“ стали новеллами. И можно полагать, что как раз по этому пути и пошла вся энергичная доработка книги — по пути написания автобиографической повести, вернее, целой и обширной автобиографической ее половины, превратившей затем уже готовый трактат „Ключи счастья“ в повесть „Перед восходом солнца“. (Вполне вероятно — и на это есть достаточное указание в „Прологе“ повести, — что многие автобиографические новеллы были написаны Зощенко в довоенные годы, но по его тогдашнему умонастроению отвергались им. И в том заключалась причина его „борений с самим собой“, как говорил Борис Пастернак о художнике вообще, причина, по которой он откладывал всякую публикацию „Ключей счастья“. Теперь художник брал реванш у идеолога.) Именно эта выплеснувшаяся из души Зощенко новая или возрожденная часть книги и открыла ее публикацию в журнале „Октябрь“. Открыла и закрыла.

Повесть „Перед восходом солнца“ в ее автобиографической части стала повестью не только „о себе“, но и определенным писательским возвращением „к себе“.

В двадцатые годы Зощенко не раз заявлял о намерении опубликовать „Записки офицера“ (например, в статье „О себе, об идеологии и еще кое о чем“). Но заветная военная тема в то время не получила у Зощенко своего воплощения. Хотя к ней, конечно, относятся „Рассказы Синябрюхова“. При том, что у этого цикла была все же иная задача.

И вот перед нами целый блок фронтовых новелл в повести „Перед восходом солнца“, читая которые вспоминаются „однокашники“ Зощенко по той войне — Хемингуэй и Ремарк. Хотя бы в сокращении приведем, на наш взгляд, одну из самых лучших — „Двадцатое июля“, в которой

Зоценко описал газовую атаку немцев в 1916 году под Сморгонью („Это знаменитое местечко, откуда бежал Наполеон, передав командование Мюрату“):

„<...> Я выбегаю из землянки. И вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: „Газы!.. Маски!..“ И бросаюсь в землянку. Там у меня на гвозде висит противогаз.

<...> Вокруг меня бегают солдаты, заматывая свои лица марлевыми масками.

Нашарив в кармане спички, я зажигаю хворост, лежащий перед окопами. Этот хворост приготовлен заранее. На случай газовой атаки.

Теперь огонь освещает наши позиции. Я вижу, что все гренадеры вышли из окопов и лежат у костров. Я тоже ложусь у костра. Мне нехорошо. Голова кружится. Я проглотил много газа, когда крикнул: „Маски!“

У костра становится легче. Даже совсем хорошо. Огонь поднимает газы, и они проходят, не задевая нас. Я снимаю маску.

Мы лежим часа четыре.

Начинает светать. Теперь видно, как идут газы. Это не сплошная стена. Это клуб дыма шириной в десять саженей. Он медленно надвигается на нас, подгоняемый тихим ветром.

Можно отойти вправо или влево — и тогда газ проходит мимо, не задевая.

Теперь не страшно. Уже кое-где я слышу смех и шутки. Это гренадеры толкают друг друга в клубы газа. Хохот. Возня.

Я в бинокль гляжу в сторону немцев. Теперь я вижу, как они из баллонов выпускают газ. Это зрелище отвратительно. Бешенство охватывает меня, когда я вижу, как методически они это делают.

Я приказываю открыть огонь по этим мерзавцам. Я приказываю стрелять из всех пулеметов и ружей, хотя понимаю, что вреда мы принесем мало — расстояние полторы тысячи шагов.

Гренадеры стреляют вяло. И стрелков немного. Я вдруг вижу, что многие солдаты лежат мертвые. Их — большинство. Иные же стонут и не могут подняться.

Я слышу звуки рожка в немецких окопах. Это отравители играют отбой. Газовая атака окончена.

Опираясь на палку, я бреду в лазарет. На моем платке кровь от ужасающей рвоты.

Я иду по шоссе. Я вижу пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу“.

Эта новая проза Зощенко, совершенно иная, нежели его рассказы 20-х годов, на крыльях которых он взлетал на российский литературный Олимп, сразу привлекла внимание знатоков. Оценивая новеллы, введенные в первую часть повести, как „безупречно художественные“, К. И. Чуковский писал в связи с этим в своем очерке „Зощенко“:

„<...> Здесь уже никаких притязаний на „сказ“, никаких забот о курьезном и затейливом слоге. Даже те читатели, кого не интересуют научные медитации автора, не могут пройти равнодушно мимо таких рассказов, как „Двадцатое июля“, „В подвале“, „Умирает старик“, „Нервы“, „В саду“, „Вор“, „Предложение“, „Финал“, „Я люблю“, „Двенадцать дней“, „Эльвира“.

В них такое свободное дыхание, такая непринужденная дикция, словно автор и не замечает своего мастерства.

Я сказал ему об этом при первой же встрече (в Москве в 1944 году) и прибавил, что рассказы эти нужно только вышелушить из общего текста.

— Как вы сказали? Вы-ше-лу-шить? — спросил он обиженным тоном, и губы его неприязненно сжались. — Вы-ше-лу-шить? То есть как это: вы-ше-лу-шить?

Но я и сейчас остаюсь при своем. Эти краткие новеллы, как произведения искусства, для меня гораздо дороже всей книги».

Зощенко, безусловно, не мыслил себе отъединения собственно художественной прозы в повести от ее «трактатных» глав, в которых он на примере своей болезни и борьбы за выздоровление хотел помочь людям стать жизнедеятельными, разумными, радостными, хотел избавить их от непонятных подсознательных страхов и страданий. И в которых утверждал восход солнца человеческого разума, звал к этому. «В эту свою высокую миссию, — свидетельствует К. Чуковский, — он уверовал крепко, и она окрыляла его. Проповедник в его книге взял верх над художником — знакомая судьба типических русских талантов, начиная с Гоголя и Толстого, отказавшихся от очарований искусства во имя непосредственного служения людям. Из зощенковской книги мы ясно увидели, что он — по всему своему душевному складу — принадлежит именно к этой породе писателей».

Применительно к Зощенко это справедливое суждение следует, видимо, дополнить обстоятельством времени, в которое он жил и писал под воздействием извне небывалого идеологического пресса. Действительно, авторское «слово», серьезное и ироническое, авторские пояснения, поучения — яркая черта таланта Зощенко. И в 20-е годы он блестяще пользовался ею под маской подставных авторов для усиления своей

сатирической прозы и в первую очередь для противостояния всепроникающему идеологическому давлению. Затем, по мере достижения победительной идеологией тотального охвата, авторское слово Зощенко претерпевает существенные изменения. А в те годы, когда создавалась повесть «Перед восходом солнца», он, должно быть, интуитивно чувствовал невозможность, нереальность самостоятельного — «вышелушенного» существования в литературе его автобиографической летописи. Именно интуитивно, поскольку *умственно* был убежден в необходимой подчиненности своих художественных новелл заданной идее и сделанному им, как он полагал, научному открытию в области человеческого сознания. То было время особенно искаженного — идеологизированного — сочетания в людях ума и сердца, убеждений и чувствований, явного и подспудного.

И при всей самостоятельной художественной ценности автобиографической части тем не менее оказывается, что большинство ее тщательно подобранных новелл тонко связаны и работают на преследуемую в повести идейно-научную задачу. Говоря о первой части повести, В. Каверин, «серапионов брат» и выдержавший до конца все испытания друг Зощенко, писал, что она «состоит из рассказов, в которых перед читателем раскрывается панорама обыкновенной на первый взгляд, но на деле психопатологической жизни».

И в поисках причины угнетавшей его болезни Зощенко совершает в повести «Перед восходом солнца» еще одно возвращение — к самому истоку своей жизни. Вернее, он проникает в этот глубоко скрытый мир туманного рассвета человеческой жизни, в это существование «перед восходом солнца», где еще нет света разума. И где, наконец, должна быть обнаружена и действительно отыскивается им причина болезни, его необъяснимой, ужасающей хандры, доведшей его в 1926 году до того, что он, молодой человек тридцати двух лет и уже популярнейший писатель, «перестал есть и чуть не погиб».

Сто тринадцать новелл, эпизодов и совсем кратких, как вспышка, разрозненных кадров ранней памяти обозначают у Зощенко художественным пунктиром движение его поиска и, одновременно, летопись жизни. Он как бы продвигается по многообразной возвышенности своей юности и молодости, затем спускается в ясно видимую долину детства, снова постепенно поднимается в отрочество, опять, уже с усилием вспоминает отдельные фрагменты поры от двух до пяти лет. Каждый этап этого движения в объявленных поисках разгадки

болезни он однотипно подытоживает: «Нет, я не нашел того, — что искал». И делает общее заключение: «Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно». Это заключение — для читателя, итог, который, конечно, был известен ему самому заранее.

Так Зоценко подходит к скрытой плотным туманом, глубоко потаенной зоне беспамятного младенчества. Он вдруг чувствует столь сильный безотчетный страх, что понимает — «драма разыгралась именно тогда».

Он погружается в учебники и в научные труды физиологов. Зоценко пишет: «Наш мозг, по мнению физиологов, имеет как бы два этажа. Высший этаж — это кора мозга. Здесь — центр контроля, логики, критики, центры приобретенных рефлексов, здесь жизненный опыт. И низший этаж — источник наследственных рефлексов, животных сил». Таким образом: «Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга — мир цивилизованный и мир животного». И эти миры, констатирует Зоценко, уживаясь между собой, нередко вступают в конфликт.

Он начинает проникать в далекий мир маленького существа, не контролируемый разумом.

Первое постижение: рефлекс — особая реакция организма на любое раздражение извне — заменяет младенцу разум и логику. И снова как бы вместе с читателем, на его глазах, Зоценко разбирается в основных процессах, характеризующих в одинаковой мере рефлекторную деятельность и человека, и животного, и младенца. Извинившись перед «просвещенным читателем», он передает затем суть закона условных рефлексов, выведенного академиком Павловым. И раскрывает прилюдно направление своего на этот раз строго научного поиска:

«Это великое открытие — этот закон условных рефлексов, закон временных нервных связей — я хотел применить к своей жизни.

<...> Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть оттого, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был впрыснут яд.

Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу».

Здесь «шприц» — обобщающий образ.

Но как было узнать хоть что-нибудь про устрашивший младенца «шприц», если память не сохранила о том времени абсолютно ничего? Зоценко едет на место, где он жил с родителями в раннем детстве. И в одном из указанных ему домов, перед дверью их бывшей квартиры его

охватывает непонятная сердечная боль. По возвращении — а вернулся он совершенно больной, в сильнейшей тоске — его начинают мучить ужасные сны. От врача-фрейдиста Зоценко узнает, что только через эти тягостные для него сны-кошмары, возникающие от напряженных дум о своем детстве, он и сможет проникнуть в тот забытый мир, увидеть те младенческие сцены, которые ищет, и разобраться в своей болезни. Он идет по этому пути, но отвергает сексуальное толкование снов, которое исповедуется фрейдистами: «Это толкование не совпадало с тем, что я считал непогрешимым, не совпадало с методом Павлова, с принципом условных рефлексов». По этой же причине он отказывается от намерения стать учеником одного исключительно умного врача-фрейдиста, которому был весьма признателен за советы и помощь: «Он был ужасный противник Павлова. Кроме опытов зоологического характера, он ничего не видел в его работах... В каждом поступке ребенка и взрослого он видел сексуальное. Каждый сон он расшифровывал как сон эротомана». Зоценко не поверил до конца в его лечение. И уклонился от сеансов врачебного психоанализа по Фрейду.

Но подход к сновидениям как к продолжению психической деятельности человека при торможении сознания, при отсутствии контроля, критики, логики, приобретенного жизненного опыта, был взят на вооружение. Он ищет в своих сновидениях сцены, вызвавшие некогда у младенца тот многосоставный комплекс страха, который затем по мере умственного развития не был изжит, а лишь оттеснен глубоко внутрь. И затем мучительно отравлял жизнь взрослого человека.

Из воспоминаний К. Чуковского:

«Когда „угрюмство“ слишком донимало его, он уходил от семьи и ближайших друзей.

Как-то я зашел к нашему общему знакомому фотографу в его ателье на Невском, и фотограф сказал мне таинственным шепотом, что у него в мансарде, тут, за перегородкой в соседней клетушке, скрывается Зоценко. „Вторую неделю не бреется... сам себе готовит еду... и чтобы ни одного человека! Сидит и молчит всю неделю“.

Вот эту-то злую болезнь Зоценко и решил раньше всего победить. Или, по его выражению, „выкорчевать из своего организма“, мобилизовав ради этого все свои душевные силы. Не только потому, что она причиняла ему столько мучений, а потому, главным образом, что считал ее опасной и вредной для своего творчества, для своих будущих книг. <...>

В эту пору он не раз уверял, что писатель *обязан* быть жизнелюбивым, духовно здоровым, братски расположенным к людям, что норма его

мировоззрения — не ирония, не скепсис, но бодрый и горячий оптимизм. Иначе его писания будут клеветой на жизнь, искажением действительности... <...>

<...> С восхищением говорил он о Канте, который „силой разума и воли“ прекращал свои тяжелые недуги; а также о Пастере, которому удалось — опять-таки громадным напряжением воли — вернуть себе не только здоровье, но и молодость. <...>

<...> В эти годы он производил впечатление одержимого: ни о чем другом не мог говорить.

— Корней Иванович, я уже совсем излечился! — сказал он мне однажды с торжеством, но лицо у него было измученное, а в глазах по-прежнему таилось угрюмство».

Здесь Чуковский говорит о самом конце двадцатых годов и первой половине тридцатых. Сделаем еще одну выписку:

«Прошло года два или три.

— Ну вот теперь я окончательно выздоровел, — радостно сказал мне Михаил Михайлович.

Встреча произошла в Ленинградском союзе писателей. Вид у Зощенко и в самом деле был бодрый, на его загорелом лице не было и тени обычной апатии. С большим негодованием заговорил он со мною об одном возмутительном деле, которое тогда волновало нас всех. Какие-то злокозненные люди решили затравить одного из честнейших советских писателей — Алексея Ивановича Пантелеева, автора „Республики Шкид“. Для этого была пущена в ход клевета: нашли какого-то халтурного писаку и подучили его заявить, будто Пантелеев ограбил его, похитил у него какой-то не то рассказ, не то очерк, — и выдал чужое добро за свое. В другое время над этим обвинением посмеялись бы как над анекдотическим вздором и не придали бы ему никакого значения, но дело было в 1937 году, и потому обвинение грозило Пантелееву бедой, а может, и гибелью.

Экспертами по этому делу вместе с Михаилом Михайловичем были Маршак и я, и, помню, мы оба не раз восхищались энергичными высказываниями Зощенко против влиятельных „деятелей“, пытавшихся погубить Пантелеева.

<...> Во все это время Зощенко производил впечатление совершенно здорового. Было похоже, что ему действительно удалось это чудо: победа над собою, над своей ипохондрией. Он так настойчиво, с таким неутомимым упорством требовал от себя оптимизма, радостного приятия жизни, без которого, по его убеждению, немислимо подлинное литературное творчество, — что в конце концов достиг своего.

<...> Тогда же, в августе тридцать седьмого года, когда я зашел к нему на минуту — из-за того же пантелеевского дела, — он показал мне груды тетрадей и рукописей, аккуратно сложенных у него на столе.

— Это будет книга „Ключи счастья“, — сказал он, глядя на свои бумаги с нескрываемой лаской. — Это будет моя лучшая книга».

Вероятно, то была рукопись второй, «трактатной», половины книги, где Зоценко шаг за шагом раскрывал механизм своего психоневроза и которая не увидела свет в 1943 году. Читатели смогли узнать об этом только через тридцать лет, когда в журнале «Звезда» в 1972 году появилась «Повесть о разуме» как самостоятельное произведение Михаила Зоценко, без какого-либо указания на ее соединство с прерванной публикацией. Огласить, что это — вторая, неопубликованная половина «Перед восходом солнца», было нельзя. Уже вошел в свою силу период ползучего неосталинизма. Да и в «оттепель» тот прежний запрет не подлежал никакому пересмотру.

А в первой, опубликованной половине, в большей своей части «художественной», он успел с помощью снов определить и проанализировать только один из раздражителей, вызвавший у него неосознанный, оттесненный в глубину психики страх, — воду, и пришел к заключению, что вода, в которой его купали, устрашала его не сама по себе, а через условные нервные связи еще с какой-то опасностью.

В поисках этой опасности он анализирует далее свои сны, в которых часто видел по отдельности нищих и тигров. Приняв образ нищего за символ, возникший в процессе умственного развития ребенка, Зоценко сводит его к доступному пониманию младенца одному элементу этого образа — к протянутой руке, которая что-то просит, берет, отнимает. Два найденных раздражителя — вода и рука, погружающая в нее младенца, — оказываются соединенными условной связью таким образом, что вода сделалась опасной, страшной, «отравленной».

Какая же опасность исходила от руки? По всей вероятности, страх мог возникнуть оттого, что рука отнимала у младенца нечто главное, самое необходимое — питание, грудь матери. Но чтобы этот страх укрепился надолго, ему требовалось значительное усиление. Поступив с образом тигра из своих сновидений так же, как с образом нищего, Зоценко выделил в нем элемент нападения, растерзания жертвы хищником. Еще один его сон подтвердил затем ассоциацию образа тигра с рукой нищего. Зоценко увидел себя бегущим по длинному коридору от человека со сверкающим ножом в руке. Разгадка сна пришла сразу — большие светлые окна

коридора указали на больницу. А рука с ножом была рукой хирурга, который делал ему операцию в двухлетнем возрасте. По рассказу матери, операцию пришлось делать экстренно, без хлороформа, ибо начиналось заражение крови. Разрез был глубокий, шрам остался на всю жизнь — Зоценко находит на себе этот шрам.

Затем он выделяет и третий раздражитель — грудь матери. «Грудь, которая соединялась нервной связью с рукой». Грудь, которая была одновременно источником питания и, по этой связи с рукой, источником опасности.

«Я снова вспомнил принцип условных рефлексов. Один раздражитель, условно связанный с другим (даже и при отсутствии второго), создавал два очага возбуждения, равных по силе, ибо между двумя очагами имелась условная нервная связь.

Стало быть, увиденная грудь создавала у младенца второй очаг возбуждения, тот очаг, который возникал при виде руки — руки вора, нищего, хищника, убийцы.

Какая страшная картина открывалась передо мной! Какая жалкая жизнь предназначалась ребенку, юноше, мужчине!»

Еще одно трагическое совпадение — в годовалом возрасте, летом, в дачной местности, куда его вывезла мать, почти каждый день гремели ужасные грозы. Однажды сильнейший удар грома потряс их дачу. Молния ударила во дворе, загорелся сарай. Это совпало с моментом кормления его грудью. Мать на минуту даже потеряла сознание, выпустила ребенка из рук, он упал на постель, повредил руку. Так в сложной комбинации своего младенческого психоневроза он находит четвертый условный раздражитель — «удар, гром, выстрел». (Здесь все-таки возникает мысль о некотором переизбытке совпадений, нужных автору для доказательства своей теории.)

Ограничимся этой канвой научно-аналитических выкладок Зоценко, приведших его, как он был уверен, к постижению причины своей болезни, и перенесемся из его детства в юность и молодость.

Оказалось, что условные раздражители, вызвавшие психоневроз, не исчезли и временные связи между ними не разорвались. Наоборот, доказательства их опасности изменялись и перестраивались соответственно возрасту, вместе с ростом сознания. Вот, например, какая трансформация произошла с устрашающей младенца рукою нищего: «Образное мышление возвысило эту руку до символа. Рука стала карающей рукой, воображаемой, символической. Этот символ был вровень умственному развитию человека».

Карающая рука и теперь наказывала прежде всего за еду, но мотивы

стали вроде бы вполне логичными, реальными — угроза болезни или смерти от переедания, отравления; боли, спазмы, тошнота от ожидания расплаты; прием огромного количества лекарств для снятия болезненных проявлений, но никак не спасающих от них, а на самом деле отравляющих организм... И Зощенко сообщает: «Я перестал есть. Должно быть, обилие условных доказательств уверило меня в смертельной опасности еды. Этот отказ дважды возникал в моей жизни. И я не понимал, откуда он происходит. И только теперь картина становилась ясной, отчетливой, страшной. Условные нервные связи действовали с нарастающей силой».

Эта карающая рука аналогично наказывала и за связь с женщиной, ибо «грудь матери была едой лишь в младенческом возрасте. В дальнейшем грудь матери стала олицетворять женщину, любовь, сексуальность. Нет сомнения — я избегал женщины. Я избегал и одновременно стремился к ней. Я стремился к ней, чтобы бежать от нее, устрешенный ожидаемой расплатой». Зощенко вспоминает эпизоды, где «условные доказательства смертельной опасности всюду следовали за любовью, за женщиной». Он вновь обращается к уже описанному им случаю из детства, когда на соседней даче муж застрелил любовника своей жены, вспоминает утопленницу, которая бросилась в воду из-за несчастной любви, своего родственника-волокиту, подорвавшего здоровье многочисленными романами и умершего от этого. Он говорит о художественной литературе, в которой постоянно, на несметном числе примеров подтверждались опасности, сопровождающие любовь...

С беспощадным самоанализом он раскрывает симптомы своего психоневроза в собственных отношениях с женщинами и под этим углом зрения рассматривает заново ряд новелл из художественной части повести. В одной из них, напомним, рассказывалось о конце его юношеской любви, и Зощенко замечает:

«Я вспоминаю Надю В., о которой так много писал в своих воспоминаниях.

Значит, я бежал от нее? Этого не может быть. Я ее любил. Это вздор.

Нет, это не было вздором. Я действительно бежал от нее.

Но почему? Только лишь потому, что она была женственна и этим напоминала мне мою мать? Но ведь она вовсе не была похожа на мою мать. В ее облике не было никакого сходства. Ну что ж. Я и не страшился образа моей матери. Я страшился лишь того, что было связано с рукой и громом».

И отсылая читателя опять к своим новеллам-воспоминаниям, поскольку «теперь в них можно увидеть почти все», Зощенко восклицает: «Какую горькую и печальную жизнь я испытал!» Это восклицание —

применительно к его отношениям с женщинами — противоречит, как известно, тому, что было у него в действительности (и что нашло свое отражение в самой повести). Но такова, очевидно, неизбежная субъективность художника, руководствующегося захватившей его идеей.

А в следующей главе «Опасные связи» Зоценко вступает в полемику с Фрейдом. Он не отрицает, что в сложную комбинацию его психоневроза вошли и сексуальные мотивы, но убежден, что в «первоисточнике психоневроза эти сексуальные мотивы отсутствовали», что механизмы его психоневроза «возникали по принципу условных рефлексов». Имея в виду свой опыт, Зоценко возражает Фрейду:

«Страх и душевный конфликт ребенка возникли на основе более грубых, материальных, вещественных причин. Предметы, в условном значении которых младенец ошибся, — вот что явилось источником психоневроза и вот что создало страх и потерю радости.

Радость утоления голода стала сопровождаться страхом. Условные нервные связи соединили эту радость с бедой. Именно эта условная связь уничтожала радость и несла кастрацию».

Свое несогласие с учением Фрейда Зоценко высказывает и по ряду общих положений. В более мягкой форме он повторяет психологов-марксистов, громивших фрейдизм за признание в сфере бессознательного у человека ведущей роли биологического начала перед социальным. А при рассмотрении психоневрозов он делает ставку на механизмы головного мозга, открытые Павловым:

«Не учитывая законов условных рефлексов, нельзя обнаружить и точных причин нервных страданий.

Не учитывая возникших механизмов, Фрейд и в норме, и в патологии видел действие иных сил — конфликт высшего с низшим, столкновение атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека.

В запрете этих влечений Фрейд увидел причину психоневроза.

Но ведь запрет этих животных влечений и вся борьба в этой сфере есть всего лишь нравственная категория. <...>».

Обратим внимание на это «всего лишь» применительно к «нравственной категории». Здесь Зоценко опять противоречит самому себе. Несколько ранее, рассказав о фронтовом эпизоде, когда он, командир батальона, быстро преодолел свой страх перед водой, ведя батальон на позиции через реку, Зоценко писал: «Значит, я не был слепым орудием в руках своего страха. Мое поведение всякий раз было продиктовано долгом, совестью, сознанием. Но конфликт, который возникал при этом нередко,

приводил меня к недомоганию».

Присягая на верность Павлову, критикуя Фрейда, Зощенко в то же время обнаруживает свое понимание изначальных психических структур, обозначаемых, по К. Г. Юнгу, термином «архетип» и лежащих в основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок, художественных произведений. В повести «Перед восходом солнца» Зощенко говорит применительно к нижнему этажу человеческой психики о «первичной материи, из которой создан мир. Это одинаково важно, ибо в этом — истоки разума, истоки сознания, истоки добра и зла».

Об этих познаниях и размышлениях Зощенко написал в своих воспоминаниях о нем Геннадий Гор, чье свидетельство послужило зачином для статьи Андрея Синявского «Мифы Михаила Зощенко». Синявский блестяще доказывает на примере «Сентиментальных повестей», что и сам Зощенко, и его герои «живут в мире мифов, которые преследуют человека».

Что касается психоанализа Фрейда, то Зощенко не считал, что этот метод при всей его тщательной разработке дает полное и окончательное излечение от психоневрозов: «Ибо врач и больной все время сталкиваются с нравственными категориями и сквозь них не видят механизмов, которые нужно исправить. Не видят нервных связей, которые нужно разорвать. Эти условные нервные связи продолжают существовать и действовать. Это сулит возврат к болезни и, видимо, огромную сопротивляемость».

Свой метод Зощенко сформулировал так:

«Вся суть излечения состоит в том, чтобы найти эти связи и разорвать их, разъединить объекты устрашения, показать их истинную ничтожную сущность».

Зощенко сумел разорвать образовавшиеся во младенчестве ошибочные условные нервные связи, соединившие четыре «больных предмета». Сделать это было чрезвычайно трудно. Первые же попытки проникнуть в напрочь скрытую «туманом забвения» жизнь маленького существа вызвали сильное физическое недомогание, ужасную тоску, сны-кошмары, от которых он в страхе просыпался. И чем дальше, расшифровывая свои сны, он вторгался в те запретные, не контролируемые разумом пределы, тем больший испытывал страх. Зощенко пишет в повести о своей борьбе за исцеление:

«Этот страх цепко держал меня в своих объятиях. <...> Он сжимал меня тем сильнее, чем глубже я проникал в тот поразительный мир, законы которого я так долго не мог понять.

Но я проник за порог этого мира. Свет моего разума осветил ужасные

трусобы, где таились страхи, где находили себе пристанище варварские силы, столь омрачавшие мою жизнь.

<...> Я раньше терпел поражения в темноте, не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его уловки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так устрашали раньше. Но теперь, когда я научился языку врага, эти крики перестали меня страшить.

И тогда шаг за шагом я стал теснить моего противника. <...>

<...> И тогда объятия страха стали ослабевать. И наконец прекратились. Враг бежал.

Но чего стоила мне эта борьба!

С распоротым брюхом я валялся в постели. Мое оружие — бумага и карандаш — лежали рядом со мной. И у меня иной раз не было даже силы поднять мою руку, чтобы взять их снова.

<...> Я был убит, растерзан, искромсан, с тем, чтобы снова возникнуть из праха.

Я лежал почти бездыханный, ожидая, что вот еще раз вернется мой противник и тогда все будет кончено. Но он не вернулся».

К этому живописанию добавим строгую формулировку происшедшего:

«Однако отчего же пришло излечение? Какие механизмы были исправлены? Почему давние страхи простились с моей особой?»

<...> Эти страхи были увязаны с теми объектами, кои не были опасны в той мере, как это воспринял младенец.

<...> Я разорвал эти связи. Разъединил подлинные беды от их условных объектов устрашения. Придал этим объектам устрашения их истинное значение. И в этом и заключалось излечение. Отсутствие логики лечилось логикой.

<...> И, разорвав условные связи, я освободился от заторможения, от того патологического заторможения, которое всякий раз возникало при встрече с „больными“ предметами».

Перейдем теперь к не менее важному вопросу — каковы же были результаты этого исцеления? Вот как их определил сам Зощенко:

«Я поднялся с постели уже не тем, кем я был. Необыкновенно здоровый, сильный, с огромной радостью в сердце я встал с моей постели.

Каждый час, каждая минута моей жизни наполнялись каким-то восторгом, счастьем, ликованием.

Я не знал этого раньше.

Моя голова стала необыкновенно ясной, сердце было раскрыто, воля свободна.

<...> Я впервые почувствовал вкус еды, запах хлеба. Я впервые понял, что такое сон, спокойствие, отдых.

Я почти заметался, не зная, куда мне девать мои варварские силы, столь непривычные для меня, столь не скованные цепями.

Как танк двинулся я по полям моей жизни, с легкостью преодолевая все препятствия, все преграды.

Я чуть было не натворил много бед, не соразмеряя своих новых шагов и поступков.

И тогда я задумался над своей новой жизнью. И она показалась мне не столь привлекательной, как вначале. Мне показалось, что я стал людям приносить больше горя, чем раньше, когда я был скованный, слабый. <...>».

Возможно, с этими признаниями Зощенко как-то сочетается запись в «Дневнике» К. И. Чуковского, сделанная в январе 1934 года: «Были у нас с визитом Стеничи. Жена В. О. рассказывает, что Зощенко уверен, что перед ним не устоит ни одна женщина. И вообще о нем рассказывают анекдоты и посмеиваются над ним, а я считаю его самым замечательным писателем современности».

### **3. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ИСЦЕЛЕНИЯ**

Оставив тут в стороне частную жизнь Зощенко, сосредоточим внимание на его писательстве. Как изменилось оно в связи с исцелением? Зощенко говорит:

«Я вновь взял то, что держал в своих руках, — искусство. Но я взял его уже не дрожащими руками, и не с отчаянием в сердце, и не с печалью во взоре.

Необыкновенная дорога расстилалась передо мной. По ней я иду вот уже много лет. И много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета».

Вспомним, что еще в 1927 году он заявлял Чуковскому: «Надо жить хорошим третьим сортом» и что «я теперь, если плохой рассказ напишу, все равно печатаю». Добавим сюда и такой их диалог того же воскресного октябрьского дня: «Вы знаете, сколько тысяч моей последней книжки напечатала ‘Красная Газета’? — говорит Зощенко надменно. — 92 тысячи!» — «Но там много слабых рассказов!» — говорю я. «Нет! —

отвечает Зощенко. — Там есть рассказ о матери и дочери и проч. Теперь я не слушаю, если меня бранят... Как меня бранили, когда я стал писать свои маленькие рассказы — особенно были недовольны Мих. Слонимский и Федин... Нет, я публику знаю и не ошибаюсь... нет!» (из «Дневника» К. Чуковского).

Напомним и то, что в «Голубой книге», журнальная публикация которой началась в 1934 году, он открыто провозгласил смену курса своего литературного корабля.

И вновь обратимся к бесценным воспоминаниям Чуковского, где говорится о Зощенко второй половины 30-х годов:

«Как-то он зашел ко мне на Кирочную за какой-то справкой о Некрасове и остался до позднего вечера — поговорить на любимую тему... <...>

— Моя мать, — рассказывал он между тем, — не раз упрекала меня, что у меня будто бы закрытое сердце. Но имеет ли право писатель писать, если у него закрытое сердце? Поэтому я раньше всего принял особые меры, чтобы сердце у меня распахнулось. Я загрузил себя общественной работой. Я стал писать добрые рассказы и повести о добрых людях и добрых делах.

Я знал эти „добрые“ повести. Лучше бы он не писал их. Правда, они были искренни, написаны от чистого сердца. Но в них не было Зощенко, не было его таланта, его юмора, его индивидуального почерка. Их мог написать кто угодно. Они были безличны и пресны.

Он угадал мою мысль.

— Зато, — сказал он, — я каждое, каждое утро просыпаюсь теперь счастливым. Каждый день для меня праздник, день рождения. Никогда я не испытывал таких приливов безграничного счастья.

И он стал называть имена врачей, которые в один голос признали, что от его болезни не осталось следа».

Как раз в период этих «приливов» и «праздников» им были написаны и «История одной перековки», и «Голубая книга», и «Возмездие», и «Бесславный конец», и рассказы о Ленине, и пьеса «Опасные связи» (про те связи, в которые вступают «враги народа»). Мы уже говорили о «подпрессовом» происхождении этих его сочинений, о полном, казалось бы, приятии Зощенко в те годы советской идеологии, о его активной общественной деятельности. Именно тогда он печатно заявил и о своем признании справедливой формулы «сатира должна быть положительной». И писал рассказы по этой формуле...

Обратим внимание на примечательное совпадение — смена литературного курса происходила у Зощенко одновременно с ходом

исцеления от хандры. Такая синхронность наталкивает предположить, что это было не просто совпадение, что имели место не просто независимые друг от друга параллельные процессы, а — связь их, тоже своего рода *опасная* связь, опасная своим взаимовлиянием.

По этому поводу сделаем отступление в область психоанализа.

В 1993 году в Санкт-Петербурге была издана книга уже упоминавшегося здесь А. Эткинда «Эрос невозможного», предметом которой является «История психоанализа в России». Там имеется несколько страниц, посвященных Зоценко. Но сначала приведем выдержку из главы «Жизнь и работа Лу Андреас-Саломе»:

«В течение десятилетий после того как закончилась их любовная связь, Рильке писал Лу о том, чего не смел сказать в стихах. Когда волнами охватывавшая его тревога оказывалась чрезмерно велика, он молил о встрече, но почти всегда получал отказ. Выражая очевидное намерение держать слишком неустойчивого партнера на расстоянии, письма Лу поощряли Рильке к творчеству. Она рассматривала его стихи как спонтанно найденный и ничем другим не заменимый способ самолечения. Позднее, в 1912 году, она даже отсоветовала Рильке начать курс психоанализа, к которому он всерьез собирался прибегнуть, хотя и испытывал сильное сопротивление. Они согласились тогда друг с другом, что психоанализ наверняка поможет Рильке избавиться от эмоциональных кризисов, но скорее всего он избавит его и от способности писать стихи... Всего через месяц после незавершенных тогда переговоров с одним аналитиком Рильке начал писать свои „Дуинские элегии“, так что история сумела доказать по крайней мере обратное: без психоанализа Рильке сохранял свою гениальность».

Позже кенигсбергский пациент Лу, которому она иногда в ходе анализа рассказывала истории из своей жизни, вспоминал: «Однажды, говорила Лу, мы сидели с Рильке в поезде и играли в свободные ассоциации. <...> Неожиданно мне пришло в голову объяснить, почему Рильке захотел написать свою повесть о военной школе, и я сказала ему об этом. Я объяснила ему природу бессознательных сил, которые заставляют его писать, потому что они были подавлены, когда он был в школе. Он сначала засмеялся, а потом стал серьезным и сказал, что теперь он вообще не стал бы писать эту повесть: я вынула ее из его души. Это поразило меня, тут я поняла опасность психоанализа для художника. Здесь вмешаться — значит разрушить. Вот почему я всегда отговаривала Рильке от психоанализа. Потому что успешный анализ может освободить художника от демонов, которые владеют им, но он же может увести с собой ангелов, которые

помогают ему творить».

Кажется, что эти последние слова Лу Андреас-Саломе имеют прямое отношение и к Зощенко — они включают медицинский, психоаналитический аспект в объяснение причин того, что произошло с Зощенко-писателем во второй половине 30-х годов. А совет Лу Андреас-Саломе, данный Рильке, применительно к Зощенко и в свойственной ему самому юмористической форме мог бы, наверное, быть выражен так: «Берегите хандру!..»

Но как оценивает болезнь и квалифицирует самолечение Зощенко наш отечественный специалист-психолог А. Эткинд в своей книге? Он считает, что Зощенко был тяжелым невротиком, ипохондрия которого сопровождалась периодическими депрессиями, а выбранный им метод лечения — это самоанализ, «перемежающийся популярными теоретическими штудиями на ту же вечную тему „Павлов и Фрейд“». Говоря же о результате этого лечения, как оно излагалось в повести «Перед восходом солнца», Эткинд пишет:

«История не закончена. Такой анализ, конечно, и не мог быть завершен до конца. Недоступность самоанализу содержания собственного бессознательного является одной из азбучных истин фрейдовского метода. В процессе самоанализа человек оказывается подвержен тем же искажающим механизмам, которые порождают его симптомы и его сны. Только в контакте с сознанием и бессознательным Другого идет подлинное проникновение в себя». Эту истину, замечает А. Эткинд, часто забывали в России даже те, кто симпатизировал Фрейду: «<...>...характерные для психоанализа моменты осознания привлекали гораздо больше внимания, чем столь же важные для него моменты переноса. <...> Зощенко, отказавшийся от психоанализа у своего „очень умного“ фрейдиста ради „павловского“ осознания собственных рефлекторных связей и доминант, шел тем же путем».

Но, очевидно, именно поэтому и стал возможен новый творческий взлет Зощенко, его вторая вершина в литературе после рассказов и повестей 20-х годов — повесть «Перед восходом солнца». Психоанализ по Фрейду в полном объеме мог бы, говоря словами Рильке, «вынуть ее из его души».

Так что присмотримся еще раз — не как к болезни только — к зощенковской хандре, ипохондрии, меланхолии, тоске...

Вернемся с этой целью к первой — художественной — половине «Перед восходом солнца», сюжетной пружиной в которой для

развертывания автобиографических новелл Зощенко сделал поиск трагического случая, вызвавшего у него болезнь, тяжелую хандру.

Попутно отметим одну частность. Когда он работал над повестью, поставленная задача невольно вынуждала его подгонять под общий тон и те отдельные эпизоды, о которых прежде рассказывалось более весело. Вот, к примеру, как он пишет в повести о своем возвращении с фронта (по болезни) в Петроград в первых числах марта 1917 года и недолгом пребывании в должности коменданта главного почтамта:

«Я вижу кругом радость и ликование. Все довольны, что произошла революция. Кроме Нади, которая сказала мне: „Это ужасно. Это опасно для России. Я не жду ничего хорошего“.

Два дня я чувствую себя прекрасно. На третий день у меня снова хандра, снова перебои сердца, мрак и меланхолия.

Я ничего не понимаю. Я теряюсь в догадках, откуда возникла эта тоска. Ее не должно быть!

Вероятно, нужно работать. Вероятно, нужно все силы отдать людям, стране, новой жизни.

Я иду в главный штаб, к представителю Временного правительства. Я прошу его снова назначить меня в армию.

Но я негоден в строй, и меня назначают комендантом главного почтамта и телеграфа.

То, что мне больше всего неприятно, — исполнилось. Я сижу в кабинете и подписываю какие-то бумаги. Эта работа мне противна в высшей степени.

Я иду снова в штаб и прошу командировать меня куда-либо в провинцию.

Мне предлагают Архангельск — адъютантом дружины. Я соглашаюсь».

Но ведь в 1927 году в уже известной заметке «О себе» он весело писал о своем комендантстве на главпочтамте, как о «самой пышной у меня должности», при которой он лихо разъезжал в полагавшихся ему дрожках, жил в гостинице «Астория» и встречался со знаменитыми людьми. И таких примеров некоторой аберрации его памяти можно привести немало.

Однако болезнь действительно долго и тяжело угнетала Зощенко, и вполне естественно, что он направил свой интеллект на то, чтобы победить ее. И написал об этом повесть.

Вместе с тем нельзя не обратить внимания и на особую роль, которую эта болезнь играла в формировании самой его судьбы. Хандра стала не только пружиной сюжета в повести «Перед восходом солнца», но являлась,

по настоятельным утверждениям Зощенко, и главным двигателем остросюжетных поворотов в его собственной жизни. Он прямо говорит в повести об этом своем побудителе коренных перемен и трехлетних скитаний после возвращения с фронта в начале Февральской революции:

«Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтоб вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, — склонные к хандре, меланхолии и грусти.

Никаких так называемых „социальных расхождений“ я не испытывал. Тем не менее, я стал по-прежнему испытывать тоску.

Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит.

Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан — в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, во Псков. Затем в Смоленскую губернию в город Красный. Снова вернулся в Петроград.

Хандра следовала за мной по пятам.

За три года я переменял двенадцать городов и десять профессий.

Я был: милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем.

Это было не твердое шествие по жизни, это было — замешательство.

Полгода я снова провел на фронте в Красной Армии — под Нарвой и Ямбургом.

Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии.

В 1921 году я стал писать рассказы».

Итак, причина его скитаний 1917–1919 годов указана — хандра, и указана со всей убежденностью в том, что только она одна и гнала его по белу свету.

Но мы уже вели речь о том, что талант, этот дар Божий, а не хандра, привел его в литературу. Тем не менее и хандра, присущая ему или глубоко засевшая в нем, была постоянной и неременной участницей этого движения — сперва в литературу, затем по ее путям.

И в этой связи надо сказать для полной объективности, что и сам Зощенко, при всей своей приверженности учению И. П. Павлова об условных рефлексах, не отрицал особой психической организации художественной природы вообще и его собственной в частности. Рассказывая об образовании своего психоневроза, он пишет:

«Но ведь в жизни каждого ребенка повторяется то же самое — рука

отнимает грудь, наказывает, купает. Почему же у других это проходит бесследно, не травмирует их, не оставляет ран? Ну что ж — мы разбираем исключительный случай. Мы говорим о психоневрозе. Мы видим перед собой крайне чувствительную психику младенца — будущего художника, творца, фантазера. Мы видим пример, когда столь чувствительная психика способствует возникновению болезни.

Мы говорим в данном случае не о норме, а о патологии».

Таким образом, талант и предрасположенность к психоневрозу оказались у Зощенко в опасном соседстве и взаимодействии, поскольку имели общую основу — «крайне чувствительную психику», которая к тому же находилась под непрерывным давлением внешних сил и обстоятельств. Здесь, надо полагать, в этом сцеплении и сочетании, коренились и блестящие взлеты, и спады в его творчестве.

И повесть «Перед восходом солнца», при всей ее направленности на то, чтобы «облагодетельствовать человечество», как выразился Зощенко не без самоиронии, дает нам весьма редкую возможность глубинного познания его самого.

# ОБВАЛ

## 1. В МОСКВЕ

Работая над этой повестью в Алма-Ате и внимательно следя за событиями на фронте и в тылу, Зоценко, конечно, не мог не почувствовать тот подъем общенародного духа, который делал каждого советского человека более свободным — ведь теперь от каждого в отдельности тоже зависела судьба Родины. Диапазон этого подъема выразился в известнейших тогда стихотворных строках: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» и «Жди меня, и я вернусь...». Повесть «Перед восходом солнца» была для Зоценко и его восставанием, и возвращением.

Но чтобы этот его взлет осуществился практически, на пути между письменным столом и страницами журнала должны были создаться и благоприятно сойтись одно к одному многие необходимые обстоятельства делового порядка. И они судьбоносно сошлись. Решающее значение имел, конечно, вызов Зоценко из Алма-Аты, из киностудии «Мосфильм», в Москву — на работу в журнал «Крокодил». Судя по тому, что он в 1942 году возобновил свои отношения с этим главным в стране сатирическим журналом, а с начала 1943-го печатается там все активнее, этот вызов готовился им заранее. Он становится членом редколлегии журнала, его поселяют в центральной гостинице «Москва», где живут по приезду в столицу известные и важные персоны. И все лето и часть осени почти в каждом номере еженедельного «Крокодила» публикуются его рассказы и фельетоны.

Свою заметную роль сыграл в этой истории и академик А. Д. Сперанский, известный физиолог, с которым Зоценко был знаком с тех довоенных времен, когда вышла в свет его «Возвращенная молодость». Оказавшийся также в Москве, Сперанский дал свое в высшей степени положительное научное заключение о повести. С этим заключением руководству «Октября» было гораздо легче получить в ЦК партии разрешение на печатание повести. (А членами редколлегии журнала являлись тогда такие авторитетные в партийных верхах советские писатели, как Ф. Панферов и П. Павленко.)

Но самым главным фактором для напечатания повести был, очевидно, момент, *время* — 1943 год, начало которого ознаменовалось совершившейся великой победой под Сталинградом, потрясшей весь

гитлеровский рейх. В Красной армии были неожиданно введены погоны — Великий вождь хотел видеть другую, победоносную армию, не ту, которая в 1941 году, истекая кровью, тяжело отступала до Москвы, а в 42-м до Волги. Теперь в войне произошел долгожданный перелом. И летом 1943 года Москва уже снова была бурлящей «великосоветской» жизнью столицей, куда все торопились вернуться.

Весьма заметное оживление происходило, естественно, и в писательской среде, в редакциях и издательствах. Тот общий подъем духа и создал благоприятную обстановку для прохождения рукописи «Перед восходом солнца».

В большом письме Лидии Чаловой, которая еще была в Алма-Ате, Зощенко подробно описал ей как свои дела, так и общую обстановку в столице. «Жизнь тут, — сообщал он, — весьма сложная, и чтобы не сбиться (написал было — спиться), буду писать по параграфам». Письмо это Чалова получила 8 июня 1943 года. В первых двух «параграфах» говорилось о его довольно сносном бытовом устройстве. Далее обстоятельно рассказывалось о делах:

«3. *Положение.* Ввели в редколлегию „Крокодила“. Вызвали и предложили быть ответственным редактором. Я еле смог отказаться. Вот уж была бы для меня беда. Просили улучшить журнал. Стараюсь и трачу много времени на это. Но будет ли толк, не уверен. Беда не в нас, а в цензуре и войне, с которой смех мало вяжется.

Тут в Москве начальство меня весьма „ласкает“. Нет, кажется, журнала, который бы меня не тянул к себе. Не хватает мужества всем отказывать. И это очень дурно. Начну писать пустяки. Физически невозможно писать много и почти все об одном и том же. От множества предложений болит голова, потерял память — забываю, что кому обещал. Платят же, кстати, ерунду.

Будущее покрыто мраком. Долго невозможно выдержать такую суету, которая вокруг происходит.

4. *Работа.* По этой причине работа идет не так, как хотелось бы. Перескакиваю с одной темы на другую. Ох, превращусь в газетного репортера. От этого страдает и моя большая работа. Приходится писать урывками. А то и ночами.

Большую книгу я ведь еще не закончил. В поезде я написал две главы — V „Черная вода“ и VI „Перед восходом солнца“. Здесь в Москве только отдал эти главы. И написал еще новую часть VII.

Еще порядочно осталось. И как я управлюсь — не представляю. Отказаться от журнального фельетона нельзя. Все — начальство. И

некоторые почти приказывают.

5. *Книга*. С книгой моей обстоит дело пока что не только хорошо, но даже великолепно. Я не видел такого волнения, которое я увидел у тех, кто ее читал. Я услышал наивысшие комплименты. И от редакции, и от литераторов. Меня тут упростили читать. Читал писателям (в небольшом кругу). Два дня. Такой реакции мне еще не приходилось видеть.

Кстати, скажу. Редакция „Октября“ дала книгу на проверку Сперанскому. Тот дал наивысший отзыв. Сказал, что с точки зрения науки это точно. Не сделал никаких поправок. Звонил мне и сказал, что это поразительная книга. Однако выразил сомнение в том, что я смогу в полной мере доказать тему (то есть об условных рефлексах, о практическом применении системы Павлова). Тут он ошибается. Все будет доказано математически точно.

В общем, книга произвела большой шум. Сейчас ее читают в ЦК. После чего она пойдет в VI № „Октября“. Если, конечно, цензура не наложит руку. Редакция уверена, что ничего не случится. Я не очень. Но почему-то я даже не слишком огорчусь. Мне было важно написать, а не напечатать...»

Однако последние главы повести еще не были готовы, и Зощенко писал их в форсированном темпе. И сообщил Лидии Чаловой:

«26 июня 1943 года.

...Работаю по 20 часов в день — обещал до 1 августа сдать всю книгу. В VI и VII книгах „Октября“ идут первые 7 глав. Так что июнь и июль у меня самые тягостные месяцы. Сегодня закончил VIII и IX главы. Осталось листа 3. После чего начну регулярно жить... Никаких посылок мне не посылай — у меня все есть...»

«6 августа 1943 года.

...Этот месяц я весьма заработался — стал плохо спать, расстроились нервы. Сейчас лучше, думаю вскоре снова вернуться к работе. Недели на 2–3 выключился, чтобы передохнуть.

Дела мои идут хорошо — дали отличный паек (лимит на 500 р.). Так что сыт по горло. Но брать продукты некому — зеваю выдачу и всякого рода земные блага. От этих дел у меня болит голова, тем более что надо следить за карточками, выдачами.

С работой тоже хорошо получилось. „Октябрь“ № 6 видел только сигнальный. Пока не получил. В № 7 идет 2-я часть. Третья готова и сдана. Финал (листа 2–3) не написал, только в набросках. Но финал я вовсе не уверен, что напечатают, и оттого не тороплюсь.

Работать пришлось много, но с деньгами весьма туго. ГИХЛ вовсе не

платит уже два месяца (нет книг, и, значит, нет денег). Приходится подхалтуривать на эстраде. „Крокодил“ платит за рассказ 300 рублей. Черт бы их драл, как это глупо, если актер, который *прочтет* мой рассказ, получает столько же...»

Затем, 10 сентября 1943 года, за две недели до приезда Чаловой в Москву, он отправил ей еще одно большое и важное письмо:

«...Пришлось купить костюм — здесь „шикарная“ жизнь, и мне в моем тряпье неудобно было ходить и тем более выступать перед чистенькой публикой. Поэтому задолжался.

Если ты не обойдешься с деньгами, то займи (отдадим!), либо ликвидируй все мое барахло — пиджак, штаны, халат и т. д. Все это мне теперь не нужно, так как на мне отличный костюм и второй отремонтирован. В общем, сообрази, как сделать...

Журнал „Октябрь“ вышел. Не посылаю тебе, потому что случилось необыкновенное — *мне с трудом дали 2 номера*, и я дал почитать знакомым и до сих пор не получил. Номера пошли по рукам. И просто исчезли. Завтра мне даст редакция еще один номер, который я сохраню для тебя. Интерес к работе такой, что в редакции разводят руками, говорят, что такого случая у них не было — журнал исчезает, его крадут, и редакция не может мне дать лишнего экземпляра. Я помню, нечто подобное было с „Возвращенной молодостью“. В общем, шум исключительный. Можно представить, что будет после второй части, когда начнется толкование снов.

Ты знаешь, Лидуша, я тут было хотел вообще не печатать книгу. Получается столь интимно и откровенно, что стало мне не по себе. Верней, я хотел прекратить печатание после 1-й части. Все-таки — живой автор. А тут будут люди копать в моих любовных и прочих делах. Стоит ли это?

Решил положиться на судьбу — втайне надеюсь, что всю книгу не напечатают. Где-то она запнется. Скорее всего, III и IV части цензура не пропустит. Кроме утешения от этого ничего не получу. Говорю об этом, не позируя, — действительно не хотел бы, чтоб книга вышла сейчас. Одно дело писать, а другое дело представить себе читателя за этой книгой. Да еще с улыбочкой на морде.

В общем, две части ЦК пропустил, хотя во второй части — анализ и толкование снов имеется.

Извини, что столь обстоятельно говорю об этих вещах — душа не спокойна. Хотел „облагодетельствовать“ человечество. Да нужно для этого железный характер. Ведь одинакового мнения не будет. Предвижу брань и даже скандал. Редакция хотела устроить диспут до напечатания, но Сперанский не посоветовал, сказав, что диспут устроим, опубликовав всю

книгу.

Сперанский, кстати, взял III часть, чтоб своим методом доказать мои положения. Однако если он нарушит или исказит мой принцип — я откажусь от его поправок. И редакция на моей стороне, чем весьма удивлен.

В общем, хочется легкой и спокойной жизни. Черт бы побрал мою экскурсию в науку.

Лидуша! В Гослитиздате все знакомые лица — тут и Чагин, и Горский, и Владыкин. Надеюсь, тебе интересно будет зайти в это богоугодное заведение...»

Приехавшая вскоре в Москву Лидия Александровна Чалова стала работать в Гослитиздате заведующей технической редакцией. Разумеется, и вызов в Москву, и ее устройство на работу в главном литературном издательстве страны — все это происходило при участии Зощенко, которого в тот момент, по его же словам, «начальство весьма „ласкало“» и литературное положение которого казалось незыблемым.

И опять — приезд Лидии Чаловой был для Зощенко главной поддержкой в низвергнувшихся на него вслед за тем бедах.

Бликие отношения с Чаловой никак не ограничивали постоянную связь и заботу Зощенко о семье, находившейся в блокадном Ленинграде. Почта туда доставлялась с большими перерывами, и Зощенко с женой общались частыми телеграммами.

К началу зимы 1941 года в городе наступил голод. Вера Владимировна, по совету другой писательской жены, обратилась за помощью к председателю Ленгорсовета, который, как она пишет, «оказался большим „поклонником“ Зощенко». И дополнительные продуктовые выдачи по его распоряжению значительно поддержали ее и сына. (Вера Владимировна отметила также в воспоминаниях, что передала председателю Ленгорсовета в благодарность самые лучшие экземпляры книг Зощенко со своими надписями, «чем возмутился Михаил в первый же день по возвращении из эвакуации — книги он берег для последующих переизданий...»)

Затем она сообщает: «<...>...но настоящее „спасение“ пришло тогда, когда была получена посылка из Московского союза писателей, посланная по настоятельной просьбе Михаила „семье Зощенко...“» (такие посылки от Московского союза поступили и всем другим писателям, оставшимся в Ленинграде).

Каждую неделю Зощенко посылал семье деньги и при любой okazji продукты — из Алма-Аты, потом постоянно из Москвы. Эта забота и

внимание были восприняты Верой Владимировной (которая ничего не знала о Чаловой) на свой неизменный лад: «Мне казалось — только он один нужен мне, что теперь мы поняли, наконец, друг друга, что когда он вернется, начнется у нас новая, светлая жизнь... Мне поверилось, что и он любит меня, что эта разлука показала, как я нужна и дорога ему!.. Боже, как я ошибалась!..»

В июне 1942 года был призван в армию их сын Валерий; ему исполнился уже 21 год. Его направили сначала в запасной полк под Ленинградом (куда к нему сразу приехала Вера Владимировна), а затем в действующую армию. И все усилия Веры Владимировны, у которой в первую, самую жестокую блокадную зиму умерли мать и сестра, сосредоточились на том, чтобы не допустить гибели сына. В августе, не получая несколько дней от него вестей, она записала в дневник:

«Если б я была нужна Михаилу, он сумел бы вернуться ко мне!.. Но нет, у него нет ко мне ничего, кроме жалости и долга, долга и жалости...

И если погиб мой ребенок, единственное оправдание, цель и смысл моей жизни — мне не для чего больше жить.

Михаил, „книга моей жизни“ — все это не сможет удержать меня для жизни...» (Под «книгой моей жизни» подразумевались, очевидно, ее многочисленные дневниковые тетради.)

Сам Зоценко, находившийся в Алма-Ате, предпринял тем летом попытку через возглавлявшего Союз писателей Фадеева перевести сына в алма-атинское военное училище, где Валерий стал бы офицером. Но получил отказ. Вера Владимировна действовала успешнее — с помощью заместителя начальника ленинградского НКВД, который, как она написала в своих воспоминаниях, принял участие в судьбе ее сына и с которым у нее установилась «дружба», Валерий уже в сентябре был переведен в отдельный стрелковый батальон внутренних войск, в один из так называемых «заградотрядов». О чем Вера Владимировна, используя это известное наименование, сообщила мужу телеграммой. («Заградотряды» имели задачу огневым воздействием пресекать стихийное отступление своих войск.) В этом батальоне Валерий пробыл совсем недолго — его направили на лечение в госпиталь, где он прошел затем переосвидетельствование и в декабре 1942 года был демобилизован сроком на год. Узнав об этом, Зоценко настоятельно зовет жену и сына приехать в Алма-Ату (в январе 1943 года произошел прорыв блокады Ленинграда), но вскоре извещает их о своем предстоящем переезде в Москву.

Письма Зоценко жене в этот период существенно дополняют представление о его душевном состоянии, работе и причинах тех или иных

решений. Приведем некоторые выдержки.

Из письма от 8 сентября 1942 года:

«Веруша! Я получил твои (августовские) письма и три телеграммы. Я огорчился, что ты пишешь, будто я равнодушен к Валичке и тебе. Я очень огорчаюсь, и нет дня, чтоб не мучился за вас. Весной я совсем было собрался поехать в Ленинград, но после гриппа у меня было с сердцем очень нехорошо. У меня и зимой сердце было не в порядке (по-настоящему, а не нервы). А в апреле стали у меня опухать ноги, причем настолько, что еле мог надеть сапоги. Пришлось много лежать, и понемногу стало легче. Но ноги и сейчас не в порядке — отеки значительные. К врачу я не обращался — просто сам видел, что тут декомпенсация и нужно лежать и покой. А в июне меня вызвали в военкомат на переосвидетельствование. И после обсуждения сосчитали, что у меня сердце совсем не в порядке и нужно госпитальное лечение, чтобы устранить декомпенсацию. Но сказали, что это не наверно можно поправить. Так что весь год у меня было паршивое состояние. И даже близкий путь мне был бы нелегко. Тем не менее я очень хотел поехать. И совсем приготовился к этому. Но, вероятно, волнения ухудшили дело. <...>

И вот... <....> я как-то понял, что мой приезд, кроме болезни и гибели, мне ничего бы не принес. (А ведь я должен закончить книгу, над которой работал 7 лет.) Сейчас у меня несколько легче с сердцем и меньше отеки. Я надеюсь, что они, если и не пройдут (врач сказал — вряд ли), то все же я буду в той форме, когда мне проще будет сесть в поезд. И я непременно решил поехать. Но, видимо, сначала в Москву. <...> Главное сознание, что помочь не помогу, а заболею или подохну непременно. Ты ведь знаешь, как я легко скатывался к такому ужасному состоянию, из которого я месяцами не мог выбраться. Ты же считаешь, что мне это не трудно, а просто я будто бы не хочу и равнодушен к вам. Ну вспомни, Вера, как я болел и как многое для меня было непереносимо. Я здесь еле-еле справляюсь со своими равновесиями. У меня вовсе нет горячего желания непременно выжить. Но я всегда старался делать разумные вещи. Или то, что принесло бы пользу.

Мне очень, очень жаль тебя и за Валюту мучаюсь каждый день. Но в чем будет польза. <...> В том, что сам слягу. А ведь мне нужно заработать около 2-х тысяч. Примерно 1100–1200 я посылаю тебе. А заработать сейчас это крайне нелегко. И главное, для этого нужно хоть какое-нибудь равновесие, которого я в Ленинграде иметь не буду, что бы ты ни говорила.

<...> Еще раз прошу тебя не укорять меня в равнодушии к твоим и Валиным страданиям. Этого нет, и мне это очень горько слышать. Но я сейчас сам еле справляюсь со своим состоянием для того, чтобы еще жить.

Это разумные доводы, и я просто ломаю голову — как было бы лучше. Я приеду, когда это не будет для меня губительно.

Я крепко целую тебя и обнимаю, и Валюшу мысленно целую и от души желаю ему и тебе благополучия.

Мих.».

Из письма от 27 октября 1942 года (Алма-Ата):

«<...> Относительно Москвы я уже решил, что поеду. Вопрос только во времени. Я бы мог и теперь поехать, тем более, что сердце значительно лучше — только на левой ноге остался небольшой отек. Но очень уж не хочется прогадать в этом деле. Тут у меня отдельная комната и более-менее налаженное питание. И сравнительно тихая интересная работа. В Москве сейчас хорошо, но жить придется, вероятно, у друзей, и работа будет нервная — в газете и по радио — снова, конечно, буду хворать и беспокоиться. Эта сторона дела меня не очень прельщает — буду бояться, что сердце опять сдаст. Так и не удалось мне полностью починить свои нервы!

<...> Веруша! Очень уж мне не хочется заставлять тебя ждать и волноваться. Но ты должна понять, что все это далеко не просто. А для меня и подавно. Ты знаешь, с каким трудом и неохотой всегда собирался в путь. И как отказывался от поездок (даже заграничных). Так что ты поймешь, как нелегко мне сняться и поехать. Я даже подозреваю, что весной я заболел оттого, что я собрался ехать. Очень противно сознавать свои психические дефекты, но до сих пор все это держит меня. Я понимаю, что глупо, что я не поехал летом. Надо было бы преодолеть внутренние препятствия. Но признаки заболевания были слишком явные (отеки). И куда я разобрался в этом — прошло время и возможность.

<...> Я очень соскучился по тебе и Валюше — это не слова. Все твои сомнения, что я к вам равнодушен, — неосновательны. Я сказал тебе, что мы не разойдемся с тобой, — это факт. Я никогда этого не сделаю. Но это время — слишком сложное и тяжелое. И то, что мы не вместе, — это не зависит от меня. Мне надо сделать так, чтоб это было правильно и нужно — и для здоровья, и для жизни. И для работы. По этой причине ты не делай неправильных выводов. <...>

Итак, Веруша, пока прошу тебя — не уторапливай мой отъезд. Я непременно поеду. Но надо сделать это без ошибок. Весной я понял, как легко потерять мое здоровье. Я дам телеграмму, как только решу ехать. Это, видимо, будет скоро. Не позднее февраля. Не брани меня за оттяжку. Постарайся понять, как мне все это нелегко дается. И как трудно мне во всех моих делах и психич. состояниях. Крепко целую тебя и моего дорогого

Валичку. Уверен — будем вместе летом у нас в Сестрорецке.

Целую тебя.

Мих.».

В это время Чалова уже была в Алма-Ате.

По приезде в Москву, когда Зоценко ввели в редколлегию «Крокодила», когда начальство его весьма «ласкало», а все журналы «тянули к себе», просили сотрудничать, возник вариант окончательного переселения в столицу. И в июне 1943 года он посылает телеграмму Вере Владимировне: «Обещали квартиру, телеграфируй согласие переехать Москву совсем, тогда потороплю квартирный вопрос».

Вера Владимировна так писала об этой ситуации в своем дневнике:

«Конечно, на такое предложение я никак не могла согласиться — оставить навсегда свой родной город, родину мою и моих отцов и дедов, мой „Петроград“ — никогда я не согласилась бы на это, о чем и сообщила ему. <...>

С конца апреля Михаил в Москве — вот уже третий месяц пошел, а о возвращении в Л. он и не думает...

Три раза говорила с ним по телефону — звонила, конечно, я, и каждый раз испытывала после разговора жгучее разочарование и боль какой-то незаслуженной обиды... А сегодня, после вчерашнего разговора, поняла — так четко и ясно — нет, он не любит меня, и я ему не нужна, и нет дела ему до моих страданий.

Михаил зовет нас в Москву...

Зачем? Разве мы нужны ему?

Если б были нужны, он вернулся бы сам, ведь ему это сделать так легко, так просто!

А мне? Бросить квартиру, вещи, лететь в Москву с 2 чемоданчиками или тащиться по железной дороге с узлами, рискуя все растерять по дороге и остаться в одном платье — и ради чего? Если б Михаил любил меня!.. А так — ради жизни в чужом углу, не имея даже своей постели... Остаться нищей, когда мне надо думать о том, что у меня на руках могут остаться 3-е беспомощных существ — Валерий, Лерочка и ребенок Валерия... Разве это разумно, логично, полезно?..

...И нет у меня сил пускаться в далекий, опасный и бессмысленный путь... Нет сил!..»

(Вера Владимировна упоминает здесь свою племянницу, которая тогда находилась в эвакуации с детским домом, и внука Михаила, родившегося весной этого года также в эвакуации, в Уфе, где находилась жена Валерия.)

Несколько позднее, возвращаясь к той же ситуации, Вера

Владимировна более терпимо оценивала поведение мужа:

«Но, может быть, я все-таки в чем-то была не права, может быть — слишком строго судила и слишком много требовала? <...>

В общем, он действительно хотел, чтобы мы приехали в Москву. И беспокоился — были частые обстрелы...

В это время писателям дали „лимит“ — право на получение в закрытом распределителе продуктов на суммы — 500, 300 рублей. Михаил получил высший — пятьсотрублевый. Вот из этого лимита он и стал посылать нам продукты „оказией“ — тогда уже часто ленинградские писатели и вообще ленинградцы стали „летать“ и ездить в Москву — в командировки.

Нет, Михаил действительно серьезно беспокоился за нас и очень хотел нашего приезда — шел даже на то, чтобы мы втроем жили в его номере! <...> Но я так и не решилась ехать! <...>

И вот он уже перестал настаивать на нашем приезде. Но по-прежнему заботился о нашем благополучии. <...>

Я хотела от Михаила любви... которой у него, может быть и даже наверное, никогда и не было ко мне... Даже в 17-м году... было увлечение, яркая „страсть“, но не любовь...

Да он и сам писал мне чуть ли не с первой встречи — „Не ищите любви, верьте страсти...“

А сейчас у него беспокойство за меня, была забота, было желание помочь, спасти нас... Ждать от него „нежных“ слов было наивно, тем более что он так боялся всегда „сентиментальности“...<...>

Михаил, наверное, и не подозревал обо всех этих моих переживаниях и, конечно, искренно считал себя абсолютно правым передо мной — ведь он так настойчиво звал меня — все эти годы — и в Алма-Ата, и в Москву! Он посылал регулярно деньги, он буквально засыпал меня телеграммами — помню, в блокаду даже наша „почтальонша“, приносившая мне телеграммы, говорила — „Ну уж Ваш Михаил такой заботливый — никому не ношу столько телеграмм, сколько Вам!“

Он, как только получил эту возможность, с каждой „оказией“ высылал нам „посылочки“... <...>

...А я все настаивала и все ждала его приезда. <...> Конечно, т. к. в это самое время Михаил заканчивал свою книгу, он был весь поглощен ею и ему, действительно, было не до меня...»

В своих воспоминаниях Вера Владимировна приводит записки, телеграммы, письма Зощенко, в которых он говорит о передаваемых посылках, сообщает о денежных переводах, упоминает и о своей работе. В

письме от 1 ноября 1943 года есть такие строки: «Только что закончил в основном последнюю главу книги. Теперь только переписка и правка. Устал невероятно. А главное — испортил сон — снова плоховато сплю. Вот закончу работу и надеюсь, что здоровье вернется. В общем, много потерял сил, работал девять месяцев подряд без перерыва по 12–15 часов в день». При окончательном завершении повести это количество рабочих часов в сутки возросло до 18...

И говоря о всех перипетиях семейной и побочной личной жизни Зощенко, шедшей параллельно, об особенностях его поведения и поступков, следует признать, что эта сторона его бытия целиком подчинялась главной и в конце концов единственной у него жизненной потребности — потребности литературного творчества.

## **2. ОБРЫВ ПУБЛИКАЦИИ ПОВЕСТИ**

Вторая часть «Перед восходом солнца» была опубликована в октябре, но начавшееся там «толкование снов», которое вообще отвергалось и осмеивалось воинствующими материалистами как вредная и антинаучная выдумка, уже не влияло, должно быть, на судьбу повести. Для руководящих партийных идеологов рассказ о реальной человеческой жизни был еще более неприемлемым, и решение прекратить публикацию приняли, видимо, исходя из первой части. А вторая, получившая разрешение в аппарате ЦК, проскочила потому, что была на выходе из типографии. Тут фортуна подворожила и Зощенко, и читателям — фактически вся художественно-биографическая половина повести увидела свет.

Как и предположил (и напророчил себе) Зощенко, книга «запнулась». Он верно угадал и место обрыва. Но упомянутые им как возможные «брань и даже скандал» в действительности оказались за пределами его воображения.

Впоследствии многие мемуаристы поминали как исходную точку запрета «Перед восходом солнца» разгромную статью в «Большевике», главном установочном журнале ЦК ВКП(б). То была действительно практикуемая механика узды и расправы. Но в данном случае статья «Об одной вредной повести» появилась в середине февраля 1944 года, спустя более трех месяцев после запрета. А перед нею, и тоже по пятам обрыва публикации, была еще статья в газете «Литература и искусство», где говорилось, что повесть Зощенко «противоречит лучшим, благороднейшим традициям нашей литературы. <...> Это пошлое и вредное произведение».

Таким образом, запрет был произведен по прямой начальственной команде, без предварительной газетно-журнальной подготовки. Некоторые специалисты по Зоценко уверены, что повесть отрицательно оценил сам Сталин и команда шла от него. Этот механизм также достаточно известен — Сталин, например, всегда лично рассматривал списки на присуждение премий его имени, вычеркивал или вставлял туда кандидатов по своему вкусу. Однако документальных доказательств его непосредственного участия в истории с повестью «Перед восходом солнца» не приводилось. Зато известно, что в октябре (или в начале ноября) секретарям ЦК ВКП(б) Г. Маленкову и А. Щербакову поступила докладная записка, составленная в управлении пропаганды и агитации ЦК, в которой начальство Управления, давая обзор по отделу художественной литературы, информировало этих партийных руководителей «о грубых политических ошибках» журналов «Октябрь», «Знамя» и «Новый мир». Кроме Зоценко, в список авторов-штрафников указанных журналов попали И. Сельвинский, В. Катаев, А. Довженко, А. Платонов, П. Лукницкий, Ф. Панферов... Документ, разумеется, готовился загодя и тщательно, но, судя по совпадению времени его появления с обрывом публикации повести Зоценко, эта повесть довела «критическую массу» допустимого тогда свободомыслия до предела и стала катализатором «оргвыводов» — прежде всего в отношении нее самой. Запретительная команда была дана, несомненно, из Управления пропаганды и агитации, где еще недавно разрешали повесть печатать. Но — разрешали чиновники, запрещали сановники, они точнее представляли себе предел допустимости и собственной безопасности и предчувствовали возможный поворот в поведении Вождя. Возглавлял управление Г. Ф. Александров, советский философ, академик, лауреат Сталинской премии, которого затем, в разгар «ждановщины», все же сняли с этого поста за либеральную трактовку истории западноевропейской философии. А тогда в подписанном им документе выдвигалось весьма грозное предложение: «Управление пропаганды считает необходимым принять специальное решение ЦК ВКП(б) о литературно-художественных журналах». Идея, как известно, была осуществлена в 1946 году. Очевидно, в разгар войны Сталин счел ее пока преждевременной. Но хорошо запомнил. И сделал после войны детонатором своей тотальной кампании подавления воскресшего в народе общечеловеческого духа, без которого невозможно было достичь Победы. Он вообще обладал исключительно цепкой памятью на идеи, которые потом использовал в своих целях.

То, что именно повесть Зоценко вызвала у партийных идеологов наибольшее раздражение, подтверждается дальнейшими событиями. В

начале декабря было срочно проведено расширенное заседание президиума Союза советских писателей, на котором председатель правления ССП А. Фадеев выступил с осудительным разбором «Перед восходом солнца». А из трех литературно-художественных журналов, взятых на прицел в Управлении пропаганды ЦК, президиум ССП выбрал для показательной порки один, в котором эта повесть публиковалась, и принял специальное постановление «О журнале „Октябрь“ за 1943 год». В этом постановлении повесть «Перед восходом солнца» характеризовалась как «пошлая, антихудожественная». И со строгим предупреждением указывалось: «Считать грубой ошибкой журнала напечатание вредной повести Зощенко». Писательское постановление верноподданно повторяло формулировки Управления пропаганды ЦК. А уже затем, в начале февраля 1944 года, главный партийный журнал «Большевик» вышел в свет со статьей «Об одной вредной повести», которая прозвучала как окончательный залп подавления, нанесенный из тяжелой четырехорудийной (по числу авторов статьи) пропагандистской батареи.

Когда журналу «Октябрь» скомандовали прекратить публикацию повести Зощенко, в редакции, надо полагать, стало известно и о готовящейся акции по завинчиванию гаек в области литературы вообще. Подобная «утечка информации» допускалась для возбуждения страха у всех возможных виновников. Но судьба «Октября» и возглавлявших ее писателей была уже определено связана с повестью «Перед восходом солнца». И Зощенко, естественно, считал своим долгом как-то помочь редколлегии журнала, хотел отвести удар и от них, и от себя. В этом стремлении он вполне мог, как им всем, наверное, казалось, опереться на свой советский потенциал, набранный в 30-е годы, на стойко сопровождавшую его в недавнем прошлом славу, на авторитетное общественное положение. Поскольку запрет на повесть был наложен в аппарате ЦК, надо было одолевая эту главную инстанцию. И Зощенко пишет письмо Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Только крайние обстоятельства позволили мне обратиться к Вам.

Мною написана книга — „Перед восходом солнца“.

Это — антифашистская книга. Она написана в защиту разума и его прав.

Помимо художественного описания жизни в книге заключена научная тема об условных рефlekсах И. П. Павлова.

Эта теория основным образом была проверена на животных.

Мне удалось собрать материал, указывающий полезную применимость

ее и к человеческой жизни.

При этом с очевидностью были обнаружены грубейшие идеалистические ошибки Фрейда, а в свою очередь, доказаны большая правда и значение теории Павлова — простой, точной и достоверной.

Редакция журнала „Октябрь“ не раз давала мою книгу на отзыв, еще в период, когда я писал эту книгу, академику А. Д. Сперанскому. Он признал, что книга написана в соответствии с данными современной науки и заслуживает печати и внимания.

Книгу начали печатать. Однако, не дожидая конца, критика отнеслась к ней отрицательно.

Печатание ее было прекращено.

Мне кажется несправедливым оценивать работу по первой ее половине, ибо в первой половине нет разрешения вопроса. Там приведен лишь материал, поставлены задачи и отчасти показан метод.

И только во второй половине развернута художественная и научная часть исследования, а также сделаны соответствующие выводы.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я не посмел бы тревожить Вас, если бы не имел глубокого убеждения, что книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни.

Она может быть нужна и советской науке. И еще, мне думается, что книга моя полезна людям как художественное произведение, ибо она осмеивает пошлость, лживость и безнравственность.

В силу этого беру на себя смелость просить Вас ознакомиться с моей работой, либо дать распоряжение проверить ее более обстоятельно, чем это сделано критиками.

И, во всяком случае, проверить ее целиком.

Все указания, какие при этом могут быть сделаны, я с благодарностью учту.

Сердечно пожелаю Вам здоровья.

Мих. Зощенко.

25 ноября 1943 г.

Гостиница „Москва“, № 1038».

Письмо, как видим, составлено было умно и умело не без опытных советчиков — с должной идеологической основой, на что делался главный упор, с глубоким уважением человека одновременно культурного и верноподданного, с готовностью учесть все указания и вместе с тем с чувством собственного достоинства пишущего. А в мировоззренческом плане то было письмо искреннего апологета разума и материалиста. Который, конечно, не мог и представить себе, что книга, «доказывающая

могущество разума и его торжество над низшими силами», совсем не нужна грузинскому семинаристу, ставшему самодержцем всея Руси...

На письмо Сталин не ответил. Это также было у него формой ответа. А через десять дней после письма Зоценко Вождю появилась статья в «Литературе и искусстве»; тут же состоялось и расширенное заседание президиума ССП, где в числе выступавших вслед за Фадеевым писателей (Л. Соболев, С. Маршак и др.) с «единодушной оценкой произведения Зоценко как антихудожественного, чуждого интересам народа» оказался и Виктор Шкловский. Это был первый удар, полученный Зоценко от давнего и близкого ему товарища. И издательство «Советский писатель» оперативно отказалось от этой книги, которую охотно собиралось печатать. Зоценко сразу почувствовал денежные затруднения.

Вскоре его вывели из состава редколлегии «Крокодила» — причем не по приказу из ЦК, а сами же благонамеренные коллеги, зазывавшие его ранее в журнал как желанную знаменитость...

Лидия Александровна Чалова так описывает его последнее посещение журнала «Крокодил», куда он был вызван на заседание редколлегии 31 декабря, в канун нового, 1944 года: «Помню слова Михаила Михайловича перед тем, как он пошел в „Крокодил“: „Если не позвоню в семь часов, то дело плохо“. Он опасался, что его заберут прямо из редакции. Он все время ждал, что его могут арестовать. Но вот он вернулся, сказал, что его исключили из редколлегии, но это не страшно, если, конечно, решено ограничиться для него только этой мерой наказания. Словом, он был не так уж расстроен. Наверное, потому, что ожидал худшего».

Мир, как известно, не без добрых людей. В тот же вечер в номере Зоценко раздался телефонный звонок — из гостиницы «Гранд-отель» звонил один из художников-«крокодилцев» и приглашал Зоценко к себе встречать Новый год. Зоценко с удовольствием принял приглашение. А перед тем, как ему отправиться с Лидией Чаловой в «Гранд-отель», их еще успел поприветствовать живший здесь же в гостинице «Москва» известный фотокорреспондент, к которому пришел в гости вернувшийся недавно из эмиграции Александр Вертинский. «Высокий Вертинский, — пишет Лидия Чалова, — выступил вперед и почтительно поклонился небольшому Михаилу Михайловичу. И наговорил массу хороших слов. Он, конечно, знал, в какую беду попал Зоценко. Это было видно уже по тому, как сочувственно и нежно заглядывал Вертинский в его глаза. Михаил Михайлович очень любил песни Вертинского, и ему было приятно узнать (это была их первая встреча), что Вертинский, по-видимому, тоже ценит его

работу. Через несколько дней они увиделись вновь: на сей раз в занимаемом семьей Александра Николаевича двухкомнатном номере гостиницы „Метрополь“».

Как водится, разразившийся над головой Зоценко гром подверг испытанию не только его самого, но и тех, с кем он приятельствовал. Немало его давних знакомых проживали тогда вместе с ним в гостинице «Москва», другие постоянно приходили сюда к нему пообщаться. В своих воспоминаниях Лидия Александровна Чалова называет тех, кто нисколько не изменил своего отношения к Зоценко в этот трудный момент — артистов Бориса Бабочкина (прославившегося ролью Чапаева в знаменитом одноименном фильме) и Аркадия Райкина, писателей Анатолия Мариенгофа, Бориса Горбатова и находившегося в то время в столице Михаила Слонимского. А чаще всех заходил композитор Дмитрий Шостакович, с которым они были неизменно на «вы», но сердечно называли друг друга — «Миша», «Митя».

Однако «серапионов брат» поэт Николай Тихонов, состоявший в руководстве Союза писателей и живший в этой же гостинице, ни разу не появился в ту пору в номере Зоценко. Более того, когда Лидия Чалова, не сказав об этом Зоценко, сама пошла к Тихонову, чтобы просить его вступить за своего старого товарища, она увидела перед собой насмерть испуганного человека.

И это поведение Тихонова (как и другие симптомы) показывало Зоценко, что ему еще рано успокаиваться.

Алиби кончилось. Начинался крестный путь.

### **3. ПЕРВЫЙ КРУГ ХУЛЫ**

Страх и удрученность быстро усиливались в его чуткой душе. И 8 января 1944 года — еще за месяц до появления самой разгромной статьи о его повести в журнале «Большевик» — Зоценко по всей форме пишет покаяние:

«В ЦК партии А. С. Щербакову от писателя М. М. Зоценко  
Заявление

Мою книгу „Перед восходом солнца“ я считал полезной и нужной в наши дни. Но печатать ее не стремился, полагая, что книга эта не массовая, ввиду крайней ее сложности. Высокая, единодушная похвала многих сведущих людей изменила мое намерение.

Дальнейшая резкая критика смутила меня — она была неожиданной.

Тщательно проверив мою работу, я обнаружил, что в книге имеются значительные дефекты. Они возникли в силу нового жанра, в каком написана моя книга. Должного соединения между наукой и литературой не произошло.<...> Новый жанр оказался порочным.<...>

<...> Сложность книги не позволила мне (и другим) тотчас обнаружить ошибки. И теперь я должен признать, что книгу не следовало печатать в том виде, как она есть.

Я глубоко удручен неудачей и тем, что свой опыт произвел несвоевременно. Некоторым утешением для меня является то, что эта работа была не основной. В годы войны я много работал и в других жанрах. Сердечно прошу простить меня за оплошность — она была вызвана весьма трудной задачей, какая, видимо, была мне не под силу.

Я работаю в литературе 23 года. Все мои помыслы были направлены на то, чтобы сделать мою литературу в полной мере понятной массовому читателю. Постараюсь, чтобы и впредь моя работа была нужной и полезной народу. Я заглажу свою невольную вину.

В конце ноября я имел неосторожность написать письмо т. Сталину. Если мое письмо было передано, то я вынужден просить, чтобы и это мое признание стало бы известно тов. Сталину. В том, конечно, случае, если Вы найдете это нужным. Мне совестно и неловко, что я имею смелость вторично тревожить тов. Сталина и ЦК».

Январь прошел в тревожном ожидании. 1 февраля 1944 года Зощенко писал жене в Ленинград:

«<...> Это время (2 месяца) дела мои были весьма неважны. Резкая и даже грубая критика осложнила мои отношения с журналами. Из „Крокодила“ пришлось уйти. Вернее — я был выведен из состава редколлегии. Но выведен не сверху (ЦК), а самой редколлегией, которая из перестраховки пошла на это, не зная, что со мной будет.

Конечно, работать там уже не буду, хотя бы меня и очень просили. В общем, это дело сыграло роль и в моих отношениях с другими журналами — меня перестали приглашать. И два месяца я оставался совершенно без заработка.

<...> В общем, ужасно глупо получилось. Написал хорошую книгу (хотя, может, трудную, не массовую и не вовремя).

Имел отличные отзывы ученых, писателей и т. д.

И вдруг все эти похвалы сменились криками и бранью.

Держался я, в общем, крепко. Но здоровье и нервы ужасно сдали. Главное, это получилось тотчас после работы — я не успел от нее даже отдохнуть пару дней. Плохое здоровье не позволяет мне написать что-либо

хорошее. А если б написал — журналы, конечно, напечатали бы, так как запрета, конечно, нет (печататься), но настороженность в редакциях имеется и от этого меня не приглашают, как бывало раньше.

<...> Но с деньгами плохо. И с продовольствием несколько хуже, чем было, так как один паек потерял (который давал „Крокодил“). Основной же паек (по Союзу) не отняли. Надо полагать, и впредь буду получать, но гарантии, конечно, нет.

<...> Из гостиницы пришлось уехать (так как приехали делегаты на сессию). Ютился я по знакомым — то в одном месте, то в другом.

В общем, было холодно, неудобно и неуютно.<...> В последние месяцы не был уверен, следует ли приезжать, поскольку так у начальства проштрафился. <...> Нельзя было предвидеть такую неожиданность. <...>».

Во всем этом «холоде, неуюте и неудобстве» Зоценко поддерживала находившаяся рядом с ним Лидия Чалова. Если в Алма-Ате она фактически спасла его от дистрофии и устроила его быт, то сейчас, в Москве, она еще и помогла ему не пасть духом, выстоять морально, перенести удары, полученные не только от «начальства», но и от давних друзей.

Положение «штрафника» оттягивало столь желанное, после того что произошло с ним в Москве, возвращение в родной Питер. Следовало дожидаться завершения этой истории. Официального ответа из ЦК на свое «признание» Зоценко не получил, но письмо Щербаковым было прочитано и, как теперь известно по пометкам чиновников, «приложено ко всем материалам о книге Зоценко». Таким образом, в Управлении пропаганды и агитации на него в 1943 году завели досье.

А запущенная в дело идеологическая перемолочная машина продолжала свой рабочий цикл. Это и было, собственно, ответом ЦК — и персонально Зоценко, и всем вовлеченным в очередной проворот машины.

В начале февраля Зоценко вместе с Н. Асеевым и И. Сельвинским прорабатывали на расширенном пленуме правления ССП. Но критика этих отобранных авторов-штрафников в докладе нового председателя Н. Тихонова (сменившего отстраненного с этого поста за допущенные ошибки А. Фадеева) была еще сдержанной. Зато вскоре, в том же месяце, на Зоценко обрушился удар из главного идеологического калибра — подготовленная по указаниям Жданова уничтожающая статья в «Большевике».

В статье «Об одной вредной повести» говорилось:

«В жесточайшей борьбе против немецко-фашистских захватчиков

вместе со всем советским народом участвуют наши писатели. В дни Отечественной войны они показали себя верными сынами родины, достойными патриотами, отдающими все свои силы и знания делу победы над заклятым врагом. Большое впечатление произвели на нас, ленинградских рядовых читателей, „Радуга“ Василевской, „Непокоренные“ Горбатова, „Фронт“ Корнейчука, „Народ бессмертен“ Гроссмана, произведения Николая Тихонова, Алексея Толстого. <...>

Иное, прямо противоположное впечатление оставляет пошлая, антихудожественная повесть Зоценко „Перед восходом солнца“, напечатанная на страницах журнала „Октябрь“.

Повесть Зоценко чужда чувствам и мыслям нашего народа. Зоценко декларирует, что материалы его повести „говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания“, но в действительности вся повесть построена на обывательском восприятии мира. <...>

<...>Что же потрясло воображение писателя — современника величайших событий в истории человечества?

В ответ на это Зоценко преподносит читателю 63 грязных происшествия, 63 пошлых истории, которые когда-то, с 1912 по 1926 год, его „волновали“.

<...> С отвращением читаешь эти пошлые рассказы о встречах с женщинами. У Зоценко женщины изображены лишенными морали и чести; они только и мечтают о том, как бы обмануть мужа, а потом и любовников. Какие-то самки, скрываясь под инициалами (какая скромность автора!)...бродят по страницам повести Зоценко. Перед читателем море пошлости и грязи.<...>

<...> Вся повесть „Перед восходом солнца“ проникнута презрением автора к людям. Судя по повести, Зоценко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зоценко, — это пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. Повесть заполнена персоной самого Зоценко. „Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада“ — так относился к народу Зоценко уже в 18 лет. Это хамски-пренебрежительное отношение к людям он пропагандирует в своей повести, клеветца на наш народ, извращая его быт, смакуя сцены, вызывающие глубокое омерзение. Нет возможности на страницах советской печати даже передать содержание такого гнусного рассказа Зоценко, как „Умирает старик“, где темой является изображение похоти умирающего.

Вся эта гадость сдобрена невежественными лженаучными рассуждениями об исследовании человеческой психики, причем автор с поражающей наглостью объявляет о тождестве своих „откровений“ с учением гениального русского ученого Павлова об условных рефлексах. Чего стоит хотя бы такое открытие, что „вся медицина возникла... из науки о снах“.<...>

<...> Приходится удивляться, как же могло случиться, что ленинградский писатель ходил по нашим улицам, жил в нашем прекрасном городе и нашел для своего творчества только никому не нужное, чужое, забытое. Тряпичником бродит Зоценко по человеческим помойкам, выискивая что похуже. Как-то не верится, что в дни Великой Отечественной войны автор, знавший о борьбе ленинградцев за свой город, о самоотверженном труде советских женщин, знавший многое, о чем будут слагать песни в веках, нашел возможность писать только о невежестве и пошлости.

В суровых условиях Отечественной войны особо ярко выявились мужество, стойкость, непримиримость, чистота и принципиальность советского человека — качества, доказанные величием его дел.

Не видел этого Зоценко!

<...> Видимо, автор повести находил время потолкаться по пивным, но не нашел в своей жизни и часа, чтобы побывать на заводах.

Противно читать повесть. Непригляден и сам автор. Напрасно мы думали в свое время, что Зоценко искал заплеванного обывателя, стремясь показать его как умирающую частицу давно забытого прошлого. Будничная, ничтожная суетня, темный быт, мелкая жизнь мелких людишек — вот основной сюжет всех произведений Зоценко. Герои его произведений — это пакостники, приспособленцы, притаившиеся где-то в тени до „лучших“ времен.

А теперь мы думаем, что этот „птицевод-сапожник“, „враг интеллигентского труда“, герой повести „Перед восходом солнца“ и есть оставшийся в жизни, владеющий пером обыватель.

В Советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей родины нашли бы время заниматься „психологическим ковыряньем“, изучая собственную персону. Советским людям скучать некогда, а рабочим и крестьянам никогда и не были свойственны такие „недуги“, в которых потонул Зоценко.

Как мог написать Зоценко эту галиматью, нужную лишь врагам нашей родины?

Хочется спросить и редколлегию (т.т. Ильенкова, Панферова, Павленко

и других) литературно-художественного и общественно-политического журнала „Октябрь“, для какого читателя предназначали они эту повесть? <...>

<...> Завоевать любовь читателей правдой, а не пошлятиной — долг советского писателя.

Если бы Зощенко усвоил эту мысль, ленинградцам не пришлось бы испытывать чувство стыда за писателя, работавшего в Ленинграде.

Мы твердо уверены, что в нашей стране не найдется читателей для 25 тысяч экземпляров повести Зощенко.

Редколлегия журнала „Октябрь“ допустила преступную небрежность, поместив в наше время на страницах журнала это пошлое и вредное произведение».

В то время тираж журнала «Большевик» был 100 тысяч экземпляров.

Остановимся еще на механике появления статьи в журнале «Большевик». Статья «ленинградских рядовых читателей» — двух инженеров, рабочего-слесаря и учительницы (в окончательном варианте профессии авторов были сняты) — родилась, как положено, в недрах Ленинградского горкома партии, в отделе пропаганды и агитации, и должна была выразить гневный протест здешней общественности против повести Зощенко, который по-прежнему считался ленинградским писателем. Первоначальный ее текст доводился затем до конечного вида по указаниям самого Жданова, члена Политбюро, секретаря ЦК, возглавлявшего ленинградскую областную и городскую партийные организации. В одном из пунктов своих указаний Жданов требовал: «<...> еще усилить *нападение* на Зощенко, которого нужно расклевать, чтобы от него мокрого места не осталось». В то время он уже готовился к переходу с «периферии» на работу в Москву, непосредственно в ближайшем окружении Сталина (что и произошло в этом же 1944 году), и использовал любой повод выказать свое рвение.

Так действовала идеологическая партийная машина, обслуживаемая профессионалами своего дела.

Затем еще добавил ошеломления Зощенко опубликованный как статья в следующем номере «Большевика» доклад Н. Тихонова, не соответствовавший своей резкой осудительностью тому, что тот говорил на писательском пленуме. Это было второе отступничество Тихонова от своих же слов — он читал «Перед восходом солнца» еще в рукописи и тогда безоговорочно одобрил повесть. Теперь при встрече с Зощенко давний друг и «серапионов брат» Тихонов, ставший руководителем ССП, извинялся, сбивчиво объяснял, что от него потребовали усиления критики, что он был

вынужден критиковать таким образом, исполняя приказ, хотя с ним и не согласен...

И все-таки проработка Зоценко зимой 1943/44 года не стала для него в тот момент крестным путем. Своевременное покаяние отвело тогда от него сию чашу. И не подошел еще срок для всеохватного действия, в котором ему будет отведена одна из главнейших ролей. Пока же это была для него репетиция — и оскорбительного публичного поношения, и общественной изоляции, и страха ареста, безденежья, отступничества друзей, и собственного покаяния.

#### **4. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД**

Чтобы вернуться в родной город, Зоценко нужно было получить оттуда официальное разрешение — «вызов». И так устроилось, что Лидия Александровна Чалова в марте 1944 года поехала в Ленинград в служебную командировку. Гослитиздатовские дела она успешно совместила с настойчивыми хождениями «по всяким инстанциям», стараясь, как просил ее Зоценко, оформить этот документ. Но после статьи в «Большевике» многие должностные лица отказывались от всякого содействия Зоценко. Выручил главный редактор журнала «Звезда» В. Саянов, который сам пошел в Смольный и добился там требуемого разрешения. С этим документом Чалова и возвратилась в Москву. А через две недели Зоценко уже был в Ленинграде, у себя дома.

В начале июля он писал Чаловой:

«...Живу, в общем, средне. Дома не очень хорошо. Тоскливо весьма, и отвык совершенно. Так что спасаюсь работой. Устроил небольшой огород (на Марсовом поле). Вскопал две грядки, посадил редиску и картофель.

Знакомых мало. Друзей и вовсе нет. Любовных дел — никаких. Раза два был в театре. В общем, как видишь, ничего особенного. И ничего привлекательного нет в моей горестной жизни. Хожу с постной мордой по набережной. Но, впрочем, не тоскую, и хандры нет.

Очень уж хорош город. Не перестаю радоваться, что снова здесь...»

В другом письме, в конце июля, он поведал ей о своих творческих делах:

«...Почти четыре месяца я провел тут весьма одиноко и, пожалуй, уныло. Работал много, но, как я тебе доложил по телефону, без особо ярких результатов. Так что ты была права — надо было жить в Москве. Для работы это было бы правильно. Но уж очень я намаялся, таскаясь по чужим

домам и квартирам.

Но, в общем, полагаю, все тут утрясется. Работаю много, и большой печали у меня нет на душе. Здоровье, впрочем, посредственное. И постарел изрядно...

Я теперь вроде начинающего. Мне-то это безразлично, даже легко. Но тебе, вероятно, будет досадно за меня, будешь огорчаться. А по мне, все равно чем заниматься. Хоть куплетами. Работать буду, а что именно — это уж не такой значительный вопрос. Несомненно, театром займусь. Опереттой. Эстрадой. Мало ли дела.

Отдаю себе полный отчет, что все это не на 2–3 дня. Тут процесс длительный, так как дело не только во мне, а в новом требовании к искусству... В общем, надежд у меня много. Однако трудности будут дьявольские...»

Шторм после девятого вала — разгромной статьи в «Большевике» — начал понемногу стихать, с конца 1944 года его уже печатали в «Известиях», «Комсомольской правде», в журналах «Звезда» и «Ленинград». Потом пошли книжные издания. В 1946 году, до августовского постановления ЦК, у него успели выйти в свет три книги — две в ленинградских издательствах, одна в Москве, в «Библиотеке „Огонька“»... Вместе с другими ленинградскими писателями Зоценко был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». А летом 1946 года он — решением Ленинградского горкома ВКП(б) — стал даже членом редколлегии журнала «Звезда».

Но теперь он, Михаил Зоценко, был *помечен*, занесен, наконец, с большим опозданием в *рабочий* список, который имелся в главном бдящем центре и во всех периферийных филиалах на каждый профессиональный, общественный, социальный разряд, слой, вид населения...

Вскоре по возвращении в Ленинград, в июле 1944 года, Зоценко пригласили в известный всем горожанам «Большой дом» — в Ленинградское управление наркомата госбезопасности. Сотрудник управления задал ему три десятка вопросов, точных, хватких, прицельных, по которым видна всесторонняя осведомленность этого учреждения в делах Союза писателей и лично Зоценко. В начавшуюся эпоху «гласности» была опубликована копия «Протокола беседы». И поражает прямота, почти наивная откровенность ответов Зоценко. Он отвечает как бы даже охотно, не дистанцируясь от расспросчика, используя возможность честно высказаться перед уважаемой им властью и вовсе не глядя на собеседника как на агента тайной полиции, на жандарма. Наверное, то был умелый специалист «по интеллигенции», с обличьем культурного,

добропорядочного «товарища». Да и Зощенко, должно быть, интуитивно считал, что ему тогда, в той ситуации, лучше говорить смело, выглядеть уверенно. На вопрос: «Как вы думаете о своей дальнейшей жизни?» — Зощенко ответил: «Мне нужно переждать. Вскоре после войны литературная обстановка изменится, и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я буду снова печататься. Пока же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит. Недавно я выступал на одном военном вечере. <...> Меня встречали овацией, оглушительной овацией». А на «участливый» вопрос о том, считает ли он, что им было сделано все, для того чтобы отстоять свою повесть «Перед восходом солнца», Зощенко ответил: «Я сделал все, но мне „не повезло“. Мы с академиком Сперанским написали письмо товарищу Сталину, но это письмо было направлено в те дни, когда товарищ Сталин уезжал в Тегеран, и попало в руки к заменявшему товарища Сталина Щербакову. А Щербаков, понятно, распорядился иначе, чем распорядился бы товарищ Сталин». И еще о Сталине — в ответ на вопрос, как он расценивает сегодняшнюю общую политическую обстановку: «Вести с фронтов радуют. Заявление немецкого генерала Гоффмейстера показывает, что гибель Германии близка. Сталин все видел гениально. Потрясает его уверенность в самую трудную пору, в то время, когда почти все советские люди думали, что крах неизбежен, что гибель государства близка».

Известно, как осуществилась надежда Зощенко на то, что «после войны литературная обстановка изменится и все препятствия, поставленные мне, падут», как сбылось его уверенное предсказание в той же «беседе», что после войны «литературе будет предложено злей и беспощадней писать о наших недостатках».

Когда Зощенко по приезде в Ленинград сообщал Чаловой, что «...дома не очень хорошо. Тоскливо весьма, и отвык совершенно», его отношения с Верой Владимировной действительно были безрадостны.

Вера Владимировна написала об этом следующее:

«Вот как вспоминала я, спустя несколько месяцев, этот его приезд:

11/IX—44. Приезд Михаила и его отношение ко мне убили последние мои надежды, последние иллюзии, последние силы.

Неужели он не понимает того, что делает? Неужели считает себя правым?

Ведь что было?

Ведь он сразу же, чуть ли не в первый день приезда, грубо оттолкнул меня и как женщину, и как человека.

„Я не хочу ‘отношенческих разговоров’“, сказал он, но он прекратил и всякие разговоры со мной. Он не делился со мною ничем — ни творческими своими планами, ни событиями своей жизни.

Он прямо сказал, что ничего нет особенного в том, что у него были женщины, не мог же он жить без этого 2 ½ года, он даже возмутился и рассердился, увидев мое разочарование и расстройство при этом открытии. <...>

Мое огорчение по этому поводу его возмутило и оттолкнуло от меня. Он сразу же замкнулся и стал таким, как был со мною до своего отъезда — чужим, враждебным, почти ненавидевшим меня, тяготящимся мною.

„Оставьте меня в покое, мне от вас ничего не нужно, я ни к кому не лезу“, — вот его слова... <...>

<...> Михаил не печатается, не работает и не зарабатывает ни копейки, относится ко мне враждебно, недоверчиво, абсолютно холодно и равнодушно, как к совершенно чужой, посторонней и ненужной женщине. <...>

Все мои мечты и надежды на нашу радостную, дружную жизнь разрушены окончательно и безвозвратно. <...>

Мне кажется, я должна понять одно — у меня нет больше мужа, у меня нет Михаила...

Зачем мне унижаться?

Зачем добиваться любви Михаила?

Зачем стараться вести себя „пай-девочкой“, чтобы заслужить награду?

Неужели недостаточно мне унижений?

А самое большое унижение — эта вечная ложь — ведь я — жена Зоценко по имени — а, в сущности, не жена, не друг, не близкий ему человек, а, кажется, злейший его враг. <...> Он всем недоволен — готовлю я ему „невкусно“, и он теперь стал готовить себе еду сам. <...>

Я начинаю понимать, что не Михаил сложен для меня, а я сложна для него...

Михаил, в сущности, очень примитивен, как это ни странно. Ему чужды и непонятны все „тонкости“ моих ощущений и переживаний.

Что ему сейчас от меня нужно — чтобы я была здорова, чтобы я доставала деньги, готовила вкусную еду, убирала комнату, заботилась обо всем быте и ни во что не вмешивала его, ничего от него не требовала. <...>

Трудно понять, чем было вызвано такое жестокое, такое дикое отношение ко мне... Или, действительно, он был больной, ненормальный человек?

А, м.б., просто — разлюбил окончательно, разочаровался во мне и я

просто стала ему не нужна, докучна? Но ведь когда-то он упрекал меня за то, что я не люблю его... А когда эта любовь пришла, она стала ему не нужна. Впрочем, так часто бывает... И у него в юные годы, в 17 году, была даже новелла на эту тему — „Муж“... <...>».

Затем — о последней военной зиме:

«В смысле „быта“ зиму прожила относительно благополучно, тем более что неожиданно из эвакуации вернулась Раиса, моя старая домработница, и с конца сентября она помогает мне по хозяйству — вернее, несет почти всю работу. (Раиса в ту зиму обслуживала нас и О. Д. Форш — попеременно готовила нам обеды на 2 дня.)

Я же помогала Михаилу в литературной работе, да штопала белье, да проводила кое-какую свою работу... И в то же время старалась исполнять его малейшие желания... Отношения наши как будто налаживались, но иногда он все же „срывался“, и я опять мучительно больно переживала его обиды и несправедливости...

А все-таки — ведь я любила этого человека, но только всегда, всегда, всегда я сама создавала тормоза, преграды для этой любви.

Но мне так всегда нравились эти глаза, это лицо, эти губы, эти руки...

И как бы я хотела, чтоб снова, как 28 лет назад, потянулись бы они ко мне! <...>».

Летом 1945 года они много времени провели вместе на своей даче в Сестрорецке. И Вера Владимировна с удовлетворением написала об этих месяцах:

«Я теперь очень хорошо понимаю Михаила — его „бегство“ от жизни, от людей, от забот и хлопот житейских. Это самозащита, здоровый творческий инстинкт.

Если бы он так не поступал, он ничего не создал бы. <...>

Все-таки за это лето я одержала над ним большую победу: мне удалось сломить его сопротивление себе, его страх передо мной.

И мне не жалко, что я так много сил и времени затратила на огород — этим огородом я „подкупила“ его, заинтересовала — он с удовольствием и интересом приезжал в Сестрорецк. <...>».

Но вскоре она опять непримиримо пишет о том же своем навязчивом стремлении одержать свою победу, с которым прожила всю жизнь — стремлении переделать Зоценко для себя, под себя, а не любить его таким, каким он был:

«...Мне больше ничего не нужно. Все равно того, что мне единственно нужно — простой человеческой любви, любви мужа и сына, мне не добиться. Я окончательно не нужна им больше.

С Михаилом — слишком разные мы люди, слишком разные у нас вкусы, потребности, желания. А главное — нет у него ко мне чувства, нет ни любви, ни нежности, ни ласки, нет ни малейшего интереса — я просто не нужна ему. <...>

Я очень хотела завоевать Михаила, стать для него необходимой, нужной, любимой, стать тем, чем, кажется, никогда не была, но, кажется, я принуждена признать себя в этой борьбе побежденной.

Год назад я решила отойти от него в сторону, не стараться словами разбить его болезненную идею, разорвать те нехорошие ассоциации, которые связывались у него со мной...

Мне казалось, я поняла — это была болезнь, надо победить ее...

Победить делом, а не словом.

И вот порой летом мне казалось, что я достигла цели, что он перестал бояться меня, что он снова доверчиво тянется ко мне, что вот еще немного — и все будет хорошо и просто, будет настоящая близость, будет любовь, будет жизнь... <...>

И вдруг сейчас мне показалось, что все напрасно. Что все мои усилия тщетны, что лучше больше не напрягать своих сил, отказаться от борьбы... <...> К чему мне эта унижительная, в сущности, борьба?

Стоит ли он ее, этот черствый, жестокий, холодный и грубый человек, который исковеркал, сломал, изуродовал всю мою жизнь, всю мою душу. Ведь такого страшного, обнаженного эгоизма мне никогда больше не приходилось встречать в жизни. Разве только эгоизм его сына может поспорить с ним. <...>».

И в то же время Вера Владимировна обнаруживает откровенное понимание причины их несчастливой совместной жизни, причины, заключенной в ней самой:

«Может быть, впрочем, все не так уж мрачно, как рисуется в моем пессимистически настроенном мозгу? Может быть, к Михаилу нужно относиться, действительно, как к больному, нервному, перегруженному работой человеку? <...>

К сожалению, эти „здоровые мысли“ быстро исчезали и я снова и снова мучила себя, а может быть, и Михаила своими „неразрешимыми вопросами“.

А ведь нужно было одно — понять, какую тяжелую драму он пережил так недавно, как тягостна была для него неудача с его „главной книгой“... Надо было ничего не требовать, надо было действительно дать ему то единственное, что он просил у меня, — дать ему покой, дать возможность спокойно работать, ничем не тревожить его...

Надо было терпеливо ждать и не страдать от того, что наши отношения не становились сразу такими, как я хотела, как мне было нужно...

Но вот этого-то я и не сумела, не могла понять... И в этом — моя вина перед ним... Непоправимая вина...»

# КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

## 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», датированное 14 августа 1946 года, в писательских кругах сразу нарекли «постановлением по Зощенко и Ахматовой».

В этом разгромном документе магически-всевластного ЦК единственной в стране партии о Зощенко и Ахматовой — черным по белому — писалось:

«...Грубой ошибкой „Звезды“ является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции „Звезды“ известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко „Приключения обезьяны“ („Звезда“ № 5–6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.

Предоставление страниц „Звезды“ таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции „Звезды“ хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как „Перед восходом солнца“, оценка которой, как и оценка всего литературного „творчества“ Зощенко, была дана на страницах журнала „Большевик“.

Журнал „Звезда“ всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом

пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, — „искусства для искусства“, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.

Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среду ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Стали публиковаться произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в жизни...»

Стиль и лексика данного текста выразительно передают дух сталинской эпохи. Дух этот заполнял души целых поколений. Как радиация, он пронизывал сознание, видоизменял чувства, входил в состав крови, оседал в костях, закреплялся в подсознании, вторгался в генетический код, превращая людей в советских мутантов, существующих при тоталитаризме, как в естественной среде обитания. Одним из сильнейших источников той радиации был страх, сделавшийся в стране после Октябрьского переворота 1917 года постоянной составляющей бытия.

Далее в постановлении еще и еще поминались в двуединой связке предававшиеся анафеме Зощенко и Ахматова, потом один Зощенко, помечены были также и другие авторы «безыдейных» и «малохудожественных» произведений, напечатанных в осуждаемых журналах. Затем указующий перст направлялся на начальство — на редакторов, забывших положение ленинизма о недопустимости аполитичности, на председателя Союза писателей, не принявшего должных мер, на руководящих работников Ленинградского горкома партии, проглядевших, устранившихся, предоставивших возможность печататься чуждым советской литературе людям вроде Зощенко и Ахматовой... В заключение державно, по пунктам постановлялось — выправить линию журнала «Звезда» и обеспечить его высокий идейный и художественный уровень, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко и Ахматовой и им подобных; прекратить издание журнала «Ленинград»; утвердить главным редактором журнала «Звезда» заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б) с сохранением за ним этой должности.

Считалось, что на все эти действия *родная* партия имеет безусловное право. Во благо народа. Ведь она была официально провозглашена

«направляющей и руководящей силой советского общества».

Главным же гонителем и хулителем Зощенко и Ахматовой выступал А. А. Жданов, член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б), которому Сталин поручил тогда заниматься всем *фронтом* идеологии и пропаганды. Но готовил он это разгромное постановление по указанию и формулировкам вождя.

Через сорок с лишним лет, в эпоху «гласности», стали известны слова Сталина, сказанные о Зощенко на специальном заседании в ЦК перед принятием того постановления: «Человек войны не заметил, накала войны не заметил. Он ни одного слова не сказал на эту тему... Почему я недолюбливаю Зощенко? Зощенко — проповедник безыдейности... И советский народ не потерпит, чтобы отравляли сознание молодежи... Не обществу перестраиваться по Зощенко, а ему надо перестраиваться, а не перестроится, пускай убирается к чертям».

В то время «к чертям» никак не означало, скажем, за границу...

Присутствовавший на этом заседании как член редколлегии журнала «Звезда» ленинградский писатель П. Капица (однофамилец и тезка знаменитого физика, лауреата Нобелевской премии) приводит в своих воспоминаниях такие слова Сталина о рассказе «Приключения обезьяны»:

«Пустой рассказ. Ни уму, ни сердцу ничего не дает. Бездарной балаганной штуке предоставили место. Только подонки могут создавать подобные произведения. У Зощенко есть обиды на советских людей... Хулиган ваш Зощенко! Балаганный писака!!»

И П. Капица продолжает:

«Вероятно, Сталин и не видел живого, весьма деликатного, скромного и малоулыбчивого Мих-Миха, иначе не обозвал бы его так. Эти грубые ругательства относились к какому-то наглому зубоскалу, злопыхателю и очернителю, а миниатюрный, мягкий и даже застенчивый Зощенко ни одной черточкой не походил на балаганного писаку. Но Сталин не унимался, говорил резко, не сдерживая себя. Чувствовалось, что он очень сердит на автора „Приключений обезьяны“:

— Видите ли, обезьянке в клетке лучше жить, чем на воле. В неволе легче дышится, чем среди советских людей!»

То было проходившее 9 августа 1946 года заседание Оргбюро ЦК ВКП(б), на котором Сталин появился впервые за последние десять лет, что указывало на исключительную важность данного сбора. Его сопровождали несколько членов Политбюро и секретари ЦК, занимавшиеся идеологической работой. Присутствовали руководители Союза писателей, а

также срочно вызванные из Ленинграда возглавлявшие журналы «Звезда» и «Ленинград» члены их редколлегий. Как показали дальнейшие события, Сталин к этому моменту уже окончательно продумал свой план решительного и повсеместного перелома в стране неприемлемой для него общественной атмосферы. В области литературы в ход пошла идея, предлагавшаяся Управлением пропаганды еще в 1943 году, когда руководство этого Управления считало необходимым принять специальное решение ЦК ВКП(б) о литературно-художественных журналах. Речь тогда шла о московских журналах «Октябрь», «Знамя», «Новый мир». Теперь, используя эту запомнившуюся ему идею, Сталин поменял московские журналы на ленинградские — и по силовому раскладу в Политбюро, и по своей давней неприязни к городу Ленина, и по нынешнему нахождению там Зощенко и Ахматовой...

А на следующий день после Оргбюро, 10 августа 1946 года, министр госбезопасности (наркоматы уже стали министерствами) В. С. Абакумов (арестованный затем, еще при Сталине, и расстрелянный при Хрущеве) направил секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецову (расстрелянному при Сталине по «ленинградскому делу») «справку по имеющимся в МГБ СССР материалам на писателя Зощенко М. М.». В эту «Справку» — помимо анкетно-биографических сведений (с выделением в прошлом его членства в «литературном содружестве „Серапионовы братья“ — группировки, вредной по своему идеологическому характеру»), вместе с обобщающими формулировками (типа: «На протяжении ряда лет Зощенко характеризуется как писатель с антисоветскими взглядами, критикующий политику партии в области искусства и литературы»), вместе с перечнем писателей, приятельствующих с Зощенко, и с подборкой соответственно наставшей надобности высказываний Зощенко о цензуре, о том, что «мы беззубые юмористы, нам не позволяют трогать существенные вопросы», что «всякая критика запрещена» (в этой подборке заметны следы работы осведомителей среди тех людей, с которыми общался Зощенко) — вместе со всем этим, так сказать, «внешним компроматом» в документ госбезопасности вошли целиком и откровения Зощенко перед своим «собеседником» в июле 1944 года.

На трех с половиной страницах данной «Справки» был представлен не только требуемый «компромат», но почти что план-конспект поношения Зощенко как в постановлении ЦК, так и в докладе Жданова. Направлялась же «Справка» А. А. Кузнецову потому, что он, недавний секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), а ныне секретарь ЦК и член Оргбюро, курировавший органы внутренних дел и безопасности, вошел в

комиссию по выработке постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

Августовское (и «августейшее») постановление «о журналах» было зачинным. Следом за литературой, аналогичные постановления ЦК по театру, кино, музыке, точно массированный огонь тяжелой артиллерии по заданным квадратам, методически обработали всю сферу искусства, отражавшего в меру возможностей духовную жизнь людей. И в том заключалась стратегическая цель Великого и Мудрого Вождя: подавить поднявшийся в народе, в обществе свободный дух, без которого невозможно было победить в Отечественной войне, и потому его приходилось, держа под надзором, терпеть, даже иногда поощрять, но который теперь, после величайшей Победы, был уже не нужен, вреден и особенно претил триумфатору. Ведь свобода духа, помимо самой этой отвратной для любой диктатуры свободы, неразрывно связана с правдой, истиной, с истинной правдой. Но Сталину было нужно извратить правду о войне — как она началась, как велась, чего стоила. Победителей не судят. И никто не должен был назвать одержанную Победу пирровой. В 1946 году, когда загрохотала серия постановлений ЦК, он оценил понесенные народом военные потери в шесть с половиной миллионов человек, на двадцать один миллион меньше действительных (по документально подтвержденной статистике).

Необходимо было взять под жесткий контроль и людские надежды на лучшую жизнь после стольких лишений и жертв в годы войны, после завоеванной народом Великой Победы. Эти чаяния, естественно, отражались в литературе и искусстве.

Однако советские люди в массе своей, и прежде всего большинство писателей, кинематографистов, композиторов, театральных режиссеров, артистов, не в силах даже представить себе подлинную суть этой стратегии, старательно вникали тогда в ошибки названных журналов, фильмов, опер и пьес, не догадываясь о том, что для заданной тотальной цели вполне могли быть использованы другие конкретные фильмы и другие оперы, названы другие произведения и авторы. Кроме двоих — Зощенко и Ахматовой. Их имена вошли бы в любой перечень, в любой властительный пасьянс...

Впрочем, необъявляемые предупредительные репрессии начались гораздо раньше этих «постановлений». Уже в конце войны Сталин, ставший вскоре генералиссимусом, погнал своих соотечественников-военнопленных из фашистских концлагерей эшелонами в советские лагеря: для него они не были ни жертвами, ни мучениками, то были *живые свидетели* трагедии 41-го года, трагедии народа и бесславия Вождя. И

потому их надлежало устранить — изолировать, судить как изменников родины, трусов, бросивших оружие, спасавших свою шкуру, и разметать по «архипелагу» ГУЛАГ.

И на все мирное население, бедовавшее под немецкой оккупацией — баб, детишек, стариков, — наложено было теперь клеймо подозрения и второсортности: якшались с врагом, не хватило идейности погибнуть в борьбе, сжечь собственную избу, порезать свою скотину и голыми-босыми уйти на советскую территорию. Теперь во всех многочисленных анкетах был введен специальный пункт — «Находился ли на оккупированной территории?» — как угроза и этим живым свидетелям, оставленным по милости Вождя под родным кровом. И любого взрослого жителя гигантского (и потому неогороженного) морального гетто можно было при надобности обвинить в соучастии с фашистами и отправить «куда следует»; а вчерашнему ребенку-школьнику из этих мест, чтобы поступить в институт, приходилось изворачиваться, унижаться, отрекаться, врать, доказывать, что он самый что ни на есть советский человек.

Годы, отмеченные постановлениями, которые готовил и осуществлял Жданов, окрестили в интеллигентских кругах «ждановщиной». А десятью годами ранее страна испытала «ежовщину» — по имени наркома внутренних дел Ежова, олицетворявшего массовые репрессии тех лет с их истребительным пиком приснопамятного 1937 года. То был еще один изощренный прием Сталина — выдвинуть на авансцену событий новоявленного исполнителя своей воли, на которого затем при надобности и списать очередной «перегиб» и, убрав одиозную фигуру, вновь предстать в освещении всех общественных софитов единственным, мудрым, справедливым заступником и родным отцом своего терпеливого народа. Ежов был по его приказу расстрелян. Жданов умер сам от сердечного приступа, со славой ближайшего соратника, успев еще в 1948 году, в год смерти, нанести последний из всей серии запланированных ударов — на этот раз по музыке, с осуждением композиторов Шостаковича, Прокофьева, Мясковского и других, упорно придерживавшихся в своем творчестве «формалистического, антинародного направления».

Но послевоенное мракобесие на том не кончилось, продолжалось до смерти *самого*. Была объявлена вне закона «лженаука» кибернетика, напрочь отрицалась генетика, а ученые-генетики, «менделисты-морганисты-вейсманисты», преследовались как буржуазные агенты. Одновременно развернулась яростная борьба с «безродными космополитами», которая сразу стала антисемитской кампанией и приняла государственный масштаб. Наконец, была арестована целая группа

советских врачей, большей частью евреев, обвиненных в умышленно вредоносном лечении умерших ранее вождей, в том числе Жданова...

## 2. ПУБЛИЧНОЕ ПОНОШЕНИЕ

За несколько дней до опубликования постановления о ленинградских журналах в Ленинград прибыл сам Жданов, чтобы выступить там с развернутыми и нацеливающими докладами — перед партийным активом города, затем на общем собрании ленинградских писателей.

Вот фрагменты из оперативно изданной «обобщенной стенограммы» докладов Жданова, где говорилось о Зоценко: «<...>...мне нет нужды цитировать здесь „произведение“ Зоценко „Приключения обезьяны“. Видимо, вы все его читали и знаете лучше, чем я. Смысл этого „произведения“ Зоценко заключается в том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Зоценко совершенно не интересуется труд советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема всегда у него отсутствует. Зоценко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Это копание в мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зоценко. <...>

<...> Известно, что со времени возвращения в Ленинград из эвакуации Зоценко написал ряд вещей, которые характерны тем, что он не способен найти в жизни советских людей ни одного положительного явления, ни одного положительного типа. Как и в „Приключениях обезьяны“, Зоценко привык глумиться над советским бытом, советскими порядками, прикрывая это глумление маской пустопорожней развлекательности и никчемной юмористики.

Если вы повнимательнее вчитаетесь и вдумаетесь в рассказ „Приключения обезьяны“, то увидите, что Зоценко наделяет обезьяну ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьяна представлена как некое разумное начало, которой дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошрое, понадобилось Зоценко для того, чтобы вложить в уста обезьяне гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей.

Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?

Если „произведения“ такого сорта преподносятся советским читателям журналом „Звезда“, то как слаба должна быть бдительность ленинградцев, руководящих журналом „Звезда“, чтобы в нем можно было помещать произведения, отравленные ядом зоологической враждебности к советскому строю. Только подонки литературы могут создавать подобные „произведения“, и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход.

Говорят, что рассказ Зоценко обошел ленинградские эстрады. Насколько должно было ослабнуть руководство идеологической работой в Ленинграде, чтобы подобные факты могли иметь место!

Зоценко с его омерзительной моралью удалось проникнуть на страницы большого ленинградского журнала и устроиться там со всеми удобствами. А ведь журнал „Звезда“ — орган, который должен воспитывать нашу молодежь. Но может ли справиться с этой задачей журнал, который приютил у себя такого пошляка и несоветского писателя, как Зоценко?! Разве редакции „Звезды“ неизвестна физиономия Зоценко?!

Ведь совсем еще недавно, в начале 1944 года, в журнале „Большевик“ была подвергнута жестокой критике возмутительная повесть Зоценко „Перед восходом солнца“, написанная в разгар освободительной войны советского народа против немецких захватчиков. В этой повести Зоценко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: — смотрите, вот какой я хулиган.

Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та „мораль“, которую проповедует Зоценко в повести „Перед восходом солнца“, изображая людей и самого себя как гнусных похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести. И эту мораль он преподносил советским читателям в тот период, когда наш народ обливался кровью в неслыханно тяжелой войне, когда жизнь советского государства висела на волоске, когда советский народ нес неисчислимы жертвы во имя победы над немцами. А Зоценко, окопавшись в Алма-Ате, в глубоком тылу, ничем не помог в то время советскому народу в его борьбе с немецкими захватчиками. Совершенно справедливо Зоценко был публично высечен в „Большевике“ как чуждый советской литературе пасквилянт и пошляк. Он наплевал тогда на общественное мнение. И вот не прошло еще двух лет, не просохли еще чернила, которыми была написана рецензия в „Большевике“, как тот же Зоценко триумфально въезжает в Ленинград и начинает

свободно разгуливать по страницам ленинградских журналов. Его охотно печатают не только „Звезда“, но и журнал „Ленинград“. Ему охотно и с готовностью предоставляют театральные аудитории. Больше того, ему дают возможность занять руководящее положение в Ленинградском отделении Союза писателей и играть активную роль в литературных делах Ленинграда. На каком основании вы даете Зощенко разгуливать по садам и паркам ленинградской литературы? Почему партийный актив Ленинграда, его писательская организация допустили эти позорные факты?»

И далее Жданов обнародовал против Зощенко свой козырный «компромат» — выдержки из его статьи двадцатипятилетней давности «О себе, об идеологии и еще кое о чем», урезав за счет неприкосновенности идеологии ее название, вырвав цитаты из контекста статьи, а саму ее из контекста времени:

«Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время. Его современные „произведения“ вовсе не являются случайностью. Они являются лишь продолжением всего того литературного „наследства“ Зощенко, которое ведет начало с 20-х годов.

Кто такой Зощенко в прошлом? Он являлся одним из организаторов литературной группы так называемых „Серапионовых братьев“. Какова была общественно-политическая физиономия Зощенко в период организации „Серапионовых братьев“? Позвольте обратиться к журналу „Литературные записки“, № 3 за 1922 год, в котором учредители этой группы излагали свое кредо. В числе прочих откровений там помещен „символ веры“ и Зощенко в статейке, которая называется „О себе и еще кое о чем“. Зощенко, никого и ничего не стесняясь, публично обнажается и совершенно откровенно высказывает свои политические, литературные „взгляды“. Послушайте, что он там говорил:

„Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, та же идеология... Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность...“

„Какая, скажите, может быть у меня „точная идеология“, если ни одна партия в целом меня не привлекает?“

„С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, а просто русский и к тому же политически безнравственный...“

Что вы скажете, товарищи, об этой „идеологии“? Прошло 25 лет с тех пор, как Зощенко поместил эту свою „исповедь“. Изменился ли он с тех пор? Не заметно. За два с половиной десятка лет он не только ничему не

научился и не только никак не изменился, а, наоборот, с циничной откровенностью продолжает оставаться проповедником безыдейности и пошлости, беспринципным и бессовестным литературным хулиганом. Это означает, что Зощенко как тогда, так и теперь не нравятся советские порядки. Как тогда, так и теперь он чужд и враждебен советской литературе. Если при всем этом Зощенко в Ленинграде стал чуть ли не корифеем литературы, если его превозносят на ленинградском Парнасе, то остается только поражаться тому, до какой степени беспринципности, нетребовательности и неразборчивости могли дойти люди, прокладывающие дорогу Зощенко и поющие ему славословия!..

Какой вывод следует из этого? Если Зощенко не нравятся советские порядки, что же, прикажете приспособляться к Зощенко? Не нам же перестраиваться во вкусах. Не нам же перестраивать наш быт и наш строй под Зощенко. Пусть он перестраивается, а не хочет перестраиваться — пусть убирается из советской литературы. В советской литературе не может быть места гнилым, пустым, безыдейным и пошлым произведениям». (Бурные аплодисменты.)

Есть свидетельства, что перед самой аудиторией Жданов гневно повторил также слова Сталина «ко всем чертям», опущенные им потом в массовой публикации.

Столь же выразительно говорил докладчик и о «физиономии так называемых „Серапионовых братьев“», и о «творчестве» Анны Ахматовой...

Конечно, в 1946 году имя Льва Лунца, умершего двадцать два года назад и пытавшегося, как заявлял Жданов, «дать идейное обоснование того вредного и чуждого советской литературе направления, которое представляла группа „Серапионовых братьев“», было уже вовсе незнакомо не только массовому читателю, но и новому поколению литераторов. А у широкой общественности, прошедшей через прокатку процессов и репрессий тридцатых годов, оно вызывало — по аналогии с таким именем, как Лев Троцкий, и в контексте всего ждановского доклада — представление о каком-нибудь «презренном враге народа», давно понесшем заслуженную кару. Даже сама постановка вопроса «с коммунистами или против коммунистов, за революцию или против революции?» стала за минувшие годы невообразимой, крамольной до ужаса. Не говоря уж об ответе: «Мы с пустынным Серапионом»...

И возвращение после этого исторического экскурса в привычную идеологическую лексику доклада воспринималось многими слушателями с облегчением.

Бурными аплодисментами затем встречались приведенные Ждановым указания и поучения товарища Сталина советским людям и, конечно, заключительные слова доклада, где высказывалась уверенность ЦК в выправлении допущенных ошибок и недостатков. Все вставали. «Обобщенная стенограмма» пестрела этими ремарками. Еще один автограф эпохи.

После писательского собрания несколько близких друзей Зощенко, потрясенные докладом Жданова, сошлись на квартире писателя М. Л. Слонимского. Ожидали прихода Зощенко, которого на собрании по воле организаторов не было, чем многозначительно для всех присутствующих подчеркивалось, что он уже изгнан из советской литературы и советского общества, отвержен, клеймен.

Зощенко пришел, по свидетельству Слонимского, в кепочке, в сером пиджачке и брюках в полоску, с палочкой (то есть тросточкой), с легкой усмешкой на тощем лице.

— К чему же меня приговорили? — спросил он. — Меня не позвали на собрание.

Ему сказали, что положение крайне серьезное.

— Какое самое худое слово из всех худых слов было обо мне сказано? — спросил Зощенко уже без улыбки. (Вот что волновало его прежде всего — оскорбления, на которые он не мог ответить.)

Слонимский изложил ему суть доклада и дал в заключение свой совет:

— Тебе бы, по-моему, следовало прежде всего заявить, что ты советский человек и советский писатель.

— А кто же я такой? — искренне удивился Зощенко. — Как это вдруг на старости лет, на пятьдесят втором году жизни, заявлять, что я советский? Никаким другим я и не был за все годы!

Их «тайная вечеря» или, точнее, страшная ночь длилась до утра. Помимо Слонимского и Зощенко здесь находились писатели Козаков и Мариенгоф с женами, литературовед Эйхенбаум. Все были чрезвычайно обеспокоены. Зощенко хотел и не мог понять происходящее. Он действительно считал себя советским, вкладывал в это понятие свой — идеальный — смысл.

Тем временем нарастающая лавина хулы и гневных осуждений катилась по газетным полосам, по радио, на разного рода литературных, околотрудоватурных, издательских и прочих собраниях, захватывая в свой разоблачительный обвал многих других писателей и издательских работников — «способствовавших», «просмотревших», «допустивших»

идеологические ошибки», «низкопоклонничающих перед Западом», «забывших интересы народа» и проч. и проч.

Единственной возможностью найти высшую справедливость, дать свое собственное объяснение, излить душу с надеждой, что тебя услышат и поймут, было обращение к Сталину. И Зоценко пишет такое письмо:

«27 августа 1946 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в ряды Красной Армии и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.

Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне надо идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого никто от меня не отнимет.

Мою литературную работу я начал в 1921 году. И стал писать с искренним желанием принести пользу народу, осмеивая все то, что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном прошлой жизнью.

Нет сомнения, я делал иной раз ошибки, впадая иной раз в карикатуру, каковая в 20-х годах требовалась для сатирических листков. И если речь идет о моих молодых рассказах, то следует сделать поправку на время. За 20 лет изменилось даже отношение к слову. Я работал в советском журнале „Бузотер“, каковое название в то время не казалось ни пошлым, ни вульгарным.

Однако меня самого никогда не удовлетворяла моя сатирическая позиция в литературе. Я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это сделать было нелегко, так же трудно, как комическому актеру играть героические роли. Можно вспомнить Гоголя, который не смог перейти на положительные образы.

Шаг за шагом я стал избегать сатиры и, начиная с 30-го года, у меня было все меньше и меньше сатирических рассказов.

Я это сделал еще и потому, что увидел насколько сатира опасное оружие. Белогвардейские издания нередко печатали мои рассказы, иной раз искажая их, а подчас и приписывая мне то, что я не писал. И к тому же не датировали мои рассказы, тогда как наш быт необыкновенно изменился за 25 лет.

Все это заставило меня быть осмотрительней и, начиная с 35 года, я сатирических рассказов не писал, за исключением газетных фельетонов, сделанных на конкретном материале.

В годы Отечественной войны с первых же дней я активно работал в

журналах и газетах. И мои антифашистские фельетоны нередко читались по радио. И мое сатирическое антифашистское обозрение „Под липами Берлина“ играли на сцене ленинградского театра „Комедия“ в сентябре 1941 года.

В дальнейшем же я был эвакуирован в Среднюю Азию, где не было журналов и издательств, и я поневоле стал писать киносценарии. В начале 43 года я был вызван в Москву, и там я работал в журналах и газетах, напечатав за полгода не менее 15 фельетонов.

Что касается моей книги „Перед восходом солнца“ (начатой в эвакуации), то мне казалось, что книга эта нужна и полезна в дни войны, ибо она вскрывала истоки фашистской „философии“ и обнаруживала одно из слагаемых в той сложной сумме, которая иной раз толкала людей к отказу от цивилизации, к отказу от высокого сознания и разума.

Я вовсе не один так думал. Десятки людей обсуждали начатую мной книгу. В июле 43 года я был вызван в ЦК, и мне было указано продолжать эту мою работу, получившую высокие отзывы ученых и авторитетных людей.

И если эти люди в дальнейшем отказались от своего мнения, то я и не сосчитал возможным усиливать их трусость своими жалобами. А если я сейчас и сообщаю об этом, то отнюдь не в плане жалобы, а с единственным желанием показать, какова была обстановка.

После резкой критики, которая была в „Большевике“, я решил писать для детей и для театров, к чему всегда у меня была склонность.

Этот маленький шуточный рассказ „Приключения обезьяны“ был написан в начале 45 года для детского журнала „Мурзилка“. И там же он и был напечатан.

А в журнал „Звезда“ я этого рассказа не давал. И там он был перепечатан без моего ведома.

Конечно, в толстом журнале я бы никогда не поместил этот рассказ. Оторванный от детских и юмористических рассказов, этот рассказ в толстом журнале, несомненно, вызывает нелепое впечатление, как и любая шутка или карикатура для ребят, помещенная среди серьезного текста.

Однако в этом моем рассказе нет никакого эзоповского языка и нет никакого подтекста. Это лишь потешная картинка для ребят без малейшего моего злого умысла. И я даю в этом честное слово.

А если бы я хотел сатирически изобразить то, в чем меня обвиняют, так я бы мог это сделать более тонко и остроумно. И, уж во всяком случае, не воспользовался таким устаревшим методом завуалированной сатиры, методом, который вполне был опорочен еще в 19 столетии.

В одинаковой мере и в других моих рассказах, в коих усматривался этот метод, — я не применял сатирической направленности. А если иной раз люди стремились увидеть в моем тексте какие-либо якобы затушеванные зарисовки, то это могло быть только лишь случайным совпадением, в котором никакого моего злого намерения не было.

Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Я никогда не был литературным пройдохой, низким человеком или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас.

Мих. Зощенко».

Если отвлечься от времени его написания — наивное письмо, в котором автор более всего заботится о правдивости и чести при обращении к своему верховному обвинителю, как к самому справедливому судье. Но нельзя понять, тем паче — судить прошлое из последующей эпохи, не постигая «органику» предыдущей, не погружаясь в *то бытие*.

Это особая тема — письма Сталину опальных писателей, посланные ими в крайних обстоятельствах, письма Замятина, Булгакова, Зощенко... Письма истинных художников и честных, интеллигентных людей, обращающихся по этим своим внутренним законам порядочности к человеку, обладающему абсолютной властью в стране, наивысшим авторитетом и признанной всенародной любовью.

«Я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе», «пишу Вам с единственной целью несколько облегчить свою боль», «Уверяю Вас»... Как и на первое свое письмо Сталину в ноябре 1943 года, написанное с искренней верой в нужность повести «Перед восходом солнца» и надеждой отстоять ее с помощью столь просвещенного и всемогущего человека, Зощенко не получил ответа и на сей раз.

Но это искреннее, исповедальное письмо являлось, как видно, моральной опорой для самого Зощенко в том искаженном, перевернутом мире, где совершенно безобидный, детский рассказ, не имеющий никакой политической или идеологической подоплеки, мог быть обращен в злостный, враждебный целому обществу пасквиль и становился антисоветским жупелом. А общество, в котором многие не читали вовсе этого рассказа, охотно принимало такое его истолкование...

И даже в писательской среде мало кто терзался размышлением о некоей загадке вторичного появления в журнальной периодике детского рассказа, на этот раз во взрослом «толстом» журнале. Не давая никакой

трактовки данной загадке, а говоря только о фактах, П. Капица (которого в начале 1946 года ввели в состав редколлегии «Звезды» с тем, чтобы он, сменив В. Саянова, стал бы затем ответственным редактором журнала) пишет в своих воспоминаниях:

«Он (Саянов) должен был закончить свое редактирование на пятом-шестом номере, а я за это время — подготовить к набору седьмой-восьмой.

Не знаю, что побудило Саянова в последнем „его“ номере завести новый отдел — для малышей. Он поместил детские стихи Корнея Чуковского и небольшой рассказик Михаила Зощенко „Приключения обезьяны“.

<...> В начале августа нас срочно вызвали в Москву. Выехали Прокофьев, Саянов и я, а от редакции „Ленинграда“ — Борис Лихарев, Дмитрий Левоневский и Николай Никитин. В пути мы узнали, что в этой же „Красной стреле“ едут секретари горкома партии — Попков и Широков.

„Что же такое стряслось?“ — принялись гадать мы. Обсудили многие материалы, напечатанные в последних номерах журналов, но никому и в голову не пришло вспомнить „Приключения обезьяны“.

Утром того же дня мы попали на прием к начальнику Управления пропаганды ЦК Александрову. Нам думалось, он сразу начнет распекать нас, но говорил он каким-то приглушенным, тихим голосом, оба, мол, журнала печатали сырые, малохудожественные, а порой и идейно вредные произведения, но чашу весов переполнил рассказ „Приключения обезьяны“, поэтому нас всех вызывают на Оргбюро ЦК.

— Подготовьтесь к ответу, — посоветовал он. — Приходите к восемнадцати часам.

— Я виноват, — принялся корить себя Саянов. — Ведь знал, что повесть Мих-Миха „Перед восходом солнца“ разнесли в пух и прах и не дали напечатать конец. Не ко времени он ее писал. И вот угораздило!

— Зачем же он „Обезьяну“ подкинул вам? — спросил Прокофьев.

— Да не подкинул, — с досадой сказал Саянов. — Я сам выпросил у него...»

Итак, В. Саянов, уходящий с поста ответственного редактора «Звезды», вдруг, не посоветовавшись даже с назначенным в преемники П. Капицей, заводит в последнем редактируемом им выпуске журнала новую рубрику «Новинки детской литературы». И... печатает рассказ, написанный Зощенко полтора года назад и уже публиковавшийся в журнале «Мурзилка». Более того, этот же рассказ был помещен в книжечке рассказов Зощенко, вышедшей в библиотечке массового «Огонька» в Москве летом того же 1946 года. А публикация в «Звезде» происходит

вообще без ведома Зоценко (хотя Саянов и говорит, что «сам выпросил» рассказ у него). Но сомневаться в искренности Зоценко никак не приходится — ни вообще, ни, еще того безусловнее, в письме Сталину.

Значит, кому-то была нужна именно *эта* публикация как конкретный повод для удара по Зоценко. Наверняка цековским разработчикам деталей данной идеологической кампании, которую по указанию Сталина развернул затем в своем докладе Жданов. И. здесь, в комбинации вокруг Зоценко, не обошлось, надо полагать, без его давнего недруга Вс. Вишневского (статья которого «Вредный рассказ Мих. Зоценко» появилась в газете «Культура и жизнь» уже на следующий день после фактически ночного заседания Оргбюро, где присутствовал и с резким осуждением Зоценко выступал Вишневский. Он явился на это заседание как на торжественное мероприятие, надев все свои ордена и медали, безусловно осведомленный о закулисной стороне происходившего действия). Не исключено, он и надавил на Саянова, дабы эта публикация произошла в ленинградском журнале, в редактируемой им «Звезде». Не зря Жданов недоволен оборвал П. Капицу, выступавшего после его доклада на писательском сборе в Смольном, когда тот сказал, что «Приключения обезьяны» напечатаны не только в «Звезде» с ее двадцатитысячным тиражом, но еще раньше в приложении к «Огоньку» тиражом в сто тысяч. «И до москвичей доберемся, говорите о своих ленинградских делах», — мгновенно бросил реплику Жданов.

Зоценко однако ни тогда, ни потом не старался проникнуть в помыслы и души участников этой комбинации...

### 3. ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ

Перемолочная машина сразу набрала нужные обороты.

Что мог противопоставить этой машине Михаил Зоценко, считавший себя советским писателем? Убежденный атеист, он искренне верил в свет человеческого разума, исповедовал идеалы социальной справедливости; но его идеалы и вера подменялись идеологическими догмами, лозунгами, партийными установками, которыми целенаправленно забивали сознание людей. Не забудем и про массовый террор в стране, совершившийся в течение всего времени существования режима.

Единственной опорой его души была Литература. Но и эта опора, эта любовь, эта цель, призвание, содержание всей его жизни оборачивалась подменой, ибо исчезали критерии творчества, процесс сочинительства превалировал над искусством, изменялись сами представления о желаемом

результате.

Очевидно, только через совокупность всех этих и иных сугубо насущных причин, вызвавших глубокий внутренний кризис, можно понять и объяснить покаянное письмо Зоценко своему главному хулителю и оскорбителю Жданову. Оно было полностью опубликовано лишь в 1992 году.

Напомним хронику событий. Постановление ЦК о ленинградских журналах было принято 14 августа 1946 года. 15 и 16 августа, еще до публикации постановления, в Ленинграде, в актовом зале Смольного, выступает Жданов — перед партийным активом и перед писателями города. 19 августа проводится заседание правления Ленинградского отделения СП. Зоценко и Ахматову выводят из состава правления, а Зоценко снимают и со всех других его выборных постов. Среди выступавших на заседании с «вполне подлыми речами» (по записи Б. М. Эйхенбаума) был и «серапионов брат» Зоценко Н. Никитин. 20 и 21 августа в газетах «Культура и жизнь» и «Правда» публикуется само постановление ЦК. Словно спущенные с цепи, газеты и радио тотчас бросаются на все лады трепать имена Зоценко и Ахматовой, находят и добавляют к ним новые жертвы в этой развернувшейся общегосударственной охоте. 26 августа Зоценко направляет письмо Сталину — в надежде искренне объясниться и как-то изменить эту немислимую и страшную ситуацию. А через неделю, 4 сентября, президиум правления СП СССР исключает Зоценко и Ахматову уже из Союза писателей — «как несоответствующих в своем творчестве требованиям параграфа 2 Устава Союза, гласящего, что членами Союза советских писателей могут быть писатели, „стоящие на платформе Советской власти и участвующие в социалистическом строительстве“». (И здесь застрельщиком был Вс. Вишневский, который в своем выступлении на заседании президиума заявил: «Я полагаю, что надо ставить вопрос о дальнейшем пребывании в Союзе и Ахматовой и Зоценко».)

Потрясение, испытанное Зоценко от постановления ЦК и последовавших событий, было не сравнимо ни с одной из прежних критических проработок, в которые он попадал. Это был взрыв и обвал всего его бытия, писательского и человеческого. И крах быта, поскольку моментально наступило безденежье: с Зоценко расторгли все договоры издательства и театры, потребовав при этом возврата авансов.

А сам акт исключения из Союза писателей оставил Зоценко и его жену без хлебных и продуктовых карточек, по которым еще жила страна после войны. (Вера Владимировна числилась его секретарем-

машинисткой.) Пользоваться же дорогими коммерческими магазинами в создавшихся обстоятельствах им было невозможно. Видимо, в этот момент мог сработать один из свойственных Зощенко болезненных страхов, о котором весьма верно написал в своей статье Андрей Синявский: «Перед ним вставал призрак нищего — один из устойчивых „архетипов“, издавна вызывавший у Зощенко суеверный ужас. В особенности его преследовал образ интеллигента, ставшего нищим».

И тут, не получив ответ на свое письмо Сталину, которое, казалось, никак не повлияло на беспощадный накат событий, грозивший совсем поглотить его, Зощенко через полтора месяца, 10 октября, обращается к Жданову, в точности повторяя события 1943 года, когда после письма Сталину он обращался к Щербакову.

Теперь он пишет:

«Дорогой Андрей Александрович!

Более 25 лет я писал юмористические рассказы, считая, что я приношу пользу и радость советскому читателю».

И далее, процитировав отзыв Горького о своем юморе, в котором для Горького была «бесспорна его социальная педагогика», сославшись на слова благодарности из нескольких тысяч читательских писем, хранящихся у него, упомянув о награждении его орденом Трудового Красного Знамени и о массовых тиражах своих многочисленных книг, Зощенко продолжает:

«Все это утверждало мое представление о полезности моей работы. Да я и сам полагал, что работая в своем жанре, я помогаю вскрывать недостатки, помогаю бороться с пережитками прошлого.

Мне очень трудно сейчас определить, в чем же именно заключаются мои ошибки. Но я допускаю, что сатирический жанр уводил меня иной раз к шаржу. Хотя мне всегда казалось, что такой прием законен и он в традиции литературы (Щедрин, Гоголь, Свифт). Тем более что я писал об отрицательных явлениях. И некоторый шарж был необходим для того, чтобы вызвать у читателя смех, улыбку, для того, чтобы ярче подчеркнуть написанное.

И, пользуясь таким приемом, я никаких злых намерений не имел. Да и злоба никогда не питала мою литературу.

Напротив, мне всегда казалось, что полезней и радостней изображать положительные стороны жизни и светлые черты характеров. И к такой положительной теме я постоянно стремился. Хотя осуществить такой переход было крайне нелегко, так же нелегко, как комическому актеру перейти на героические роли. Тем не менее с 30-х годов я стал пробовать свои силы в иных жанрах. И мне удалось написать ряд повестей и

рассказов на положительную тему.

Я очень подавлен тем, что случилось со мной. Я с трудом возвращаюсь к жизни. Но у меня есть еще некоторые силы для того, чтобы работать. Совестно признаться, но до постановления ЦК я не совсем понимал, что требуется от литературы. И сейчас я бы хотел заново подойти к литературе, заново пересмотреть ее.

Я прошу Вас и Центральный Комитет позволить мне представить на рассмотрение новые мои работы, начатые недавно. В течение года я бы мог закончить две большие работы.

При этом я, конечно, не прошу каких-либо льгот или снисхождения в моем трудном и сложном положении.

Мне единственно нужно Ваше хотя бы молчаливое согласие на это, для того, чтобы у меня была некоторая уверенность, что новые мои работы будут рассмотрены.

Я понимаю всю силу катастрофы. И не представляю себе возможности реабилитировать свое имя. И не для этого я буду работать. Я не могу и не хочу быть в лагере реакции.

Прошу Вас дать мне возможность работать для советского народа. Я считаю себя советским писателем, как бы меня ни бранили.

М. Зощенко».

Перед нами документ, свидетельствующий о трагедии великого писателя, для которого вся жизнь — в его литературе, который не может не работать, но просит у власти дать ему возможность писать то, что «требуется от литературы», как это диктует сама власть. Он просит позволения у власти представить ей на рассмотрение без «каких-либо льгот или снисхождения» все, что он напишет. А писать он будет так, как наконец он это понял с помощью постановления ЦК...

У него не было никакого намерения писать что-либо «в стол», потаенно, разоблачительно, против терзавшего его режима. Наоборот, он убежденно заявляет: «Я не могу и не хочу быть в лагере реакции». Он — советский писатель и просит дать ему возможность работать для советского народа...

Но и Анна Андреевна Ахматова думала о народе, когда тайно, не записывая, слагала свой «Реквием», а позднее — писала:

Нет! и не под чуждым небосводом  
И не под защитой чуждых крыл —  
Я была тогда с моим народом  
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Для Зощенко, принявшего всевластную в стране идеологию, служение народу сделалось исполнением указаний начальников над литературой.

Сразу после постановления ЦК вокруг Зощенко образовалось «блокадное кольцо» — немалое число друзей-приятелей, особенно из тех, кто занимал хоть какие-то чиновные посты в Союзе писателей и издательствах, отстранились и вовсе отступились от него. Один такой, имя которого Зощенко не назвал, встретившись с ним на мостике через канал и проходя без задержки мимо, низко наклонил голову и проговорил: «Прости, Миша, у меня семья, дети...» Другие, просто знакомые по Союзу писателей и еще недавно почтительно искавшие его внимания, вовсе делали вид, что никогда не имели с ним никакого соприкосновения.

Но оставались у Зощенко и верные друзья. Среди самых близких была и Лидия Чалова. В своих воспоминаниях она рассказала о том, как вел себя Зощенко в первые дни обрушившегося на него лиха:

«<...> И вдруг... приезд в Ленинград Жданова и его доклад перед писателями. Михаила Михайловича на это писательское собрание не пригласили, и о том, что там говорилось, он узнал от В. М. Саянова (их квартиры были на одной площадке), а потом поспешил к М. Л. Слонимскому, где собрались близкие ему люди и где вместе с ними, как написал в своих воспоминаниях Михаил Леонидович, он провел „поистине страшную ночь“. На следующий день он выехал в Сестрорецк. Он, безусловно, догадывался, что газеты вот-вот начнут на все лады склонять его имя, и решил хотя бы отсрочить для своих домашних предстоящий удар. Каждое утро он первым делом шел к почтовому ящику, проверял — не началось ли, и когда наконец появилось постановление ЦК, забрал все газеты и, ничего не сказав Вере Владимировне, уехал в Ленинград. Понятно, что подобные действия Михаила Михайловича кому-то покажутся лишенными смысла. Рано или поздно домашние все равно ведь узнали бы о нависших над их головами новых тучах. Конечно! Но уж такой он был — никогда не умевший отвести от себя беду, добрейший и трогательно наивный Михаил Михайлович. Он весь в этом поступке...

Все первые дни после публикации постановления ЦК начинались для меня так. Прихожу на работу и тут же слышу: „Зощенко застрелился!“ Сломая голову бегу на канал Грибоедова. Он сам открывает дверь... Слава Богу!.. На следующее утро: „Сегодня ночью забрали Михаила Михайловича!“ Снова бегу... Нет, к счастью, опять ложная тревога. Но он

говорит, что вообще-то ждет ареста не сегодня, так завтра...

Возвратившись в Ленинград, я жила у родителей, и Михаил Михайлович почти каждое воскресенье приходил к нам обедать. Ждали мы его и 25 августа (то был первый воскресный день после напечатанного в „Правде“ постановления), а он все не шел и не шел. Тогда отец попросил меня позвонить ему и сказать, что без него мы за стол не сядем. Я позвонила, Михаил Михайлович вскоре пришел, и с того дня мне ни разу уже не потребовалось делать ему „дополнительное приглашение“. Он знал, когда мы садимся за стол, и всегда появлялся точно ко времени». (Добавим, что Л. А. Чалова сразу после исключения Зоценко из Союза писателей купила ему хлебную карточку, которой он был лишен.)

Зоценко действительно ждал ареста. Как и ему самому, эта акция многим казалась тогда неизбежной. И Зоценко при встрече со знакомыми людьми стал уклоняться от какого-либо общения с ними, дабы не бросить на них тень связи с человеком, объявленным почти что государственным преступником. Характерный случай описала актриса Е. В. Юнгер, жена главного режиссера Ленинградского театра сатиры Н. П. Акимова (в этом театре, напомним, в первые месяцы войны шло сатирическое обозрение М. Зоценко и Е. Шварца «Под липами Берлина»):

«<...> В сорок шестом году, после постановления о журналах „Звезда“ и „Ленинград“, как-то я встретила его на Невском и кинулась к нему. Скользнув безучастным взглядом, не обратив на меня ни малейшего внимания, он прошел мимо. Смуглое лицо его еще больше потемнело, показалось мне совсем черным. Он шел своей спокойной, довольно быстрой, размеренной походкой, как обычно очень прямой, слегка откинув назад голову. Я побежала за ним, схватила его под руку.

— Михаил Михайлович, вы меня не узнаете?

Мягким неторопливым движением он освободился от моей руки. Не поворачиваясь ко мне, глядя прямо перед собой, сказал:

— Разве вы не знаете, Леночка, что нельзя ко мне подходить? Почему вы, увидев меня, не перешли на другую сторону?

Я еле удержалась, чтобы не зареветь. Снова крепко схватила его под руку и выпалила, словно боясь, что он сейчас исчезнет, что провожу его, куда бы он ни шел. На этот раз он не отнял своей руки и, как обычно, без всяких модуляций, на одной ноте произнес:

— У вас могут быть большие неприятности.

Я вцепилась в его локоть и зашагала рядом. <...> Шли молча. Я думала только о том, чтобы не реветь. У какого-то подъезда Михаил Михайлович остановился, пожал мне руку, сказал своим четким голосом,

на той же ноте: „Очень вам благодарен“, — и вошел в парадную». (Судя по названному в рассказе Е. Юнгер улице и переулку, Зоценко шел к Л. Чаловой.)

Как видим, Зоценко, сознавая нависшую над ним угрозу ареста, заключения в тюрьму или ссылки и отстраняя своих знакомых от контактов с ним, в то же время не прятался, испытывая страх, у себя в квартире, не скрылся прочь с людских глаз. Он как бы обозначал свое присутствие в обществе, оставаясь при этом самим собой...

В стремлении сохранить душевную устойчивость, не рассыпаться как личность у него было две опоры — собственный характер и верные друзья. И друзья старались помочь — причем материальная помощь в тот острый период одновременно оказывалась и моральной. Постоянно помогал своему «серапионову брату» Вениамин Каверин, делясь с ним каждым своим гонораром. Время от времени приходили денежные переводы от Мариэтты Шагинян. Всяческую поддержку оказывал Зоценко и Корней Иванович Чуковский. Помогали выстоять, не быть в изоляции литературовед Илья Груздев, писатели Юрий Герман, Михаил Козаков, давний друг композитор Дмитрий Шостакович, знаменитый артист Игорь Ильинский...

Его крестный путь пролег по *эту* сторону колючей проволоки, совсем близко от нее, на грани, но команды втянуть его в ворота ГУЛАГа не поступило. Возможно, письма к Сталину и Жданову определили все же судьбу Зоценко таким образом, что он не попал в ГУЛАГ. Для него был избран способ перемола без ареста — публичное поношение, психологический террор, клеймо прокаженного.

Расправа эта велась изощренно и расчетливо: не заключая ни в тюрьму, ни в лагерь, его убивали морально, громогласно шельмуя, унижая, обливая грязью как писателя и человека. Его сделали парием в обществе, которому он все еще старался служить своим блекнувшим пером. Власть действовала в отношении него с явной мстительностью. Характерно, что ни сам главный идеолог Жданов, ни многочисленные поносители Зоценко от литературы (не говоря уже о тех, кто выступал от имени «народа») совершенно не упоминали его идеологически «положительных» произведений 30-х годов, в которых он столь усердно, вразрез с есенинским обетом, «отдавал милую лиру» советскому режиму. Хулители и гонители напрочь «забыли» эти произведения, скинули их со счетов. Те годы оказались в низине между двумя яростно атакованными вершинами его творчества — первым десятилетием и годом публикации «Перед

восходом солнца».

Злобная мстительность, с которой оплевывали Зоценко, имела глубокие, в том числе и личные корни: над ним глумились те самые люди, которые два десятка лет назад начинали свою общественную деятельность примерно так, как это было показано им в рассказах «На живца», «Честный гражданин» и многих других, то есть с провокаций, доносов, спекулирования своим пролетарским происхождением... Но теперь эти зоценковские герои (и их сыновья) уже сидели в начальственных кабинетах всех уровней, они переменялись внешне, получили аттестаты и дипломы об образовании, обрели уверенность в себе, хваткость, научились представлять власть и пользоваться ею. И в то же время они не могли забыть ни своих исходных портретов в литературе, столь точно запечатленных Зоценко прямо с натуры в еще недавнем прошлом и живых в людском сознании доселе, ни, конечно, самого автора, который их рисовал, вызывая всеобщий неудержимый смех...

С тех пор более сорока лет, вплоть до официальной отмены постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (да и потом тоже), много говорилось — тайно, затем открыто — о жестокой несправедливости, ошибочности этого документа. Отвлечемся, однако, на миг от злобной, оскорбительной лексики и отыщем его суть (хотя и злоба была его суть тоже): «Зоценко давно специализировался... на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание». Усиленное воспроизведение основной мысли Сталина, высказанной им на совещании в ЦК, предварявшем принятие этого постановления. И запоздалое — на целых 20 лет! (если говорить о вердикте верховной власти) — но точное *по большевистской логике* разоблачение и осуждение недопустимого для тоталитарного, насквозь идеологизированного режима творчества такого гуманного художника, как Михаил Зоценко. Большевики все-таки прочли его правильно. И подвергли изничтожению. Вслед за публичным поношением и административными санкциями в отношении него самого, в библиотеки страны поступила команда изъять все книги этого автора.

Так что дело было не только в личной мести людей, некогда представших обществу под пером замечательного художника в своей изначальной сущности. Зоценко был отвергнут режимом, которому они служили и который теперь олицетворяли.

Но сам он, по-видимому, не хватывая до конца этот коловорот сил, жестоко крутивших его, пытался приспособиться к тому тяжкому

положению, в котором оказался.

Лишенный — директивным образом — всякого литературного заработка (в прославившие его 20-е годы в официальном обороте находился термин «лишенец», обозначающий человека, лишённого избирательных и иных социально-общественных прав), Зоценко на какое-то время вернулся к одной из своих давних профессий, к сапожному ремеслу, и получал в сапожной артели заказы для работы на дому. Жена его также безуспешно пробовала поступать на службу — отпугивала фамилия, предлагали даже переменить ее. Семья в основном жила года два продажей вещей, благо Вера Владимировна в пору процветания мужа по своей инициативе и склонности покупала красивую мебель и дорогие вещи для украшения дома. Затем Зоценко, не в силах оплачивать свою просторную квартиру, одну из лучших в кооперативной писательской надстройке (а также по интеллигентской мнительности задумываясь о том, насколько удобно в его нынешнем общественном положении оставаться в ней), поменял ее в том же доме на гораздо меньшую. В его квартиру вселились писательница Кетлинская, ставшая в это время лауреатом Сталинской премии, и ее муж писатель Зонин. Была также продана половина сестрорецкой дачи...

Сохранился (в черновике) красноречивый документ, характеризующий обстоятельства тогдашней жизни Зоценко и, конечно, его самого. При квартирном обмене часть мебели семьи Зоценко оставалась на прежнем месте, так как не помещалась в меньшей квартире и, как видно, подлежала продаже. Через три месяца после обмена он пишет Кетлинской:

«Дорогая Вера Казимировна!

Я с маленькой просьбой к Вам. Просьба моя, вернее, относится к А. И. Зонину. Но он всегда суровый, и я не рискую тревожить его.

Дело в том, что Ал. И. обещал мне заплатить в декабре за мою злосчастную конторку (он сказал — рублей 600–700).

Видимо, А. И. не получил денег. А у меня завтра (28) последний срок заплатить за квартиру. Не можете ли Вы дать хотя бы 300 рублей под этот долг А. И.?

Госиздат-во (в Петрозаводске) задолжало мне (за напечатанный перевод) — 7 тысяч. И не платит за неимением денег. Вот и приходится изыскивать нелитературные доходы.

Извините, что беспокою Вас этим делом. Не сердитесь на меня за это письмецо.

Мих. Зоценко

27 дек.48 г.».

(Древние в таких случаях говорили: *Sic transit gloria mundi* — Так проходит слава земная...)

В конце 1946 года Вера Владимировна сделала такую запись о состоянии мужа после всего пережитого той осенью:

«<...>...он чувствует себя совсем больным, нравственно разбитым, морально опустошенным, да и физическое здоровье никуда не годится...

Кроме того — ему 51 год...

В эти годы, тем более с его психикой, надежды на то, что он сможет подняться, сможет вернуть себе свое прежнее положение, нет».

И все-таки в январе 1947 года Зощенко приступил к работе над книгой партизанских рассказов. Материал для этой книги был собран еще в 1944 году, когда он сразу по возвращении из Москвы в Ленинград (после тогдашнего разгрома повести «Перед восходом солнца») присутствовал на встрече с партизанами, действовавшими во время войны в лесах Ленинградской области. Зощенко внимательно слушал их выступления, беседовал с заинтересовавшими его участниками, много записывал, уточнял детали боевых эпизодов. И теперь этот добротный материал о Великой Отечественной войне был им оформлен в цикл рассказов под общим названием «Никогда не забудете». К апрелю 1947 года весь цикл из тридцати двух рассказов был завершен.

Зощенко, конечно, понимал, что в настоящее время любая публикация под его собственным именем возможна только с высочайшего разрешения. И перепечатанную Верой Владимировной рукопись партизанских рассказов он в том же апреле послал, как она пишет, секретарю Сталина Поскребышеву — «с просьбой, если он найдет нужным, передать ее и прилагаемое письмо Сталину». А через два месяца, в июне, Зощенко уже получил телеграмму от главного редактора «Нового мира» К. Симонова с предложением приехать в Москву по поводу публикации этих рассказов в их журнале. И в сентябре того же года десять рассказов «партизанского» цикла Зощенко были напечатаны в «Новом мире». Эта первая его публикация после постановления ЦК и годичной общественной изоляции связывалась им самим и близкими ему людьми с личным указанием самого Сталина. (Как и возвращение Зощенко и Ахматовой хлебных и продуктовых карточек.)

Но есть и другая версия данного события — версия К. Симонова, изложенная им в его мемуарной книге «Глазами человека моего поколения» (написанной в 1979 году незадолго до смерти). В ней Симонов говорит, что узнал о партизанских рассказах Зощенко от Юрия Германа весной 1947 года. Оценив положительно эти рассказы, Герман — в передаче Симонова

— сказал ему: «Дело не в самих рассказах, а в том, что их написал Зоценко, о котором сказано в докладе Жданова, что у него гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия, а в постановлении ЦК он назван пошляком и подонком. Но рассказы сами по себе можно напечатать и сделать этим первый шаг к тому, чтобы вывести Зоценко из того ужасающего положения, в котором он оказался, — и если бы ты вдруг взял и решился...»

И далее Симонов пишет:

«Так и окончился этот разговор или примерно так. Я подумал, подумал и решился — сначала на то, чтобы вызвать Зоценко в Москву и прочесть его рассказы, а потом на то, чтобы отобрать около половины этих рассказов, которые мне показались лучшими, и, действуя уже на свой страх и риск, без обсуждения на редколлегии, перепечатав эти рассказы вместе с коротеньким предисловием Зоценко, отправить их Жданову, находившемуся тогда в Москве и руководившему вопросами идеологии, с моим письмом о том, что я считаю возможным напечатать эти рассказы на страницах „Нового мира“, на что в связи со всеми известными предшествующими событиями, прошу разрешения ЦК».

В версии Симонова есть явные несоответствия. Во-первых, чтобы прочесть рассказы писателя, обычно просят прислать рукопись, а не вызывают его самого из другого города. Тем паче это должно было относиться к Зоценко в том положении, в каком он находился. Во-вторых, Зоценко прибыл в Москву по телеграмме Симонова 6 июня, а тремя неделями раньше, 13 мая, состоялось совещание у Сталина, на которое было вызвано руководство ССП — Фадеев, Симонов, Горбатов и где присутствовали также Жданов и Молотов. На совещании обсуждались назревшие «писательские дела». И здесь же, как пишет сам Симонов, Сталин разрешил ему печатать рассказы Зоценко, когда он «вдруг решился» по собственной инициативе обратиться к Сталину с этим вопросом. Но Сталин, конечно, уже знал и от Поскребышева, и от Жданова об этих рассказах. Читал он и письма Зоценко и знал о нем все, что ему было нужно, чтобы дать *свою* команду «Новому миру». А нужно ему было от *провинившегося*, как всегда, покаяние, признание ошибок, отречение от себя, обет верности ему, Сталину...

Так что никакой геройской заслуги Симонова в данной публикации Зоценко не видно. Даже напротив. Из тридцати двух рассказов Симонов перестраховочно выбрал десять — самых коротких и проходных, дважды урезав обещанное автору количество. Сказалось, безусловно, и его личное отношение к Зоценко, о котором он также написал в своей мемуарной

книге: «<...> К Зощенко военных лет я не питал того пиетета, который питал к Ахматовой». А о той беспардонной, оскорбительной брани, которая вылилась на голову Зощенко в 1946 году, Симонов всего лишь заметил: «... читать было неприятно, неловко». Известно также высказывание Симонова по адресу Зощенко, сделанное в одном доме, где присутствовала и Лидия Чалова, в тот год, когда Зощенко поносили за повесть «Перед восходом солнца»: «Получил по заслугам».

При всем том, отмечая эту неприязненность Симонова к Зощенко, надо — говоря о перестраховочном поведении Симонова при публикации зощенковских «партизанских» рассказов — помнить о *времени*, в которое никакие заслуги (а Симонов к 1947 году получил уже три Сталинские премии) не гарантировали безопасности человеку, вызвавшему недовольство Сталина. Правда, впоследствии все это могло представляться в ином свете.

Но Зощенко и в случае с Симоновым не видел в отношении себя никакой неблагоприятной подоплеки. И сердился, когда ему говорили, что нельзя было доверять Симонову отбор рассказов...

Куцая, неяркая публикация обрушила и надежды Зощенко на достойный гонорар, который поддержал бы семью.

Однако сам факт публикации вдохнул в Зощенко надежду и придал силы для работы. Он принялся за комедию под названием «Здесь вам будет весело». Писалась эта комедия с душевным подъемом, с возродившимся мастерством и, казалось, удалась ему на славу. Он отдал ее главному режиссеру Театра комедии Н. П. Акимову. Конечно, пьеса была «политически правильная», как Зощенко сам характеризовал ее. Но постановку все равно запретили — потребовали переделки, причем в разных инстанциях давались разные поправки. Всего за три года Зощенко сделал 13 вариантов горемычной комедии, но она так и не увидела ramпы. «Препятствия и преграды оказались столь велики, что они сломили мой дух, и я не считаю более приличным просить и клянчить», — написал он Акимову. Аналогичная судьба постигла позднее и две другие его пьесы (одну из которых, музыкальную комедию «Шутки в сторону», он писал с двумя соавторами и под псевдонимом. Но и тут перестраховщики из театральных «инстанций» были на страже).

Продолжая упорно искать возможности зарабатывать литературным трудом, Зощенко занялся переводами. В 1948 году он выполнил перевод юмористической повести «За спичками» финского писателя Лассила, считавшегося зачинателем финской пролетарской литературы. Повесть была опубликована в петрозаводском журнале, затем вышла там же

отдельной книгой и привлекла широкое читательское внимание далеко за пределами Карелии. Этот ее успех справедливо связывался в профессиональных кругах не только с доброкачественным переводом, но и с литературной обработкой, блестяще произведенной Зоценко. (Хотя большую часть тиража книги напечатали без упоминания его фамилии.) В это же время с ним заключили договор и в Москве, в издательстве «Советский писатель», на перевод с финского еще одного автора. Потом он снова переводил Лассилу, другую его повесть, и снова еще одну книгу второго автора...

Ему вроде бы указывали загончик, где должен был стоять его литературный Пегас. Между тем, несколько восполняя домашний бюджет, переводы не могли унять его тоски по собственному творчеству. Зоценко был готов принять любое официальное предложение, чтобы выступить как рассказчик и фельетонист. Он даже взялся за то, чтобы — по заказу главного редактора «Крокодила», вознамерившегося привлечь его к работе, — «создать положительный жанр в комическом фельетоне». Хотя сам же писал ему, что «русская комическая литература всегда была обличительной». Он создал около десятка фельетонов такого «жанра». Однако редактор, испугавшись собственной инициативы, не согласованной с высоким начальством, не опубликовал их...

Это почти будничное мучительство отразилось на Зоценко как внутренне, так и внешне. Встретившийся с ним впервые за годы его преследования Федин записал в своем дневнике в апреле 1948 года: «Очень изменился. Даже глаза переменились — не по выражению, а *формой*».

Взаимоотношения Зоценко и Веры Владимировны в этот тяжелый период оставались по сути прежними — сказалось их многолетнее противостояние, которое выработало у каждого привычную обособленность в принятых на себя семейных рамках. У Зоценко это была самозащита, у Веры Владимировны — постоянная неудовлетворенность тем, что она не одержала «свою победу». Конечно, постигшая Зоценко беда была для них общей, и надо было совместно ее преодолевать. Но сердечного сближения не произошло, да, наверное, и не могло произойти — по изначальной несладности характеров, пусть и соединенных одной судьбой.

С весны до середины осени Вера Владимировна почти все время находилась на даче в Сестрорецке, а Зоценко по большей части был в городе. Так, в своих воспоминаниях, относящихся к 1947 году, Вера Владимировна пишет: «В Сестрорецк в это лето приезжал он редко,

посылал мне сухие, холодные, деловые записочки». В этих «записочках» (и в телеграммах) он исправно сообщал жене о своих делах — о поездке в Москву и переговорах с «Новым миром», о работе над комедией «Здесь вам будет весело» и последующих перипетиях вокруг нее, о переводах с финского. И, как всегда, у них были общие денежные дела.

Что до его личной жизни, то в этот период в ней произошли перемены. Лидия Чалова по-прежнему оставалась его близким другом, но Зоценко, очевидно, задумался тогда над ее дальнейшей судьбой. Чаловой было уже тридцать пять лет, и ей следовало обрести свою семью. Это и произошло — с благословения Зоценко, о чем можно судить по ее воспоминаниям: «В марте 1949 года я вышла замуж. Михаил Михайлович был на свадьбе и потом часто заходил к нам в гости». После выхода в свет в его переводе книги Лассила «За спичками» на подаренном Чаловой экземпляре Зоценко доверительно написал: «Это первая книга, Лидуша, после моего трехлетнего отсутствия в литературе».

А незадолго до того в жизни Зоценко появилась еще одна женщина. Появление ее отмечается в воспоминаниях Веры Владимировны следующим образом: «Итак, шла зима, пожалуй, самая тяжелая зима моей жизни. Хозяйство пришлось взять целиком на себя — убирать квартиру, чинить и штопать белье, кормить Валю и себя... Михаил от моих обедов категорически отказался и весь год завтракал и обедал у „Маришки“...» (Речь идет о зиме 1947/48 года.)

«Маришка» — это Марина Диадоровна Мухранская (Багратион-Мухранская), бывшая жена известного сценариста и теоретика кино М. Ю. Блеймана, жившая в том же доме, что и Зоценко. До войны и затем в эвакуации в Алма-Ате, где Блейман работал на «Мосфильме», знакомство у них было, что называется, шапочное. У Мухранской (ее квартира находилась двумя этажами выше) Зоценко стал бывать после войны, когда Блейман уехал в Москву, а она с сыном осталась в Ленинграде. И именно в ее доме он обрел тот оазис, где мог укрыться от разразившейся над ним грозы, отключиться от тогдашней общественной свистопляски. Воспоминания М. Мухранской, названные ею «Без литературы», говорят прежде всего об этом. Приведем несколько выдержек:

«<...> Двенадцать последних лет его жизни я чуть ли не каждый день видела его у себя, но дорожила нашими отношениями не потому, что он знаменитый писатель. Для меня он был просто человек, которого несправедливо и жестоко обидели, и вот он приходит в мой дом, чтобы отдохнуть от забот и на время забыть свои горести. <...>»

«<...> Я не спрашивала его о семье, о людях, с которыми он

поддерживал отношения, о том, чем в тот или иной день было занято его время до прихода ко мне, — словом, я не спрашивала его ни о чем, что находилось за пределами интересов, которыми жил мой дом. И потому он рассказывал мне лишь то, что хотел, делился лишь тем, чем ему было необходимо со мной поделиться.

Время от времени он приходил в очень плохом состоянии. Что-то опять в очередной раз случилось — какая-то новая неприятность. Если заговорит, я, конечно, разговор поддержу — постараюсь успокоить, развеять его страхи и опасения, отвлечь от тяжелых дум. Но, бывало, придет и молчит, весь вечер промолчать может. Я копошусь на кухне, вяжу или, если очень устала за день, прилягу и задремлю, а он все сидит и думает о своем. Потом встанет и так же молча уйдет. В такие вечера я не тревожила его разговорами. Я вообще старалась не мешать ему жить своей жизнью. Здесь у нас был как бы негласный сговор. И никто не хотел его нарушать. Видимо, именно это — прежде всего — привлекало его в мой дом...<...>»

«<...> Еда, питание — это было одной из самых больших проблем его жизни. Тут у него было полное неблагополучие. Он и ходить-то к нам начал, по сути дела, из-за того, что, сев однажды за стол, вдруг почувствовал: может есть! <...>

<...> И такое удивление отразилось на его лице... С этого дня он стал к нам ходить буквально по часам: к завтраку, обеду и ужину. И на ужин обязательно приносил с собой что-нибудь вкусное».

«<...> Он приходил к нам не за сочувствием, не с жалобами на свою судьбу. Он приходил отдыхать от ее ударов. И, видимо, поэтому не „вtraвлял“ нас в свои переживания. Устав от сложных взаимоотношений, возникших у него с внешним миром, он искал в нашем доме простых и спокойных житейских радостей. И, как я смею предполагать, нашел их. Он оставлял за дверью все свои боли и неудачи и становился не писателем Зощенко, со всей известностью своего гордого и печального имени, а обыкновенным домашним человеком — исключительно добрым, заботливым и... Я вот недавно спросила сына: „Каким ты его запомнил?“ И он, не задумываясь, ответил: „Веселым!“

Михаил Михайлович — веселый человек? Нет, наверное, это сказано слишком сильно. Я бы внесла такую поправку: он умел и любил быть веселым. Когда он нас веселил и, глядя на нас, сам веселился, я чувствовала: в эти минуты он-то и был, как говорят, настоящим, самим собой, тем самым, каким был задуман и сотворен, — настолько естественно и свободно это у него получалось. <...>

<...> Трудно перечислить все то, что появилось в нашем доме с его легкой руки. У него было очень трудно с деньгами, но он не мог отказать себе в удовольствии: по любому случаю что-нибудь да подарить. Радиоприемник, проигрыватель, пишущая машинка, часы, даже подзорная труба были подарены сыну на день рождения. Я считаю, да и сын тоже, что именно Михаилу Михайловичу он обязан своей профессией кинооператора. <...>

<...> Вообще, он был очень мнительный человек. Часто говорил о своих болезнях, подозревал у себя то одно, то другое. И нелегко было устоять, чтобы не пошутить в связи с появлением его очередного „недуга“. Поначалу он был недоволен, но потом и сам над собой стал подшучивать. Включился в игру. И мне кажется, она ему даже нравилась. Потому что это тоже был способ бороться с собой, со своими врагами-неврозамми».

История отношений Зоценко с Мухранской дает повод для аналогии: если Лидия Чалова фактически спасла его, дошедшего в Алма-Ате до дистрофии, а затем весьма поддержала его в Москве в момент запрета «Перед восходом солнца», то Марина Диадоровна Мухранская помогла Зоценко выстоять психологически (да и физически тоже) после постановления ЦК со всем последовавшим затем проворотом его в машине подавления.

Стремясь к контакту с властью, Зоценко неизбежно обрекал себя на нравственные муки. Он много работал, снова писал в разных жанрах, но судьба его была в руках партийных и литературных начальников, цензоров. Среди них попадались и такие, кто хотел бы ему помочь, да легко отступался, когда это грозило их личному благополучию. Немало имелось и тех, кому было приятно выказать свою значительность перед поверженной знаменитостью. Особенно мучительны были для Зоценко его безрезультатные мытарства с комедией «Здесь вам будет весело». Весной 1949 года он послал ее в Москву в Комитет по делам искусств — начальнику Главного управления театрами. И комитет дал разрешение на постановку пьесы в ленинградском Новом театре. Казалось бы, все отлично. Но вскоре находится другая инстанция — Главрепертком, откуда следует распоряжение запретить уже готовый спектакль... Попав в этот отчаянный тупик, Зоценко обращается к А. А. Фадееву, тогдашнему генеральному секретарю ССП и члену ЦК:

«Дорогой Александр Александрович!

За три года я написал 22 печ. листа (три комедии, рассказы, фельетоны, книга о партизанах). Все работы мои в основном одобрены,

правились и в конечном счете отклонялись, хотя я и не отказывался сделать именно так, как требовалось.

Всякий раз я наталкивался на такие преграды, которые не позволяли думать, что работы мои могут быть напечатаны или поставлены без особого разрешения.

И это, несомненно, так. Один редактор, которому я недавно послал несколько рассказов, откровенно мне написал, что лично он очень хочет, чтобы я сотрудничал в его журнале, но это не зависит от него.

С грустью вижу, что моя трехлетняя работа сводилась к бессмысленному занятию и что этим я лишь напрасно отнимал время у людей и у себя. Это тем более печально, что свою квалификацию я отнюдь не потерял. И готов читать свои работы в самой строгой аудитории.

Я много раз пробовал достать какую-нибудь несамостоятельную работу (правка, переводы, переделки), но за исключением одного финского перевода мне ничего не удалось получить. Все телефонные распоряжения на этот счет (даже секретаря горкома) ни к чему не приводили. Издательства остерегались иметь дело со мной.

Я пробовал устроиться на службу (не литературскую), но и тут мне отказывали, узнав мою фамилию.

Четвертый год я нахожусь без работы и без заработка.

Обращаюсь к тебе как к члену ЦК, — укажи, как мне поступить, чтоб не быть лишним человеком в государстве. Все мои искренние желания и многократные попытки включиться в общую работу не дали желательных результатов.

Я прошу у ЦК указания — что я должен делать?

Мих. Зощенко

27 авг. 49 г.

Ленинград, канал Грибоедова. 9, кв. 124».

Фадеев вызвал его в Москву, прочитал пьесу и дал свои советы для ее переработки; помог также заключить новые договоры на переводы. Но желанной перемены ситуации у Зощенко не произошло.

И тогда он весной 1950 года посылает письмо секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову, который был также заместителем председателя Совета Министров СССР и о котором в то время хорошо толковали в народе (при нем произошло снижение цен). Перечислив все сделанное им в последние годы с целью «несколько загладить многие мои идеологические ошибки и промахи» и сообщив о судьбе этих своих сочинений, Зощенко пишет: «Я искренне и горячо хочу отдать мой литературный труд народу. И мне кажется, что (хотя бы в области рассказа) я могу быть полезным партии и

советскому читателю. Но внешние препятствия на пути к этому слишком велики, чтоб не прийти в замешательство после трех с половиной лет упорного и напрасного труда». Вместе с письмом он отправил Маленкову и свою многострадальную комедию: «При этом осмеливаюсь послать Вам мою комедию, которая была разрешена Комитетом по делам искусств для постановки в ленинградском „Новом театре“. Театру не удалось поставить эту комедию, ибо вскоре последовало запрещение. Теперь, тщательно выправив эту политическую пьесу, я прошу позволения ЦК напечатать ее в каком-либо журнале».

Вскоре Зощенко вызвали в Смольный для телефонного разговора с работником ЦК из Управления агитации и пропаганды, который сказал ему, что никаких препятствий для его публикации нет. И верно: из тотчас посланных им рассказов в «Крокодил» и «Огонек» два были приняты. (Но комедия «Здесь вам будет весело» и на этот раз не была ни поставлена, ни напечатана.) Сообщая о перемене в своей судьбе Федину, Зощенко написал: «Выхожу из четырехлетней беды с немалым уроном — „имение разорено и мужики разбежались“. Так что приходится начинать сызнова. А за эти годы чертовски постарел и характер мой изменился к худшему...»

Отношение к Зощенко менялось не без оглядки и попятного хода. Директор издательства «Советский писатель», не доверяя устным указаниям, потребовал даже письменного распоряжения, чтобы дать ему новую переводческую работу. К тому времени Зощенко мог уже считаться занятым переводчиком. Теперь он выпускал третью книгу с финского и получил еще заказ на переводы с украинского. Одновременно он писал и собственные рассказы, закончил — в соавторстве — три новые пьесы...

И в июне 1953 года, через три с половиной месяца после смерти Сталина, Зощенко наново приняли в Союз писателей. Не восстановили, — чтобы не подумал кто, что ранее была совершена ошибка, — а приняли на общих основаниях. На этом особенно настаивал во время заседания президиума правления ССП все тот же Симонов. Да Зощенко прошел мимо этой казуистики, удовлетворился самим членством и обретенными вновь правами.

Но в 1954 году ему суждено было испытать еще один проворот в советской машине подавления человека. Он так и не сумел избавиться от своей наивности в отстаивании собственного достоинства и на встрече с английскими студентами, пожелавшими увидеть живых Зощенко и Ахматову, ответил отрицательно на вопрос, согласен ли он с прежними обвинениями Жданова, — имея в виду оскорбительные для него эпитеты.

Анна Андреевна невозмутимо ответила, что с критикой «согласна»... Она слишком хорошо знала эту власть, для отношений с которой «озвенелый зэк» (как он сам сказал о себе) Солженицын позднее обнародовал правило: «Не верь, не бойся, не проси». Она не верила, не просила. И не боялась — за себя. Боялась за сына, находившегося в ГУЛАГе.

А Зоценко с подачи критика Друзина, тогдашнего редактора «Звезды», повлекли по еще одному кругу травли — в газетах и на собраниях. «Факты последнего времени свидетельствуют, что М. Зоценко скрывал свое истинное отношение к Постановлению и продолжает отстаивать свою гнилую позицию», — сформулировала «Ленинградская правда» свой гончий тезис. Но круг этот неожиданно завершился его бунтом. От него потребовали покаянного выступления на общем собрании ленинградских писателей, проводившемся перед уже назначенным съездом. Зоценко говорил долго — объяснял свои принципиальные позиции, полностью совпадающие с партийными, говорил об инциденте с английскими студентами, о своем пути в литературе, о сатире, о своем письме Сталину, о том, что он читал почти все произведения Ленина, все 12 томов Сталина, помимо «Краткого курса»... Но под конец, уже неоднократно прерываемый напоминаниями председательствующего В. А. Кочетова о времени, вдруг возбужденно заявил:

«Вот уже 8 лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое человеческое достоинство.

<...> Я никогда, как это было сказано, не втирался в редакции, не желал лезть в руководство. Этого не было — было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так?

Я бежал, как черт от ладана, я просил и умолял, чтобы меня не включали в редколлегию „Звезды“. Мне товарищи на президиуме сказали: „Смирись! Уже подписано твое назначение“.

Как получилось, что рассказ „Обезьяна“ я „напечатал с пасквильной целью“?

Этот рассказ был напечатан еще в 1945 г. в журнале „Мурзилка“ для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла и возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось. Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии детских рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль: что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано, и никакого подтекста

я — клянусь! — не вложил в него.

Как получилось?

Мне сказали, что я не захотел помочь советскому государству в войне, что я трус и окопался в Алма-Ата.

Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я — трус?

Кто мне может сказать, что из Ленинграда я бежал?

Товарищи знают: я работал в радиокомитете, в газете, я написал вместе со Шварцем антифашистское обозрение „Под липами Берлина“, и это обозрение шло во время осады.

Эти люди живы и находятся здесь, в Ленинграде: Акимов, который ставил, Шварц, который писал со мной. Весь город тогда был заклеен афишами с карикатурами Гитлера. Это было в августе — сентябре 1941 года. Как же можно говорить, что я трус, что я не хотел помочь советскому человеку?

Я не хотел уезжать из Ленинграда. Мне предложили и приказали.

Я не был никогда не патриотом своей страны. Я не могу согласиться с этим! Что вы хотите от меня? Что я должен признаться в том, что я — пройдоха, мошенник и трус?!

Я заканчиваю.

Последняя фраза. Я могу сказать: моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. Я не могу выйти из положения. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын!

Как я могу работать?

Я думал, что это забудется. Это не забылось — и через восемь лет мне задают этот вопрос. Может быть, это задали враги, но я получаю письма от читателей, ко мне приходят и спрашивают. Я знаю, что это не забылось!

У меня нет ничего в дальнейшем! Я не стану ни о чем просить! Не надо вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков! Я больше чем устал!

Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею!»

В зале послышались аплодисменты нескольких человек. Зощенко вышел вон...

Чтобы сбить впечатление, произведенное на присутствующих его выступлением, в президиуме поднялся Константин Симонов, специально прибывший из Москвы для начальственного надзора за этим собранием, и произнес:

— Товарищ Зоценко бьет на жалость...

Но «жалость», точнее, человечность, как известно, не была свойственна большевикам. Для Зоценко началось повторение пройденного — газеты, радио, издательские отказы. Спустя год Вера Владимировна написала об их жизни Лидии Николаевне Тыняновой, жене Каверина: «... по-моему, все сейчас настолько скверно, как никогда еще не было...

„Октябрь“ вернул М. М. рукопись с крайне вежливой телеграммой, извещавшей, что „к большому сожалению, рассказы для журнала не подошли...“

Это было для него таким страшным ударом, что я боюсь, ему от него не оправиться...

В последний свой приезд в Сестрорецк он прямо говорил, что, кажется, его наконец уморят, что он не рассчитывает пережить этот год...

Особенно потрясло М. М. сообщение ленинградского „начальства“, что будто бы его вообще запретили печатать независимо от качества работы...

Выглядит он просто страшно, худой, изможденный, сердце сдает до того, что по утрам страшно опухают ноги, ходит еле-еле, медленно, с трудом...

Это ужасно. И ужаснее всего вся дикая несправедливость, нелепость выдвинутых против него обвинений и невозможность реабилитировать себя!

Так, видно, и придется погибнуть с клеймом „воинствующего проповедника безыдейности!“»

Письмо это прочитал и пришедший к Каверинам К. И. Чуковский. Он бросился к руководству Союза писателей, договорился с Литфондом насчет денежной помощи Зоценко, сам послал ему 500 рублей и пригласил приехать к нему погостить в Переделкино. И дал еще задание дочери, находившейся в Ленинграде, обязательно повидать Зоценко. Лидия Корнеевна выполнила задание и быстро написала отцу:

«Разыскать его мне было трудно, так как он по большей части в Сестрорецке.

Наконец мы встретились.

Кажется, он похож на Гоголя перед смертью.

А при этом умен, тонок, великолепен...

Говорит, что приедет — если приедет — осенью. А не теперь. Болен: целый месяц ничего не ел, не мог есть. Теперь учится есть. Тебя очень, очень благодарит».

## ЭПИЛОГ

В феврале 1956 года в Москве состоялся XX съезд КПСС. На нем, в самом конце, первый секретарь партии Н. С. Хрущев прочитал свой ставший историческим доклад с разоблачением ужасающих беззаконий Сталина.

В марте, через месяц после грянувшего съезда, группа писателей обратилась в Президиум ЦК с письмом:

«Считаем своим нравственным долгом поставить вопрос о восстановлении доброго имени Михаила Михайловича Зощенко, известного русского писателя, высоко ценимого Горьким. Уже десять лет этот большой художник, безупречный советский гражданин и честнейший человек заклеен в глазах народа как враждебный нашему обществу „подонок“ и „мещанин“. Произошло недоразумение: писателя смешали с его персонажами, борца с обывательщиной сочли обывателем.

Сейчас М. М. Зощенко находится в тяжелом моральном и физическом состоянии. Он беспомощен, болен и стар. Необходимо как можно скорее принять меры к защите писателя и спасению человека. Необходимо организовать издание его сочинений, вернуть писателя Зощенко советской литературе. Мы просим Президиум Центрального Комитета восстановить справедливость в отношении М. М. Зощенко.

Корней Чуковский, Всеволод Иванов, В. Каверин, Лев Кассиль, Эм. Казакевич, Николай Тихонов».

Письмо это тщательно продумывалось и редактировалось его авторами, из текста вычеркивались эмоциональные слова, которые могли вызвать раздражение партийных начальников. Задача была убедить власть, никак не противостоя ей: наступившая «оттепель» породила надежды на демократизацию общества, на торжество законности и столь желанную всем художникам свободу творчества.

То была пора воскресших чаяний и иллюзий. Один из авторов письма, фронтовик, вошедший в большую литературу после войны, Эммануил Казакевич отметил тогда в своем дневнике: «Съезд партии, как и ожидалось, стал большой вехой. И самое главное, самое главное, что сказаны слова правды. Это даст, не может не дать великих результатов. Теперь правда — не просто достоинство порядочных людей: правда теперь — единственный врачеватель общественных язв. Правда и только правда —

горькая, унижительная, любая...» (Однако вскоре многим таким правоверным мечтателям пришлось убедиться в неутраченной способности власти к «закручиванию гаек».)

Тем не менее для Михаила Зощенко «оттепель» принесла заметное облегчение. Свое возвращение «в лоно советской литературы» он связывал с изданием книги рассказов и повестей. Дело это началось еще в 1954 году, когда секретариат Ленинградского отделения ССП рекомендовал своему подведомственному издательству выпустить однотомник Зощенко. После смерти Сталина такое издание казалось вполне возможным. Но тут случилась история с английскими студентами, и, понятно, никакого договора на однотомник заключено не было. Полтора года спустя Зощенко все же составил этот сборник и издательство включило его в план. И теперь, чтобы подстраховать книгу при утверждении плана в Москве, Зощенко написал письмо своему старому товарищу по «серапионову братству» Константину Федину, ставшему влиятельным членом секретариата Союза писателей. В письме он старательно подчеркивал свою лояльность:

«...моя книга собрана с помощью издательства, и она несомненно сможет пройти самую строгую цензуру.

Появление такой книги было бы для меня весьма желательно — это прекратило бы всякие пересуды вокруг меня... А то я который уж год хожу в каких-то преступниках и не предвижу, как выйти из такого положения, какое мне навязано не по заслугам.

Хорошая и правильная книга из старых и новых рассказов начисто разрешит этот вопрос и прекратит мое „уголовное“ дело, в котором уже и позабыты мои сочинения.

...Извини, мой дорогой Костенька, что я этим делом беспокою тебя. Я написал несколько слов В. Каверину, но он не в секретариате. И я не уверен, что с ним посчитаются».

Федин помог. С Зощенко немедленно заключили договор и заверили, что однотомник будет издан к концу этого же года. Воистину: плохие времена — плохие люди, хорошие времена — хорошие люди. Вот ведь и Тихонов, панически испугавшийся за себя в 1943 году в связи с разносом «Перед восходом солнца», сейчас подписал письмо о реабилитации Зощенко.

И однотомник *того самого* Зощенко вышел в обещанный ему срок. Почти шестьсот страниц. С золотым тиснением на обложке и корешке — «Мих. Зощенко». И с уточнением: «Избранные рассказы и повести 1923–1956». Это было существенное уточнение. Отвечая К. И. Чуковскому на

новогоднюю поздравительную открытку в связи с выходом своего однотомника, Зощенко писал: «...я не включал „дискуссионных произведений“. Хотелось сделать простенькую книжку. Что, мне кажется, и удалось?» Как известно, он уже делал в 30-е годы ставку на «простенькие» и «правильные» произведения. И однотомник 1956 года вобрал в себя многое из того, что публиковалось им именно тогда — в противовес 20-м годам. Конечно, его можно было понять и по-человечески оправдать. После десяти лет травли, нищеты, отвержения блеснула удача, поправились материальные дела, появилась возможность спокойной жизни...

Примерно такой же по составу, но несколько меньший по объему сборник Зощенко должен был вскоре выйти и в другом издательстве — «Гослите». И Зощенко обращается к Чуковскому с просьбой дать свою рекомендацию по сокращению для второй книги. К. И. Чуковский ответил с максимальной чуткостью к Зощенко-человеку, но и в координатах безусловных ценностей — для Зощенко-писателя:

«Дорогой Михаил Михайлович!

О первом отделе и говорить нечего. Перечитывая „Няню“, „Аристократку“, „Нервных людей“ и т. д., я хохотал до икоты. Главная их прелесть в том, что каждая новая фраза рождает новую волну смеха, даже независимо от развития сюжета. Все это вещи долговечные, сработанные раз и навсегда. „Рассказы для детей“ — из того же гранита. „Рассказы о Ленине“ — тоже. Если где есть кое-какие возможности разгрузить книгу, они являются только в отделе „Повестей“. И хотя „Черный принц“ и „Шевченко“ написаны с великим мастерством, очень прозрачно, классически четко, я могу представить себе другого большого писателя, который написал бы то же самое. В них гораздо *меньше зощенковского*, чем в других вещах этого сборника. Поэтому с ними легче расстаться, чем с какими-нибудь другими вещами.

И еще: все мы знаем, что вы — патриот и подлинно советский писатель. Это не требует никаких доказательств. А составитель книги, стараясь во что бы то ни стало доказать сию аксиому, печатает и „Возмездие“ и „Солдатские рассказы“. Не слишком ли это густо? Вы не нуждаетесь в свидетельствах о благонадежности.

...А в общем — сборник отличный. Вращаясь среди молодежи (внуки и товарищи внуков), я вижу, каким он пользуется огромным успехом.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Чуковский.

7 января 1957 г.

Переделкино».

(Этот второй однотомник «Рассказы и фельетоны» вышел в свет в июне 1958 года.)

Впоследствии, уже после смерти Зощенко, К. И. Чуковский писал о том, что редакторы и издатели его книг, выпускавшихся в 50–70-е годы, целенаправленно и, видимо, не без умысла, представляли читателям *другого* Зощенко, заурядного советского писателя, оттесняя в сторону и даже вовсе исключая его вершинные произведения (не говоря о тех, которые были под запретом и не перепечатывались несколько десятилетий). Но сам Зощенко в последние годы своей жизни относился к этой экзекуции уже равнодушно. Его все больше интересовала денежная сторона этих изданий. «Под конец жизни стал скуп. И кроме гонорара ничем не интересуюсь», — писал он В. С. Ардову в марте 1957 года.

Однако в этом же году ему пришлось пережить взволновавшее его свидание с самим собою прежним, о чем он с потрясающей откровенностью поведал тому, кто вызвал его на такое свидание. Виновником был К. Федин, выпустивший тогда книгу «Писатель, искусство, время», в которой поместил свою давнюю статью «Михаил Зощенко», написанную еще в 1943 году и лежавшую до сих пор «в столе». Он даже не включил ее в последний том собрания сочинений, сохранивший как раз материалы такого рода и вышедший в 1954 году, до XX съезда. И вот — опубликовал. Как сообщал Чуковский Зощенко, статья имела большой резонанс и книга Федина разошлась по Москве за один день. Не станем пересказывать эту статью: ее направленность видна из письма Зощенко, которое ввиду исключительной, на наш взгляд, важности приведем полностью:

«3 декабря 1957.

Дорогой Костинька, спасибо за книгу. Читаю ее с великим интересом и с наслаждением. И вовсе не потому, что там имеются страницы обо мне.

Обо мне — иная речь. Читая твою статью, я не раз от изумления подскакивал на стуле — до того тонко и умно ты проанализировал многие мои „ситуации“.

Вот — почти прожил я свою жизнь, а не знал, что ничто не укрылось от твоих глаз. В другой раз (ежели вторично буду жить) поведу себя в юности более осмотрительно.

Но вот что смущает меня в твоей удивительной статье. В молодые годы мои, когда в душе было много гордыни, я и в самом деле обижался и „на Горбунова“ и даже, пожалуй „на Лескова“. А теперь строго смотрю на литературу. Увидел в моих сочинениях множество самого

непростительного сору. И отчасти по этой причине стало мне как-то неловко и совестно от твоей высокой похвалы. Поверь: говорю об этом не от ханжества, а по чистой справедливости.

И второе дело: беспокоюсь — не выпустили бы на тебя какого-нибудь доктора филологических наук, типа Ермилова, который совершенно уверен, что я-то и есть мещанин, а что он (со своей неумытой харей) уже протиснулся в первые ряды коммунистического общества. Было бы огорчительно, если б кто-нибудь из таких задел бы тебя. Ну да бог милостив!

А в общем, благодарю тебя, мой старый друг, что ты захотел вырвать из плена мой почти погасший дух. В молодые годы, прочитав столь высокую похвалу, я бы тебе сказал: „Уж и не знаю, дружище, сумею ли я оправдать твои надежды!“

А нынче подвертываются на мой язык какие-то совсем иные слова. Что-то, понимаешь, вроде: „И новая печаль мне сжала грудь, мне стало жаль моих покинутых цепей...“

Да, за 15 лет я привык к своим веригам. Привык к мысли, что обойдусь без литературы. Ложась спать, я уже перестал думать о ней, как думал прежде — всякий вечер. Да и сейчас я не мыслю себя в этом прежнем качестве. И вот теперь твоя статья ужасно, ужасно встревожила меня. Как? Неужели надо будет опять взвалить на свои плечи тот груз, от которого я чуть не сдох? А ради чего? И сам не знаю. Мне-то какое собачье дело до того — какое будет впредь человечество. Много было во мне дурости. За что и наказан.

Что же теперь? Нет, я, конечно, понимаю, что формально почти ничто не изменится в моей жизни. Но в душе, вероятно, произойдут перемены. И вот я не знаю — хватит ли у меня сил отказаться от того, что так привлекало меня в юности и что теперь опять, быть может, станет возможностью. А надо, чтобы хватило сил отказаться. Иначе не умру так спокойно, как я рассчитывал до этого чрезвычайного происшествия, какое ты вдруг учинил в моей жизни своей статьей обо мне.

Целую тебя, мой старый друг. И еще раз благодарю тебя за твое доброе сердце и за твой светлый разум.

Твой Мих. Зощенко».

За этим откровением — трагедия писателя, который почувствовал, что его творческие силы и вся жизненная энергия уже потрачены во время того длительного, по его определению, «азиатского наказания», которому он был подвергнут.

К его, ставшей привычной, мысли, что он «обойдется без литературы»,

добавилась в это время еще одна — настойчивая мысль о пенсии.

В 1955 году, когда Зощенко исполнилось 60 лет, он подал заявление с просьбой установить ему «какую-либо» пенсию. Но движение дела обозначилось лишь после обращения группы писателей в Президиум ЦК КПСС — тогда и руководство ССП возбудило ходатайство о назначении ему персональной пенсии. Окончательное решение по этому вопросу должно было приниматься опять-таки в ЦК. А там, не отказывая, однако и не спешили обласкать недавнего штрафника. Эта длительная затяжка удручала Зощенко все сильнее и сильнее, и в конце концов пенсионный вопрос болезненно сконцентрировал в себе всю мучительную борьбу за отстаивание своего достоинства, за свою реабилитацию, которую он вел почти 12 лет. Отвечая К. И. Чуковскому на сообщение о возможном скором разрешении дела, Зощенко писал ему 11 февраля 1958 года:

«Дорогой Корней Иванович!

Сердечно благодарю за Ваше милое письмецо. И за то, что Вы побывали в Союзе — узнали о моей пенсии.

С грустью подумал, что какая, в сущности, у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием. Эта пенсия (думается мне) предохранит меня от многих огорчений и даст, быть может, профессиональную уверенность.

Мне и самому не нравятся эти мысли. Ведь не так же плохо у меня было прежде. Вот в 56 году был издан мой однотомник и я получил за него почти 70 тысяч. Да и до войны все время были деньги.

Это, вероятно, за последние 15 лет меня так застращали.

А писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации. Снова возьмусь за литературу, когда у меня будет на книжке не менее 100 тысяч.

Впрочем, прежнего рвения к литературе уже не чувствую. Старость! Позавидовал Вашей молодости и энергии».

И еще одна встреча с прошлым была уготована Зощенко в конце его жизни.

Воспользовавшись наступившей в СССР «оттепелью», облегчившей посещение страны иностранцами, в Ленинград приехала Н. Русанова-Замысловская (по мужу Раевская) — Надя Русанова, первая юношеская любовь Зощенко, оставшаяся главной любовью его жизни. Он писал о ней в «Перед восходом солнца», посещал места их былых встреч, а на бюро в своем кабинете держал под стеклом ее маленькую фотографию. Как уже говорилось, после Февральской революции, перед самым Октябрем, она

уехала с мужем, ребенком и старшей сестрой в Париж, но затем они обосновались в Болгарии, в Софии. Кое-какие сведения о Наде доходили до Зоценко от ее младшей сестры Екатерины, оставшейся в России и жившей в Ленинграде. В марте 1957 года Надежда Раевская прислала Зоценко поздравительную открытку, а в декабре приехала в Ленинград сама — увидеться с сестрой и, конечно, встретиться с ним, ставшим знаменитым писателем.

Как пишет по этому поводу Вера Владимировна, она тоже знала Надю с отроческих лет — два года они учились в одной гимназии и «дружно обожали» свою учительницу истории; с Катей же она сблизилась уже в последнее время и считала ее очень хорошей, доброй женщиной. Встреча с Надей назначалась в доме Кати, и приглашены были вместе Зоценко и Вера Владимировна.

Но Вера Владимировна от этого посещения воздержалась. Обратимся к ее воспоминаниям:

«Итак, теперь Михаил должен был встретиться с Надей после 40 лет разлуки... Я отказалась идти с ним к Кате — я не хотела мешать этой их встрече — я искренне считала, что Надя, как „первая любовь“, имеет на Михаила „больше прав“, чем я... что Надя — единственная женщина, которой я, если Михаил этого захочет, должна его „уступить“...»

Я искренне думала так, и я бы сделала это...»

Не станем углубляться в то, насколько действительно искренна Вера Владимировна в данном случае. В подобных обстоятельствах и нельзя требовать этого от женщины. А имея некоторое представление о ее характере, можно полагать, что провозглашенные действия были бы не столь жертвенны.

Далее она пишет:

«С волнением ждала я возвращения Михаила... Но вернулся он совсем равнодушный и спокойный, сказал — „Катя очень милая и хорошая, а Надька меня раздражает...“»

Эта встреча принесла ему полное разочарование, убила его „иллюзию“ и былая „любовь“ умерла навсегда...

И я могла быть спокойна — теперь я оставалась единственной „любовью его юности“...»

В этом выразительном тексте нет стремления проникнуть в причины совершившегося, в переживания близкого человека, пусть и скрытые за видимым равнодушием. С удовлетворением установлен произошедший факт.

Затем последовал ответный визит уже не опасной для Веры

Владимировны женщины:

«Я, конечно, вскоре же пригласила к нам в гости Надю и Катю — и искренно была рада встрече с подружкой детских лет...

Надя выглядела хорошо, хотя головка ее была совсем седая, была мило и „моложаво“ одета... была она, правда, несколько „шумна“ и резковата в своих суждениях, капельку даже грубовата и взбалмошна... Нет, с такой женщиной Михаил не смог бы жить!

И даже всякий интерес к ней у него сразу пропал, и когда они приходили к нам вторично, незадолго перед отъездом Нади в Болгарию, Михаил, ссылаясь на нездоровье, даже не вышел к чаю в мою комнату... и провожала на вокзал Надю я одна...

Так кончилась эта любовь Михаила...»

Да, любовь, вернее, мечта о ней, воплощенная в образе милой юной девушки, которая давным-давно вызвала у него, такого же нежного юноши, это чувство и эту мечту, — исчезла, растворилась, *кончилась*. Все изменилось — и девушка, и он сам. И на давнюю любовь и мечту уже не было сил. Все очевиднее становились у Зощенко истощение его жизненных ресурсов, его общее угасание. И последующие записки Веры Владимировны четко зафиксировали этот процесс:

«И в это время, несмотря на „поворот колеса счастья“, когда — казалось бы — должен был прийти покой, как будто что-то сломалось в душе Михаила.

После первых дней подъема наступил неожиданный, страшный упадок, который продолжался долгие месяцы. И эта зима — 1957–58 года — снова была „черным годом“ — пожалуй, самым „черным“ из всех предыдущих... Это была последняя зима Михаила...»

В эту зиму были по-настоящему страшные дни...

Запись 2/II—58. «Впал он в такую хандру, в такое уныние, безразличие, равнодушие ко всему на свете, какого, пожалуй, у него не было никогда за всю жизнь.

Казалось — начался какой-то страшный „распад личности“.

На вопросы — что же с ним — отвечал — „Мне плохо, мне очень плохо, меня ничто не интересует, мне ничего не хочется, ничего не надо“.

Кроме того, возобновились „спазмы“ и усилилось отвращение к еде — иногда по утрам принимался за еду со стонами, с гримасами, чуть не со слезами...

Целыми днями лежал на постели и ничего не делал — даже не читал и не раскладывал карты, как обычно...

Раза 2 даже не ходил обедать к Маришке — просил покормить его

дома...

Начался этот его упадок, примерно, с середины декабря...

<...> После Нового года он окончательно „ушел в болезнь“, стал ходить, согнувшись в три погребели, „под прямым углом“, охать и стонать целыми днями и еще больше капризничать с едой».

К этому состоянию Зощенко привел, конечно, нервно-психический стресс, в котором он жил целых двенадцать лет. То был длительный, угнетающий, губительный фактор. Но и прощание с юношеской мечтой-любовью нанесло свой удар, оборвало еще одну ниточку жизни. И даже статья Федина, в которой о нем говорилось как о подлинном классике сатирического жанра, подействовала в какой-то момент отрицательно. Вера Владимировна пишет об этом:

«<...> Он вернулся около 11 часов — измученный, напуганный, больной — в ресторане в Союзе опять напал на него „страх“, начались „спазмы“ — поспешил уйти... Считает — причина этому — статья Федина, как ни парадоксально, это — страх перед литературой, перед необходимостью снова „проявлять себя“...»

В 1958 году, в марте-апреле, отмечалось 90-летие со дня рождения Горького. Главный вечер должен был состояться в Москве в зале Чайковского, и на этот вечер устроители решили пригласить Зощенко. Вдова сына Горького позвонила ему в Ленинград, просила остановиться у них в доме и приехать пораньше. До «самого помпезного», по выражению К. И. Чуковского, вечера прошел вечер в Литературном музее, затем состоялся торжественный обед. На обеде Зощенко стараниями Корнея Ивановича посадили рядом с первой женой Горького Екатериной Павловной Пешковой.

Из «Дневника» Чуковского:

«30 марта. Вчера вечером в доме, где жил Горький на Никитской, собралась вся знать... Были Кукрыниксы, летчик Чухновский, летчик Громов, Юрий Шапорин, Козловский, проф. Сперанский, Мих. Слонимский, министр культуры Михайлов, Микола Бажан, Людмила Толстая, горьковед Б. Бялик, дочь Шаляпина, Капицы (академик с супругой), Анисимов — и Зощенко, ради которого я и приехал.

В столовой накрыли три длинных стола и (поперек) два коротких, и за ними в хороших одеждах, сытые, веселые лауреаты, с женами, с дочерьми, сливки московской знати, и среди них — он — с потухшими глазами, со страдальческим выражением лица, отрезанный от всего мира, растоптанный.

Ни одной прежней черты. Прежде он был красивый меланхолик, избалованный славой и женщинами, щедро наделенный лирическим украинским юмором, человеком большой судьбы. Помню его вместе с двумя другими юмористами: Женей Шварцем и Юрием Тыняновым в Доме искусств, среди молодежи, когда стены дрожали от хохота, когда Зоценко был недостижимым мастером сатиры и юмора, — все глаза зажигались улыбками всюду, где он появлялся.

Теперь это труп, заколоченный в гроб. Даже странно, что он говорит. Говорит он нудно, тягуче, длиннейшими предложениями, словно в труп вставили говорильную машину, — через минуту такого разговора вам становится жутко, хочется бежать, заткнуть уши. Он написал мне в „Чукоккалу“ печальные строки:

И гений мой поблек, как лист осенний —  
В фантазии уж прежних крыльев нет.

— Да, было время: шутил и выделывал штучки. Но, Корней Иванович, теперь я пишу еще злее, чем прежде. О, как я пишу теперь!

И я по его глазам увидел, что он ничего не пишет и не может написать. Екатерина Павловна посадила меня рядом с собою — почетнейшее место; я выхлопотал, чтобы по другую сторону сел Зоценко. Он стал долго объяснять Ек. Павловне значение Горького, цитируя письмо Чехова — „а ведь Чехов был честнейший человек“ — и два раза привел одну и ту же цитату — и мешал Ек. Павловне есть, повторяя свои тривиальности. Я указал ему издали Ирину Шаляпину. Он через несколько минут обратился к жене Капицы, вообразив, что это и есть Ирина Шаляпина. Я указал ему на его ошибку. Он сейчас же стал объяснять жене Капицы, что она не Ирина Шаляпина. Между тем ведь предположено 3-го апреля его выступление на вечере Горького. С чем же он выступит там? Ведь если он начнет канителить такие банальности, он только пуще повредит себе — и это ускорит его гибель. Я спросил его, что он будет читать. Он сказал: „Ох, не знаю“. Потом через несколько минут: „*Лучше мне ничего не читать: ведь я заклеянный, отверженный*“.

Мне кажется, что лучше всего было бы, если бы он прочитал письма Горького и описал бы наружность Горького, его повадки — то есть действовал бы как мемуарист, а не как оценщик.

Все это я сказал ему — и выразил готовность помочь ему. Он записал мой телефон. <...>

*Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски вдавлены внутрь, — и этот потухший взгляд!*

Очень знакомая российская картина: задушенный, убитый талант. Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Мих. Михайлов, Есенин, Мандельштам, Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно Ясенский, Ник. Бестужев — все раздавлены одним и тем же сапогом».

Зощенко не выступал на торжественном вечере, посвященном 90-летию Горького. За два дня до празднества К. И. Чуковский условился с В. А. Кавериним «проэкзаменовывать» его, не говоря ему об этом, и принять разумное решение насчет его участия. Состояние Зощенко произвело на них тяжелое впечатление. К. И. Чуковский записал в дневнике: «Конечно, ему не следует выступать... он может испортить весь короткий остаток своей жизни». Видимо, и сам Зощенко ощутил некий разрыв между собой и внешним миром. Он послушался совета и не пошел в зал Чайковского.

Вскоре он уехал в Ленинград. Какое-то время он оставался в городе, перенес дома спазм сосудов головного мозга, к нему вызывали литфондовского врача; через несколько дней он оправился и в середине июня приехал на дачу в Сестрорецк, где находилась жена, которую он все еще старался держать от себя на отдалении. И тут он получил официальное уведомление, что ему назначена республиканская пенсия...

Назначение пенсии привело Зощенко в радостное волнение. Следом пришла еще бумага — с приглашением эту пенсию получить. Но на второй бумаге была сделана приписка, которая его сразу и глубоко встревожила: требовалось представить справку об имеющемся помимо пенсии заработке. И он разнервничался, что его недавний гонорар может отразиться на полагающейся сумме...

Чтобы получить пенсионную книжку и самому уточнить озаботившее его требование, Зощенко, не слушая уговоров жены, едет из Сестрорецка в город. И хотя с пенсией в этот месяц все обошлось благополучно, он вновь почувствовал себя плохо. Перед возвращением в Сестрорецк Зощенко позвонил Л. Чаловой, которая была уже десять лет замужем, но с которой он сохранил добрые дружеские отношения. Сказал, что у него вышла в свет большая книга и он подарит ей эту книгу в следующий приезд... Вечером к нему в квартиру спустилась Мухранская, которая уже несколько дней приносила еду сюда. Утром его должен был отвезти в Сестрорецк сын, и Зощенко пообещал ей: «Отдышусь там, а через неделю или полторы вернусь...» Они попрощались. Поехал он на дачу совсем больным. Через

две недели, 22 июля 1958 года Михаил Михайлович Зощенко умер.

Похороны его прошли в советском стиле — с выступлениями местного писательского начальства, волновавшегося провести это «мероприятие» без эксцессов, и с вспыхнувшими все же у гроба словопрениями. Но сам он лежал в цветах с успокоенным и просветленным лицом, и на губах его вдруг обозначилась легкая, присущая только ему улыбка. Хоронить Зощенко на Литераторских мостках, где покоятся знаменитые писатели России, не разрешили. Он был похоронен на Сестрорецком кладбище.

\*

Анна Ахматова  
ПАМЯТИ М. М. ЗОЩЕНКО

Словно дальнему голосу внемлю,  
А вокруг никого, никого.  
В эту черную добрую землю  
Вы положите тело его.  
Ни гранит, ни плакучая ива  
Прах легчайший не осенят.  
Только ветры морские с залива,  
Чтоб оплакать его, прилетят...

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Известно, что писатель — это его книги. А истинная ценность книги определяется в конце концов тем, что и как сумел рассказать нам автор о человеке, о нас самих. И о своем времени.

С началом у нас, в России, эпохи «гласности», а затем и свободного книжного рынка Михаил Зощенко обрел новую жизнь. За первые 10 лет этой эпохи (с 1987 года) вышло в свет около тридцати его книг (большинство — внушительные однотомники) и три собрания его сочинений. География изданий — от Мурманска до Краснодара, Элисты, Йошкар-Олы... Содержание: прежде всего — рассказы 20-х годов и повесть «Перед восходом солнца», а за ними — «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Сентиментальные повести», избранные рассказы для детей, «Письма к писателю». И нигде не переиздавались его повести о перековке каналармейца («История одной перековки»), о Керенском («Бесславный конец»), «Возмездие» и другие произведения из этого же ряда. Время востребовало истинного Зощенко — с данным ему редкостным талантом сатирика и исповедальника. Того Зощенко, который сумел отразить подлинную суть своей эпохи и показать людей, ставших ее «человеческим материалом», по терминологии большевиков.

Эта эпоха расправилась с ним — она, говоря заключительными словами романа Джорджа Оруэлла «1984», заставила его «одержать над собой победу» и «полюбить Старшего Брата». Произведения, созданные в пору его «победы» и «любви» к режиму, писались добросовестно, с искренним старанием, профессионально, с уважением, даже восхищением своими новыми героями (например, цикл рассказов о партизанах «Никогда не забудете»), в них есть литературное мастерство, но — уже без чудотворства его неповторимого и редчайшего таланта. Это — *другой* Зощенко, пишущий как другие. И когда берешь в руки книгу, изданную в 1963 году, через пять лет после его смерти, в Ленинграде, его родном Питере, книгу, в которой нет ни одного (!) рассказа 20-х и даже 30-х годов, зато есть «Рассказы на колхозные темы», то ловишь себя на мысли, а не однофамилец ли этот автор известному писателю? Нет, к сожалению, не однофамилец. Это писатель, которому запретили пользоваться его талантом и вынудили писать по-другому, как все, на потребу режиму. А составители и редакторы этого сборника явно преследовали эту цель — показать «перековавшегося» писателя. Так продолжали «убивать пересмешника» и

после его физической смерти.

Но все то, что было написано Зощенко с Божьей искрой его исключительного таланта, не умерло. Ушли из жизни его гонители и разнокалиберные временщики эпохи, а он вернулся. Ибо Литература отбирает в свой пантеон, не глядя ни на какие «периоды» с их земными владыками.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### ПРОТОКОЛ БЕСЕДЫ М. М. ЗОЩЕНКО С СОТРУДНИКОМ ЛЕНИНГРАДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НКГБ 20 июля 1944 г.

Во время беседы с М. М. Зощенко 20.VII — с.г. ему был поставлен ряд вопросов, ответ на которые дает представление о его настроениях и взглядах.

1. Каковы были причины первого выступления против вашей повести «Перед восходом солнца»?

Ответ: «...Мне было ясно дано понять, что дело здесь не только в повести. Имела место попытка „повалить“ меня вообще, как писателя».

2. Кто был заинтересован в этом? Ваши литературные враги?

Ответ: «... Нет, тут речь могла идти о соответствующих настроениях „вверху“. Дело в том, что многие мои произведения перепечатывались за границей. Зачастую эти перепечатки были недобросовестными. Под рассказами, написанными давно, ставились новые даты. Это было недобросовестно со стороны „перепечатчиков“, но бороться с этим я не мог. А так как сейчас русского человека описывают иначе, чем описан он в моих рассказах, то это и вызвало желание „повалить“ меня, так как вся моя писательская работа, а не только повесть „Перед восходом солнца“, была осуждена „вверху“. Потом в отношениях ко мне был поворот».

3. Как вы относитесь к статье Еголина<sup>[1]</sup>, напечатанной в «Большевике»?<sup>[2]</sup>

Ответ: «...Считаю ее нечестной, т. к. Еголин в отношении моей повести — до критических выступлений печати — держался другого взгляда. Юнович (ред. „Октябрь“) может подтвердить это. Еголин одобрял повесть. Но когда ее начали ругать, Еголин струсил. Он боялся, что я „выдам“ его, рассказав о его мнении на заседании президиума Союза Писателей, где меня ругали. Видя, что я в своей речи не „выдал“ его, Еголин подошел ко мне после заседания и тихо сказал: „повесть хорошая“».

4. Говорили ли вы кому-нибудь впоследствии о поведении Еголина?

Ответ: «Говорил Поликарпову»<sup>[3]</sup>.

5. Как отнесся к вашим словам Поликарпов?

Ответ: «Он необычайно заинтересовался моими словами, сказал, что у

него есть и другие материалы, подтверждающие мои слова и свидетельствующие о том, что некоторые партийные руководящие работники проводят неправильную линию. Поликарпов потребовал, чтобы я написал об этом, подал заявление о поведении Еголина».

6. Зачем он потребовал от вас письменного заявления?

Ответ: «Он сказал, что перешлет его Щербакову».

7. Подали ли вы это заявление?

Ответ: «Нет, мне стало жаль Еголина».

8. Настаивал ли все-таки Поликарпов на подаче заявления?

Ответ: «Он кричал на меня, требуя подать заявление, но я этого не сделал».

9. Как вы намерены держать себя в отношении Еголина?

Ответ: «Я напишу повесть, в которой расскажу всю историю своей повести „Перед восходом солнца“. В этой повести я выведу Еголина — и выведу во всей неприглядности его поведения».

10. Узнает ли он себя в той повести?

— «Бесспорно узнает, так как я обо всем напишу откровенно».

11. Были ли еще примеры такой двурушнической оценки вашего произведения?

— «Были. В частности, могу назвать Шкловского — Булгарина нашей литературы — до „разгрома“ повести он ее хвалил, а потом на заседании президиума союза ругал. Я его обличил во лжи, тут же на заседании».

12. Как оценивает вашу повесть Тихонов?

— «Он хвалил ее. Потом на заседании Президиума объяснил мне, что повесть „приказано“ ругать, и ругал, но ругал не очень зло. Потом, когда стенограмма была напечатана в „Большевике“, я удивился, увидев, что Тихонов меня так жестоко критикует<sup>[4]</sup>. Я стал спрашивать его, чем вызвана эта „перемена фронта“? Тихонов стал „извиняться“, сбивчиво объяснил, что от него „потребовали“ усиления критики, „приказали“ жестоко критиковать, — и он был вынужден критиковать, исполняя приказ, хотя с ним и не согласен».

13. Как вы расцениваете снятие ваших рассказов в «Ленинграде»?

— «Объясняется все тем, что в „Ленинграде“ все делают с оглядкой на Москву, в данном случае на статью Еголина, не зная истинного отношения Москвы ко мне».

14. А какое к вам теперь отношение в Москве?

— «Хорошее. Об этом я сужу на основании слов Тихонова. Когда я его видел в Москве, Тихонов сказал, что я уже „вышел из штопора“. Потом, в

последний свой приезд, он снова сказал мне, что статья Еголина — пустяки, и отношение ко мне, независимо от этой статьи — наилучшее».

15. Речь шла об отношении писателей или об официальном отношении?

— «Тихонов намекал на отношение „верхов“».

16. Есть ли факты, подтверждающие слова Тихонова?

— «Да, есть. В последнее время ко мне обратились „Известия“ с просьбой регулярно давать острый сатирический фельетон в моем старом плане. Ясно, что это согласовано с ЦК — иначе были бы не объяснимы ежедневные звонки с просьбой скорее дать фельетоны».

17. Какой материал вы им собираетесь дать?

— «Очень острый, в моей старой сатирической манере, бичующей наши недостатки. Один из этих фельетонов — острый рассказ о начинающем писателе и плохом редакторе, портящем произведение, — стало быть, — об искусстве и его задачах».

В рассказе этого начинающего писателя рассказывается о том, как погиб пароход, а редактор, боясь того, чтобы было сказано о гибели у нас парохода, правит рукопись и делает рассказ бессмысленным, заменяя повествование о гибели парохода рассказом о гибели лодки».

18. Пропустят ли такой фельетон?

— «В Ленинграде его не пропустили бы, так как не знают еще новых установок, проводящихся в Москве: зло бичевать наши недостатки».

19. Как вы оцениваете общее состояние нашей литературы?

— «Я считаю, что литература советская сейчас представляет жалкое зрелище. В литературе господствует шаблон, все пишется по шаблону. Поэтому плохо и скучно пишут даже способные писатели».

20. Как вы расцениваете партийное руководство литературой?

— «Руководить промышленностью и железнодорожным транспортом легче, чем искусством. Нет зачастую у руководителей глубокого понимания задач искусств».

21. Как вы думаете о судьбе писателей в революционные годы?

— «Поэты оказались менее стойкими, чем прозаики, среди поэтов много трагических смертей: Маяковский, Есенин, Цветаева — покончили самоубийством; Клюев, Мандельштам — умерли в ссылке, трагически погибли Хлебников, Блок (он выливал лекарство во время предсмертной болезни, так как ему не хотелось жить): из молодых — Корнилов<sup>[5]</sup>, Васильев<sup>[6]</sup> и др. тоже кончили трагически — не „сжились“ с временем».

22. Считаете ли вы ясной теперь причину смерти Маяковского?

— «Она и дальше остается загадочной. Любопытно, что револьвер, из которого застрелился Маяковский, был ему подарен известным чекистом Аграновым»<sup>[7]</sup>.

23. Позволяет ли это предполагать, что провокационно было подготовлено самоубийство Маяковского?

— «Возможно. Во всяком случае, дело не в женщинах. Вероника Полонская<sup>[8]</sup>, о которой было столько разных догадок, говорила мне, что с Маяковским интимно близка не была».

24. Чья судьба вам кажется трагичной, если доведется говорить о ныне живущих писателях?

— «Меня особенно волнует судьба Юрия Олеши, жившего в Ашхабаде. Он говорил, что его ждет гибель, — я был прав».

25. Как вы думаете о своей дальнейшей жизни?

— «Мне нужно переждать. Вскоре после войны литературная обстановка изменится, и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я снова буду печататься. Пока же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит. Недавно я выступал на одном военном вечере, вместе с Прокофьевым<sup>[9]</sup> и Мирошниченко<sup>[10]</sup>. Меня встретили овацией, оглушительной овацией.

Кроме того, следует учесть, что ругали не одного меня. Меня успокаивали, например, Леонов, Д. Бедный. Леонов говорил: „Все пройдет. Вот не печатали же меня 2 года, потом — сразу были прорваны шлюзы“.

Бедный говорил: „Меня 4 года не печатали, потом все изменилось. Только вот жалко, что библиотеку мне пришлось распродать“.

Что ж, только трудно будет с деньгами. Да у меня, впрочем, всегда было с ними трудно, тиражи у меня всегда ограничивали. Единственное, что облегчает — лимит».

26. Кроме «Известий» вы где-нибудь еще предполагаете выступить в печати?

— «Мои рассказы приняты Голубевой в „Звезде“. Она их послала в Москву, а из Москвы пока нет ответа. Впрочем, я думаю, что их не утвердят, так как Голубева их изуродовала правкой, ей хотелось привести их в такое состояние, чтобы их наверняка пропустили».

27. Считаете ли вы, что вами все было сделано для того, чтобы отстоять свою повесть «Перед восходом солнца»?

— «Я сделал все, но мне „не повезло“. Мы с академиком Сперанским написали письмо товарищу Сталину, но это письмо было направлено в те дни, когда товарищ Сталин уезжал в Тегеран, и попало в руки к

заменявшему товарища Сталина Щербакову. А Щербаков, понятно, распорядился иначе, чем распорядился бы товарищ Сталин».

28. Как вы расцениваете нынешнее руководство в Союзе писателей?

— «Странная вещь: на Фадеева раньше нападали многие, а теперь все в Москве изменилось: Фадеева Москва все-таки любит, а Тихонова — нет, т. к. Фадеев — человек, любящий советскую литературу, а Тихонов — человек холодный, равнодушный.

Поликарпов — человек резкий и прямой, так видно из случая, когда он требовал от меня, чтобы я написал заявление о двурушничестве Еголина».

29. Как вы расцениваете общую политическую обстановку сегодня?

— «Вести с фронтов радуют. Заявление немецкого генерала Гоффмейстера показывает, что гибель Германии близка. Сталин все видел гениально. Потрясает его уверенность в самую трудную пору, в то время, когда почти все советские люди думали, что крах неизбежен, что гибель государства близка».

30. Предполагаете ли вы, что после войны изменится политическая обстановка в литературе?

— «Да. Литературе будет предложено злей и беспощадней писать о наших недостатках».

31. Предполагаете ли вы в ближайшее время съездить в Москву?

— «Нет».

Таковы основные вопросы, затрагивавшиеся во время беседы.

РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 460. Л. 10–16

Копия, машинопись

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)

№ 1392 А 10 августа 1946 г.

г. Москва Сов. секретно

Товарищу Кузнецову А. А. <sup>[11]</sup>

При этом направляю справку по имеющимся в МГБ СССР материалам на писателя Зоценко М. М.

*Приложение:* — по тексту. В. Абакумов <sup>[12]</sup>

СПРАВКА на писателя Зоценко Михаила Михайловича 10 августа 1946 г.

Зоценко Михаил Михайлович, 1895 года рождения, уроженец г. Полтавы, беспартийный, русский, из дворян, быв. штабс-капитан царской армии, член Союза советских писателей, орденосец. Постоянно

проживает в гор. Ленинграде.

В своей автобиографии Зощенко пишет, что он родился в семье художника, отец его происходит из дворян.

В 1913 году окончил гимназию, поступил на юридический факультет университета; в начале 1915 года ушел из университета на фронт, где и пробыл вплоть до весны 1919 года — сначала в царской армии, потом в гражданскую войну в Красной Армии. На фронте был ранен и отравлен газами. В апреле 1919 года вследствие болезни сердца был освобожден от военной службы, после чего в течение 3-х лет переменил до 10 профессий. Был агентом Уголовного розыска — Ораниенбаум, инструктором по кролиководству и куроводству — Маньково, Смоленской губернии, телефонистом пограничной охраны, милиционером (Лигово) и т. д. В 1921 году начал писать рассказы. Первый рассказ был напечатан в декабре 1921 года в «Петербургском Альманахе».

На протяжении ряда лет Зощенко характеризуется как писатель с антисоветскими взглядами, критикующий политику партии в области искусства и литературы.

Зощенко до последнего времени в своей творческой деятельности остается в стороне от советской действительности, не принимая участия в создании литературных произведений, отражающих нашу современность.

В прошлом (1921 г.) Зощенко являлся членом литературного содружества «Серапионовы братья» — группировки, вредной по своему идеологическому характеру. В выпущенном в 1921 году «Манифесте» этой группы говорилось: «В эпоху регламентаций и установления казарменной жизни, создания железного и скучного устава, мы вынуждены организовать. Нас атакуют и справа и слева.

У нас спрашивают, с кем мы — с монархистами, с эсерами или с большевиками? Мы — ни с кем, мы просто русские... Нас ни одна партия в целом не удовлетворяет. Искусство не имеет общественной функции. Общественная функция убивает искусство, убивает талант. Мы пишем не для пропаганды...»

В этот период Зощенко являлся автором антисоветских рассказов, которые читались в близких ему литературных кругах.

Зощенко постоянно высказывает свое враждебное отношение к советской цензуре, жалуясь на невозможность заниматься творческой работой.

Еще в 1927 году он заявил: «Мы беззубые юмористы, нам не позволяют трогать существенные вопросы. Всякая критика запрещена.

Непременное требование идеологии лишает возможности объективно отражать быт и жизнь».

В 1940 году по этому вопросу Зоценко говорил: «Я совсем не знаю, о чем я должен и могу писать, напишешь резко — не пропустят, а написать просто — мне трудно. Я вижу сплошные неполадки вокруг... Рабочие и служащие не заинтересованы в своей работе, да и не могут быть заинтересованы, так как для этого им должны платить деньги, на которые они могли бы существовать, а не прикреплять их к работе... Вообще впечатление такое, точно мозг всех учреждений распался, так как большинство хороших руководящих работников изъято, а новых нет».

В 1942 году, во время наступления немецких войск, Зоценко высказывал неверие в победу Советского Союза в войне с Германией.

В 1943 году Зоценко была написана книга «Перед восходом солнца», в которой он показал советскую действительность в вульгарно-обывательских тонах. Советские люди изображены им как нравственно уродливые, мелкие и корыстные. Это произведение было осуждено литературной критикой и общественностью, как идеологически вредное.

Зоценко М. М. считал, что критика и осуждение его повести «Перед восходом солнца» были направлены не против книги, а против него самого.

«Мне было ясно дано понять, что дело здесь не только в повести. Имела место попытка „повалить“ меня вообще как писателя, так как вся моя писательская работа, а не только повесть „Перед восходом солнца“, была осуждена „вверху“».

Зоценко рассказывал, что его повесть якобы вызывала всеобщее восхищение, ее одобряло руководство Союза советских писателей; академик Сперанский и психиатр Тимофеев<sup>[13]</sup> согласились с «научными» выводами Зоценко. Некоторые работники аппарата ЦК ВКП(б) разрешили ее печатать, а во время «проработки» большинство этих лиц «продали» его и выступили против книги.

В этой связи Зоценко давал следующую оценку состояния советской литературы: «Я считаю, что советская литература сейчас представляет жалкое зрелище. В литературе господствует шаблон. Поэтому плохо и скучно пишут даже способные писатели. Нет зачастую у руководителей глубокого понимания задач искусства». «Творчество должно быть свободным, а у нас же — все по указке, по заданию, под давлением».

По вопросу о своих планах на будущее Зоценко заявляет: «Мне нужно переждать. Вскоре после войны литературная обстановка изменится и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я буду снова печататься. Пока

же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит».

В 1944 году Зощенко возвратился в Ленинград на постоянное местожительство. Здесь им был написан цикл рассказов «О войне», по содержанию политически ошибочных. Внешне подчеркивая стремление перестроить свое творчество на актуальные темы, Зощенко продолжает писать и выступать перед слушателями с произведениями, отражающими его пацифистское мировоззрение (рассказы «Стратегическая задача», «Ши» и др.).

Творчество Зощенко в последний период времени ограничивается созданием малохудожественных комедий, тенденциозных по своему содержанию: «Парусиновый портфель», «Очень приятно».

В настоящее время Зощенко продолжает критиковать строгость цензурного режима, отсутствие условий для подлинного творчества. Зощенко имеет довольно обширный круг связей среди писателей Москвы и Ленинграда.

По Ленинграду близок с писателями Слонимским, Кавериным, Н. Никитиным (бывшими членами литературной группировки «Серапионовы братья»).

Начальник отдела 2-го Глав. Управ.

МГБ СССР Шубняков

РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 460. Л. 18–20

Подлинник, машинопись.

## **РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1946 ГОДА**

Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа с. г. «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», совершенно правильно указывающее на идейные провалы в работе редакций ленинградских журналов, крупнейшие недостатки в жизни писательских организаций и извращения в практике работы правления ССП, является важнейшим документом нашей партии, определяющим боевую программу дальнейшей работы правления ССП и всех писательских организаций страны.

Абсолютно правильно указание ЦК на то, что правление ССП и его председатель тов. Н. Тихонов не приняли никаких мер для улучшения работы журналов «Звезда» и «Ленинград» и не только не вели борьбы с вредными влияниями Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских

писателей на советскую литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе тенденций и нравов. Систематическое появление на страницах журналов — органов Союза писателей — пошлых и злобных пасквилей Зощенко на советских людей и советские порядки, печатание пустых, безыдейных стихов Ахматовой, пропитанных духом упадничества и пессимизма, явилось прямым содействием бездейтельности правления Союза писателей, отсутствия большевистской принципиальности, политической остроты и ответственности за порученное дело.

Правление Союза, редакции журналов, руководители издательств, литературные критики не сделали надлежащих выводов из данного журналом «Большевик» анализа писательского облика Зощенко, человека, чуждого советской литературе, постыдно безучастного к делу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

...Несмотря на это, несмотря на очевидный вред «творчества» этих несоветских писателей для дела воспитания нашего народа, и в первую очередь молодежи, их писания появлялись в печати. Ленинградское отделение Гос. издательства в 1946 году выпустило книгу пошлых рассказов Зощенко, где был напечатан и рассказ «Приключения обезьяны», полный антисоветских выпадов (редактор С. Спасский). В «Библиотеке „Огонька“» в Москве большим тиражом вышла книга Зощенко с тем же рассказом (редактор А. Сурков).

Стихи Ахматовой печатались не только в ленинградских, но и в московских журналах «Знамя» и «Огонек».

Орган правления ССП «Литературная газета» нашел возможным напечатать 24 ноября 1945 года интервью Ахматовой и ее портрет, а выступления Ахматовой, допущенные президиумом ССП, прошли в обстановке незаслуженного восхваления ее творчества.

*...Необходим коренной перелом в идейной жизни и работе Союза писателей.*

...В качестве ближайших практических мероприятий президиум считает необходимым:

1. Освободить тов. Тихонова Н. С. от обязанностей председателя правления Союза советских писателей.
2. Созвать в октябре пленум правления ССП для обсуждения перестройки работы Союза в соответствии с указаниями ЦК ВКП(б).
3. Рекомендовать правлениям республиканских союзов и областным отделениям ССП провести в начале сентября собрания писателей для обсуждения постановления ЦК. Командировать в крупнейшие организации

членов правления ССП для оказания практической помощи в осуществлении указаний ЦК. В этот же период провести общесоюзное собрание писателей.

4. В ближайшее же время обсудить доклады редакций журналов «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», редакции «Литературной газеты» и издательства «Советский писатель» под углом практического осуществления ими постановления ЦК. Помочь журналу «Звезда» и ленинградскому отделению ССП в кратчайший срок осуществить радикальную перестройку на основе указаний ЦК.

5. Коренным образом перестроить всю систему работы Союза писателей по подготовке молодых литературных кадров. Помочь работе Литературного института, создав благоприятные условия для учебной и творческой жизни в нем и обеспечив систематическое влияние президиума Союза на деятельность института.

6. Президиуму Союза разработать мероприятия и обсудить вопрос об обеспечении теоретического роста и политической закалки критических кадров и создания надлежащих условий для их работы.

7. Исключить Зоценко М. М. и Ахматову А. А. из Союза советских писателей, как не соответствующих в своем творчестве требованиям параграфа 2 Устава Союза, гласящего, что членами Союза могут быть писатели, «стоящие на платформе советской власти и участвующие в социалистическом строительстве».

Президиум Союза призывает всех писателей сплотиться вокруг решения задач, поставленных ЦК ВКП(б), и заверяет ЦК партии и товарища Сталина в том, что писательские организации устранят вскрытые недостатки и по-большевистски выполнят постановление ЦК ВКП(б).

## **ВЫСТУПЛЕНИЕ М. М. ЗОЦЕНКО НА СОБРАНИИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Июнь, 1954 г.**

(Стенограмма)

Очень и очень трудно мне говорить в моем положении, тем более что ни в чем мою особу я не хотел бы противопоставлять ни коллективу, ни партии. Я ведь не являюсь «воинствующим проповедником безыдейности», как сказано сегодня в «Ленинградской правде». Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках? Я буду говорить так, как я думаю, — только тогда можно полностью понять, что

представляет собой человек. Может быть, я и в самом деле в чем-то жестоко ошибаюсь, либо устарел, либо мой ум неверно воспринимает факты. Только тогда вы можете разобраться во мне и понять, почему происходят такие досадные истории!

Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии.

Я не скрывал этого. Я написал в 1946 г. товарищу Сталину, что я не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы. Никогда — ни перед коллективом писателей, ни перед партией — я не скрывал этого, что я согласился с резкой критикой всех моих работ. В моем заявлении о принятии меня в Союз я написал, что я во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе — именно о том, что я не советский писатель.

Я не скрывал и никогда не смогу согласиться, что я был не советским писателем!

В газетах было сказано о том, что я не сделал никаких выводов из указаний партии, что не учел указаний партии. Это неверно. У меня нет никаких сомнений, ни возражений по вопросу о том, какой должна быть советская литература. Тут я полностью считаю требования партии, поставленные перед советской литературой, правильными. Да, советская литература должна быть глубоко идейной, не аполитичной, должна воспитывать советских людей в духе коммунизма — тут у меня нет никакого возражения или протеста. Именно так я и думаю, а если бы я так не думал, то я не смог бы писать и печататься в наши дни. Я не смог бы писать фельетоны, рассказы и работать систематически в журналах. Это верно. Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние, и я главным образом занимался переводами с финского. Было выпущено мною несколько книг. Помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления, — книгу о ленинградских партизанах, и написал несколько рассказов, фельетонов, помимо переводов. А последний год, повторяю, я систематически работал в журналах. Быть может, качественно я мог бы сделать лучше, если бы я начал с санатория. Я немного переоценил свои силы. Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда несколько ослабили мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую. Но и при этом все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи.

...Все мои оплошности — сложного характера оплошности. Да, было

немало вещей у меня в прошлом и аполитичных и безыдейных — это так. Отчасти это была дань давнему времени — двадцатым годам. Я ведь начал работать в 21-м году, мой рассказ «Аристократка» был напечатан в 23-м г. — 30 с чем-то лет назад. Конечно, надо сделать поправку на время. Но это — грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал — это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет, такой погрешности я не сделал, иначе мои вещи не печатались бы.

Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В этот злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о критике Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты. Они спросили меня так: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?»

На любой вопрос я готовился ответить им шуткой. Но в докладе, в котором было сказано, что я подонок-хулиган, было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми! Я не мог отвечать шуткой на этот вопрос, и я ответил серьезно — так, как думаю. Да, я в точности помню мои слова, произнесенные английским студентам. Вот фраза за фразой начало моего ответа, который можно сверить по стенограмме; я не согласился с докладом и об этом написал товарищу Сталину; я не согласился с докладом, потому что не согласился с критикой моих работ, сделанных в 20–30-х годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только что возникало, я писал о мещанах, о порождении прошлой жизни. Я сатирически изображал не советских людей, а мещан, которые веками создавались всем укладом прошлой жизни. Вот подлинные слова, начало моего ответа.

Далее я сказал несколько общих фраз о сатире и закончил мой ответ так: сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе — вот все мое литературное дарование, и я полностью отдаю его советскому государству, советскому народу.

Вот мой подлинный ответ студентам.

Я понимаю — я должен был более точно политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделать доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе ни непатриотизма, ни ничего предосудительного, и только потом мне сказали товарищи, через месяц, что мой ответ сосчитали как непатриотический.

А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте

я бы так же бы ответил! А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, который глумился над советскими людьми, что я пройдоха!

А может быть, этот вопрос был провокационный? Может быть, они сами наталкивали меня так ответить, чтобы я согласился им сказать: «Да, я мошенник, не советский писатель». Может быть, нарочно был задан этот вопрос, чтобы я попал в дурацкое положение?

Я с каждым днем видел потом, что этот вопрос не имел должного ответа.

Я не хочу себя обелить ни в чем. Я сделал промах необычайный и досадный.

Что в этом вопросе было, если отвлечься от его формы, почти анкетной? «Ваше отношение к докладу?» — почти как «Ваше отношение к воинской повинности?»

Я не увидел яда в этом вопросе. Если отвлечься от анкетных и политических формул, — что обозначал этот вопрос? «Как вы отнеслись к тому, что вас называли прохвостом?»

Если бы я увидел этот яд, я иначе им ответил бы. Только дома я разобрался, какой промах я совершил. Какой, можно сказать, нетактичный, хамский вопрос мне был задан! Только дома пришло мне в голову: «Я должен был сказать: передо мною юная аудитория, вам 20–22 года, доклад был восемь лет назад. Что вы можете помнить? Кто из старших подсказал вам задать мне этот нетактичный вопрос?» Вот как я должен был ответить. (*Движение в зале.*)

И я так однажды и ответил — два года тому назад, когда англичане задали мне вопрос в такой витиеватой форме: «Полезна ли вам критика, которая существовала на вас?» Я ответил им тогда: «Полезна, если я буду писать хорошо, и не полезна, если я буду писать плохо». Эта форма вопроса влекла за собой этот ответ.

А здесь вопрос был, казалось бы, совсем простенький, и я тогда попался на какой-то крючок. Я начал вдруг всерьез говорить в то время, когда так не должен был говорить. Вот в чем досадный промах, который повлек за собой дальнейшее.

Только через несколько дней мне пришел в голову совсем правильный ответ: я должен был точно, с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне.

Вот как я должен был бы ответить. Но я не нашелся. Быть может, потому, что я семь лет был как-то в стороне от общественной жизни, а скорее всего потому, что не умею политически мыслить, но не потому, что я

малограмотен по политической части. Это неверно. Я очень много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал 12 томов товарища Сталина, кроме Краткого курса, делал много выписок. Я не являюсь политически неграмотным человеком, но тут существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову. Ведь вот как легко было мне сказать англичанам, что я полностью отдал свое литературное дарование советскому государству, советскому народу. Это было просто сказать от всего сердца, а точная политическая формула пришла ко мне позже.

И вот таким промахом, который я допустил, я, может быть, ввел в заблуждение товарищей, которые подумали, что я якобы не согласился с докладом в целом, что я противостою партии и писателям. Это абсолютно не так!

(Председатель <sup>[14]</sup>: Вам много еще времени надо? Минут пять вам хватит?)

Да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе. Я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что я в этом повинен. Но я, кажется — и даже наверное, — и без того себя наказал. Я знаю, что означает такая статья, которая порочит меня такими словами, как «скрыл». Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, надменные взгляды редакторов. Но все равно! В моей сложной жизни это для меня сейчас тяжкое дело, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Вот уже 8 лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое человеческое достоинство.

Я кратко скажу сейчас, что это не вопрос мелкого самолюбия — что вот я обиделся. Это не так. Я понимаю масштабы государства и мой мелкий масштаб. Не в этом дело, вопрос не об этом идет. Вопрос о том, что многие обвинения, которые мне были предъявлены, я по пунктам, с бумагой в руках докажу, что это не так.

Я никогда, как это было сказано, не втирался в редакции, не желал лезть в руководство. Этого не было — было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал, как черт от ладана, я просил и умолял, чтобы меня не включали в редколлегия «Звезды». Мне товарищи на президиуме сказали: «Смирись! Уже подписано твое назначение».

Как получилось, что рассказ «Обезьяна» я «напечатал с пасквильной

целью»?

Этот рассказ был напечатан еще в 1945 г. в журнале «Мурзилка» для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла и возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось... Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии детских рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль: что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано, и никакого подтекста я — клянусь! — не вложил в него.

Как получилось?

Мне сказали, что я не захотел помочь советскому государству в войне, что я трус и окопался в Алма-Ата.

Я дважды воевал на фронте, и имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я — трус?

Кто мне может сказать, что из Ленинграда я бежал?

Товарищи знают: я работал в радиокомитете, в газете, я написал вместе со Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», и это обозрение шло во время осады.

Эти люди живы и находятся здесь, в Ленинграде: Акимов, который ставил, Шварц, который писал со мной. Весь город тогда был заклеен афишами с карикатурами Гитлера. Это было в августе — сентябре 1941 года. Как же можно говорить, что я трус, что я не хотел помочь советскому человеку?

Я не хотел уезжать. из Ленинграда, мне предложили и приказали.

Я не был никогда не патриотом своей страны. Я не могу согласиться с этим! Что вы хотите от меня? Что я должен признаться в том, что я — пройдоха, мошенник и трус?!

Я заканчиваю.

Последняя фраза. Я могу сказать: моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. Я не могу выйти из положения. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын!

Как я могу работать?

Я думал, что это забудется. Это не забылось — и через восемь лет мне задают этот вопрос. Может быть, это задали враги, но я получаю письма от читателей, ко мне приходят и спрашивают. Я знаю, что это не забылось!

У меня нет ничего в дальнейшем! Я не стану ни о чем просить! Не

надо вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков! Я больше чем устал!

Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею!

(Аплодисменты.)<sup>[15]</sup>

## **Вера Зощенко**

### **ПОСЛЕДНИЕ ДНИ**

...Я приехала в Сестрорецк в понедельник 12 мая поздно вечером. И позвонила ему в следующий вторник. Звоню, слышу странный, чужой голос. Говорит: «Я был очень болен, мне было очень плохо... Был Иригонников... Нашел отравление никотином и на почве этого отравления — легкий спазм мелких сосудов головного мозга... У меня было затемненное сознание... Я не воспринимал речь, не узнавал людей, не понимал, что мне говорят...»

Ах, как все упало во мне от этих слов! Почему же мне не дали знать? Почему меня не вызвали сразу? Ведь заболел он дня через два после моего отъезда.

Как выяснилось, уже во вторник у Груздевых он был не вполне здоров.

Спрашиваю — кто ухаживает за ним? Отвечает — приходит Дуся Слонимская. И Валя, и Тося<sup>[16]</sup> приходят, и ему уже лучше. Я говорю, что приеду завтра же.

— Нет, нет, не надо, мне нельзя волноваться, ты позвони через два дня, и тогда договоримся, когда я приеду.

Ну что ж! В страшном волнении звоню Валерию, чтобы узнать, в чем дело и насколько серьезна болезнь. Ни Валерия, ни Антонины дома не застала. Звоню Слонимской — хочу узнать, что же в самом деле находит Иригонников, ведь, по словам Михаила, она вызвала его. Дуся отвечает как-то странно, она Иригонникова не видела, советует мне самой позвонить ему. Звоню, хоть был уже двенадцатый час ночи.

Иригонников повторяет то же, что сказал Михаил. Спрашиваю — насколько серьезна болезнь, нужно ли мне срочно приезжать. Говорю: «М. М. боится, что я буду его волновать».

Иригонников отвечает тоже странно: «Да, конечно, его нельзя волновать».

Целую ночь провела я без сна, в ужасном состоянии. А на другой день, в пять часов дня, была в Ленинграде.

Михаил заволновался, увидев меня. Стал говорить: «Зачем ты

приехала? Ведь мы договорились, что ты будешь завтра звонить». А я совсем спокойно сказала: «Ну, а я приехала. Я так беспокоилась, ночь не спала, и вот — приехала».

Выглядел Михаил хорошо — был даже красивый. Но очень странный — часто отвечал невпопад, казалось — будто он плохо слышит. Или отвечает на свои мысли.

Немного поволновался из-за моего приезда. Потом успокоился. Вечером я кормила его. Прожила в Ленинграде пять дней. Перед отъездом вызвала Иригонникова — он ничем не встревожил меня, не намекнул на серьезность положения, напротив — сказал, что Михаил может вставать, даже выходить на бульвар. А дней через десять (через три недели после заболевания) сможет ехать в Сестрорецк. Не прописал никакого нового лекарства — все то же «черненькое», как называл его Михаил. Мышьяк, который прописал раньше по просьбе Михаила, временно отменил. Настаивал на анализах, на которые Михаил наконец дал согласие.

Я задержалась до понедельника, когда приходили сестры измерить давление и взять кровь. А вечером я уехала. Уехала потому, что он торопил меня с отъездом. Он хотел, чтобы я уехала, и я, не желая его волновать, должна была это сделать!..

Каждый вечер я звонила Антонине — справлялась о его здоровье, а в условленные с ним дни звонила ему.

И вот наконец он приехал в Сестрорецк. Это было 17 июня. Какой это был радостный день! И две недели прошли, как сон. Все было хорошо с самого начала. Ольга<sup>[17]</sup> очень угодила ему пирожками — такой довольный, радостный, он говорил: «Я два пирожка съел!»

Подарил Ольге 50 рублей. Очень ему все нравилось на даче, всем он был доволен... «Как хорошо, как удобно мне в этом году — тут плитка, я могу себе разогреть, что хочу», — говорил он.

(В тот год я, впервые за много лет, не сдавала свои комнаты внизу, переселила туда Валю с семьей, и мы с ним снова, как прежде, были одни наверху, он снова занимал один обе свои комнатки.)

В этом году сирень цвела особенно буйно — даже листьев не было видно за цветом.

И яблони цвели все как одна. И он, приходя из сада на веранду, говорил: «Как пахнет!» А мне говорил: «Как ты хорошо выглядишь в этом году!»

И подолгу задерживал меня наверху разговорами. И все было так хорошо, и мы ни разу не поссорились, я чувствовала — у него наконец появилось полное доверие ко мне. И мне было радостно, и я говорила

Ольге:

— Вот для Михаила мне интересно и приятно все делать — заботиться о нем, двадцать раз бегать вверх и вниз по лестнице мне ничуть не трудно, не утомительно...

Он начал поправляться, начал спускаться вниз, немного сидел на солнышке, заходил на веранду.

А наверху принимался за «мелкие дела» — очистил свои китайские подсвечники от стеарина, разобрал свои вещи в письменном столе. Потом попросил у меня деревянных дощечек и сделал «колабашки» к окнам — чтоб окна не закрывались от ветра, причем прикрепил их веревками к стенке. Немножко посердился, когда я не сразу сообразила их устройство.

Говорил о том, что будет потихоньку работать над переводом с украинского повести Полторацкого о Гоголе.

Я вызвала обойщика — тот привел в порядок его матрас, чем он остался в основном доволен, хотя и заметил, что матрас получился не такой мягкий, как он думал.

И все шло так хорошо!

И вдруг Валя привез бумагу — извещение из Министерства социального обеспечения о том, что ему присуждена наконец персональная пенсия республиканского значения в размере 1200 рублей и что ему надлежит явиться за получением персональной книжки в Горсо.

Известие о пенсии радостно взволновало его. Говорил со мной много на эту тему. Говорил, как хорошо, что дали наконец пенсию, что можно будет спокойно жить, не боясь за завтрашний день. Можно будет, когда восстановится здоровье, спокойно работать. И мне показалось, что, действительно, вот наконец придет покой, мир, радость. Что он отдохнет от всех волнений, спокойно проведет лето в Сестрорецке, что воздух, покой и питание вернут ему наконец утерянное душевное равновесие.

На второй или третий день после получения извещения о пенсии Валерий привез ему бумажку из сберкассы — предложение явиться за получением пенсии по такому-то адресу, «имея при себе паспорт, пенсионную книжку», и — приписка карандашом в конце — «справку от домоуправления о зарработке за март месяц».

Когда Валя подал ему это злосчастное извещение и он, разорвав конверт и прочитав записку, ничего не сказал мне, у меня почему-то вдруг упало сердце. Какое-то темное предчувствие закралось в душу.

Я ничего не сказала, ничего не спросила — не знаю почему. Спустилась вниз... Вскоре и он пришел туда, сел — я так хорошо это помню — на мое место, протянул мне конверт и стал говорить о том, как

взволновала его эта приписка, что, очевидно, его заработок (получение в мае денег за госиздатовскую книжку) будет учитываться и он будет лишен на какое-то время пенсии.

Напрасно я уверяла его, что это — стандартная справка, что к персональным пенсионерам это не относится, что, кроме того, требуются сведения за март — т. е. за месяц перед назначением пенсии (пенсия была назначена с 16 апреля), очевидно, для проверки правильности размеров назначенной пенсии (для обыкновенных пенсионеров), что не может быть такого абсурда, чтобы писателя принуждали жить на 1200 рублей, что тогда было бы бессмысленно присуждение пенсии.

Все напрасно, беспокойство и волнение не покидали его.

Напрасно успокаивали его и Валя, и Леля<sup>[18]</sup> (сама пенсионерка), а затем приехавшие в воскресенье Таня и Маруся Баранова (адвокат, знающая все законы) — все было напрасно.

А в первый день получения этой злосчастной записки он проговорил со мной на эту тему до 3-х или 4-х часов ночи — все строил разные предположения, догадки, то успокаивал себя, то вновь начинал волноваться — и это несмотря на то, что обычно он ложился в постель уже в 10 часов, и вечернее молоко пил уже в постели, а не позднее половины 12-го я прощалась с ним и целовала его на ночь.

И вот в таком волнении прошло дней пять.

Сначала он думал сразу же ехать в Ленинград, но хорошая погода и мои уговоры удержали его до понедельника — намеченного им по приезду срока поездки в город.

А ведь после болезни ему нужен был полный покой!

И я хотела дать ему немного успокоиться, отдохнуть, а затем думала обратиться в курортную поликлинику, вызвать хорошего врача, посоветоваться серьезно о его состоянии.

Но в понедельник он все же собрался ехать в город.

Как я отговаривала его от этого! Убеждала, что он может дать доверенность Вале и тот привезет ему книжку, что потом он может написать заявление в сберкасса и деньги ему будут присылать в Сестрорецк — все напрасно!

А на мои уговоры в последний день он ответил: «Что, ты не знаешь моего характера? Разве я смогу быть спокоен, пока не выясню все?»

Кроме того, он говорил, ему нужно принять ванну, заплатить за квартиру и коммунальные услуги.

Я возражала, что последнее можно поручить Вале — платит же он за свою комнату! — или, в крайнем случае, Дусе. Все напрасно!

Он решил ехать... С утра было жарко, поэтому он, к моему удовольствию, отложил поездку до после обеда.

За обедом покушал рыбки — жареных судачков, две даже, по моему совету, взял с собой. Остальное отдал своему «Валичке».

И вот, часов около 7-ми или 8-ми, мы отправились на вокзал.

Шел он очень медленно, с трудом. Пройдя Полевую, остановился у сосны, отдыхал.

В конце Дубковского переулка посидел на скамейке у колодца.

Жаловался на слабость, говорил, как отвратительна, неприятна старость.

Я успокаивала его. Я думала — он мало ходит последнее время, потому и ослабли мышцы. Поправится, окрепнет. Будем наконец ходить к морю.

Вторую часть пути — по Дубковскому шоссе — прошел бодрее, сам удивился, решил, что у него воображаемое, от «психики».

И я поверила этому, обрадовалась. Подойдя к кассе, решил было взять такси. А я неосторожно возразила — стоит ли, ведь сейчас подойдет поезд, а в городе у вокзала и возьмет такси.

В это время свободное такси заняли. Обиделся на меня: «Вот ты всегда споришь, а мне трудно будет выходить с вокзала, я не знаю, как там теперь выходят — через метро, мне это сложно».

Предложила ему подождать другое такси, которое вскоре же подъехало, — отказался.

Перешел на платформу, вскоре подошел поезд. Сел. Махнул мне в окошко. На прощанье сказал, чтоб позвонила в четверг — во вторник, среду выяснит с пенсией. Приехать обещал в понедельник — из-за ванны и платежей за квартиру и прочее.

А душа у меня болела, болела. Так не хотелось, чтоб он уезжал! И так хотелось, чтоб приехал скорее!

Предлагала ехать с ним — отказался: «Чем ты можешь помочь?»

И уехал...

Уже во вторник или среду я говорила по телефону с Тосей, и она сообщила мне, что все в порядке, пенсию он получил и чувствует себя хорошо.

В четверг, как условились, звонила ему — голос у него был бодрый, здоровый, сказал, что все благополучно, что, правда, есть какой-то лимит для пенсии, но, в общем, все хорошо и что приедет он в понедельник, так как в понедельник уезжают Слонимские, которых он хочет повидать. И я с нетерпением стала ждать этого понедельника. На свободе занялась немного

своим заброшенным садиком — за две недели пребывания Михаила в Сестрорецке я почти все время уделяла ему и разговаривала с ним — он подолгу задерживал меня наверху, я даже на воздухе мало бывала.

В субботу приехала Тося и подтвердила, что Михаил приедет в понедельник, а может быть, Валя привезет его и завтра, в воскресенье.

В воскресенье утром я полола грядки и разговаривала с Лелей и пришедшей в гости Евгенией Владимировной, соседкой-дачницей, говорила, смеясь: «Скоро приедет мой „персональный пенсионер“», а они советовали мне отметить это событие шампанским.

В воскресенье днем подъехала машина... Я так обрадовалась: думала — они!

И так неприятно было разочарование — это оказался сосед с компанией — шумной, развязной, нахальной.

К счастью, они скоро уехали, причем их собака поломала мои цветы на клумбе перед верандой, что ужасно огорчило меня.

И тут в сердце толкнула тревога — почему не едет Валя? Может быть, случилось что-нибудь с Михаилом? Заболел опять?

И весь день прошел в таком напряжении, в такой страшной тревоге ожидания.

Наконец, не в силах совладать с беспокойством, позвонила Михаилу. И вдруг слышу какой-то странный, чужой, замогильный голос. Спрашиваю: «Мишенька, ну когда ты приедешь?»

Отвечает недовольно: «Зачем звонишь? Ведь мы же условились, я же сказал, что приеду завтра, в понедельник»... И вдруг Михаил говорит, что ему опять было плохо, очень плохо. А на мой полный тревоги вопрос, что случилось, отвечает: «Завтра поговорим, завтра скажу».

В страшном волнении вешаю трубку. Тревожная, беспокойная ночь. В пять часов утра я проснулась и так ясно услышала его голос — он звал меня: «Вера!» Я вскочила — никого...

Утром — не могу дождаться приезда... Наконец — между двумя-тремя часами — слышу — машина! (Это было 7 июля.)

Сбегаю вниз... Он идет по дорожке. Медленно. Как приговоренный к смерти. Свесив голову на грудь — худой, высокий от худобы, летнее пальто — как на вешалке... Боже мой! Бросаюсь к нему. Веду наверх.

Он поднялся с трудом по лестнице, остановился у столика — так трудно было ему двигаться. И вдруг сказал: «Я умираю. У меня было кровохарканье». Я начала успокаивать его: «Что ты, Мишенька, ну, может быть, лопнул какой-нибудь сосудик или кровоточила десна, а ты, как всегда, испугался. Успокойся. Не надо волноваться».

Стал рассказывать, что случилось с ним.

В пятницу ночью вдруг проснулся — весь мокрый. Почему-то страшно перепугался: «Постелил на пол красненькое одеяло и лег. Первую рубашку снял, а вторую не смог. Не было сил! И пролежал на полу до утра. А окно было открыто».

Потом стал говорить, что он страшно ослаб, что он ничего не ел целую неделю, кроме сырого яйца и помидора.

Даже ту рыбку, что я дала, не съел.

Это был уже бред, то есть не ел он только два последних дня.

Потом он сообщил, что получил телеграмму от Веры<sup>[19]</sup> — умер ее муж.

Я сказала: «Ну, ведь он был старенький!»

Согласился: «Да, старенький, ему было за 80 лет».

Попросила показать пенсионную книжку. Сказал, что оставил ее в Ленинграде: «Такая толстенная!»

Потом я высказала предположение, что состояние его ухудшилось, потому что он бросил принимать «черненькое» (иригонниковское) лекарство.

Схватился за эту мысль. Попросил послать Валю в аптеку — заказать лекарство.

Жаловался на слабость. Говорил: «В прошлом году я красил забор, пол. Теперь я бы не мог. Какой я слабый! Я не могу даже спускаться в уборную».

Я предложила поставить горшочек ему в комнату. Отказался. Тогда я сказала, что поставлю его на чердачок. Успокоился.

В этот день в общем говорил здраво. Рассказывал, как получал пенсию: сначала предложили было ему написать какое-то обязательство — сообщать в случае большого заработка, потом сказали, что это не нужно.

Радовался пенсии, говорил, как это хорошо, что можно будет спокойно жить, что так неприятно бывало занимать деньги. Я соглашалась с ним, говорила, что этой пенсии нам вполне хватит на двоих. Он сказал: «А Валичке?»

На это я, улыбнувшись, заметила: «Ну, для своего „Валички“ ты раз в месяц что-нибудь напишешь».

Согласился. Потом сказал: «Теперь я за тебя спокоен. Умру — ты будешь получать половину моей пенсии».

Я, конечно, возмутилась — зачем говорить о смерти? Не нужно мне его пенсии!

В общем, день прошел относительно благополучно. Он успокоился. Я

просила его не курить. Уверял, что курит совсем мало. Действительно — на папиросных коробках он даже записывал, сколько папирос выкурил за день. По сравнению с зимой это было в самом деле немного. На другой день утром я предложила ему полежать на раскладушке на балконе — был очень теплый день. С каким-то испугом отказался: «Ни в коем случае, об этом не может быть и речи. Я даже встать не могу!»

А мне казалось, что, может быть, ему лучше двигаться, что лежать вредно. Я не знала, как быть...

Обедал плохо. Тогда я предложила сварить ему шоколад. Обрадовался и с удовольствием выпил целую чашку, сказал: «Шоколад меня подкрепил!» Со мной был очень хорош, чувствовалось — он доверяет мне, доволен моей заботой. И Валя сказал: «Отец даже похвастался — сказал: „А мать обо мне хорошо заботится!“»

На третий день ему стало хуже. Стал жаловаться на сильные боли в груди, животе: «Давит...»

Начал говорить односложно, путать слова.

Я испугалась — не спазм ли у него сосудов снова? Поняла — необходимо вызвать врача... Дочь старухи Вержбицкой предложила сходить за Гиляновым — старым другом Вержбицкой, которого она всегда звала, когда чувствовала себя плохо, и который жил на даче в Сестрорецке.

Около шести часов Гилянов явился. Но как сказать о нем Михаилу? Ведь он не допускает к себе врачей!

Пошла на хитрость, сказала, что Максимович<sup>[20]</sup> встретил Гилянова на вокзале и, зная, что тот живет в Сестрорецке, будто бы попросил навестить Михаила и сообщить ему о состоянии его здоровья.

Не знаю, поверил ли этому Михаил, или ему было уже все равно, или, наоборот, он понял, что дело плохо, что без врачей не обойтись, что необходимо прибегнуть к их помощи, что от них надо ждать спасения...

Во всяком случае, Гилянова он принял. При упоминании о Максимовиче — оживился: «А Анатолий Семенович... да... да... — Потом прибавил: — Он говорит: „Не порошки, а пирожки“. — А я мало ем».

Когда Гилянов приступил к осмотру, он слегка запротестовал, но затем подчинился и покорно дал себя детально выслушать и выстучать.

А потом спросил:

«Как, доктор, протяну я еще месяц-два?»

Я, конечно, возмутилась:

«Что ты говоришь, Мишенька? Месяц-два? По крайней мере 10–15 лет должен прожить!»

А доктор промямлил что-то неопределенно-успокаивающее... Мне же,

в саду, он сказал: «Это тяжелый сердечный больной. Здесь не только аритмия, здесь — декомпенсация и стенокардия. Здесь — нарушение кровообращения I и II круга. Притом — дистрофия. Нарушенное питание. Необходима камфора или кардиамин — для укрепления сердечной мышцы. И глюкоза — для питания. И кремлевские капли. Кроме того — огромная печень. Доходит до пупка. Правда, не угристая. Но все же... принимая во внимание... вот у Вержбицкой — лечили от аорты — оказался рак. Возможно, и тут».

С ужасом спрашиваю: «И что же делать тогда?»

Пожимает плечами: «Тогда уже нечего делать! Но, повторяю, это лишь предположение. Скорее, просто застойная печень. Нужно бы устроить консилиум. Вызвать онколога. Невропатолога. Хорошо бы госпитализировать. А сейчас — во всяком случае — лежать! Даже сидеть нельзя. Даже вставать на горшок нельзя. Нужно судно. Вызвать участкового, чтоб прислал сестру — делать уколы и вливания...»

Доктор ушел, отказавшись от гонорара. Михаила я, конечно, успокаивала, сказала, что у него неважно с сердцем, что нужно, как сказал доктор, укрепить и попитать сердечную мышцу, нужно полежать, принимать лекарства, будут делать уколы и вливания. И через неделю, как сказал доктор, все будет хорошо.

В действительности тот сказал: «А через неделю посмотрим». Но я сама была уверена, что лечение даст результат, что через неделю он встанет.

А он вечером вдруг сказал, прощаясь на ночь: «Завтра надо завещание... деньги Валичке!» Как он любил сына, Боже мой, как он его любил! Его одного в целом мире!

Вечером в тот же день (9/VII) я написала Елизавете Матвеевне, медсестре, просила ее приехать — она могла бы делать уколы и вливания. Я так надеялась на нее, я знала ее опытность и очень доверяла ей. Я думала — приедет Елизавета, наладим лечение под ее опытным присмотром, и все будет хорошо. А Тосе я поручила позвонить в Литфонд и попросила прислать Иригонникова.

На другой день Тося его привезла, я сказала Михаилу, что в Литфонде узнали о его болезни и вот прислали Иригонникова.

Он не выразил удивления и покорно дал себя осмотреть.

Вообще с этих пор он как-то всецело подчинился болезни.

Иригонников согласился с диагнозом Гилянова, по «своей линии» — в области мозговых сосудов — ничего не нашел, уговаривал Михаила лечь в стационар. Тот отказался наотрез.

Для нейтрализации вредного действия никотина Иригонников рекомендовал каждый час минуточку дышать кислородом. И вот я стала аккуратнейшим образом выполнять все предписания врачей — давала лекарства. Ставила грелки, кормила... Он жаловался на боли — в области живота. Начались какие-то приступы — он охал, жаловался на боли, учащенное дыхание.

В тот день два раза вызывали «скорую» — в 3 часа дня и в половине шестого утра. Ночью я почти не спала — на каждый шорох бежала к нему... Какой беспомощный, какой слабенький он был! Как доверчиво тянулся ко мне, принимая лекарство! Если я уходила на минутку, звал меня: «Верочка, Верочка...»

Звонил мне из Литфонда заведующий лечебной частью Николай Михайлович, который всю зиму проявлял большую заботу о Михаиле. Обещал прислать для консультации онколога. Предлагал поместить в Свердловку. Звонил, по моей просьбе, Елизавете. К сожалению, та приехать не могла — заболела. Из Максимилиановки достать сестру тоже не удалось. Звонила я, по совету Елизаветы, главврачу Сестрорецкой больницы, Слупскому. Тот посоветовал вызвать д-ра Бессера, рекомендовал его как прекрасного сердечника.

В отношении рака я успокоилась — только в первый вечер, после визита Гилянова, я пришла было в ужас и даже горько рыдала в комнате у Лели. А потом решила, что этого не может быть, что это, как предполагали и Гилянов, и Иригонников, — просто «застойная», «циррозная» печень и, как только камфара и глюкоза наладят сердечную деятельность, все войдет в норму.

11-го, в пятницу утром, только я собираюсь звонить в больницу Бессеру, явился он сам — оказывается, накануне звонили из Литфонда и просили направить его к нам, так как все литфондовские терапевты находились в отпуске.

Бессер — пожилой, серьезный, вдумчивый, восточного типа человек. Внимательно выслушал от меня историю болезни. Потом так же внимательно осмотрел Михаила.

Назначил лечение — диету молочно-растительную: молоко, ягоды, овощи, фрукты, отварную рыбу, мясо — все это я ему давала уже, лекарства те же — глюкоза, кардиамин, кремлевские и прибавки: в случае болей — промедол и в случае бессонницы — нембутал. Велел делать исследования. Вызвать участкового — чтобы та дала рецепты и назначила сестру для инъекций.

Казалось, ничего угрожающего он не нашел. Насчет рака печени

высказался отрицательно. И мне подумалось — значит, опасности для жизни нет.

Доктор Произвел на меня хорошее впечатление, я как-то сразу почувствовала к нему доверие и успокоилась, решив, что здоровье Михаила в надежных руках.

От денег доктор решительно отказался. Сказал, что он вообще никогда не берет денег с больных, а тем более — взять деньги с Зощенко!

«Я бы себе руки запачкал этим, я бы не мог себя уважать!»

Этими словами он окончательно расположил меня в свою пользу.

А потом Тося рассказала, что кто-то из дачников у молочницы очень хвалил этого доктора, говорил, что он и врач превосходный, и человек прекрасный, что он действительно не берет денег с больных — настоящий бесребреник, хотя, как видно, нуждается.

В тот же день я вызвала участкового. Пришла молоденькая хорошенькая докторша, опять осмотрела Михаила и даже обеспокоилась: не слишком ли мы его тревожили, выписала назначенные Бессером лекарства, обещала прислать сестру и очень меня успокоила, сказала, что ничего страшного нет.

Но около четырех часов он опять стал жаловаться на боль, в пять сделали укол, но в половине шестого он стал опять жаловаться: «давит». Очевидно, давила огромная печень.

На другой день опять жаловался на боль, дала промедол, который подействовал через час, после чего он успокоился и заснул. Вообще в этот день он больше спал. Кушал — пил молоко, шоколад, немного бульону, морс.

Беспокоился из-за люминала, который я не хотела давать, так как боялась, что он вреден для сердца, а он требовал его, жалостно просил.

Курил.

В 12 часов — заснул.

Доктор Бессер снова был днем. В воскресенье (13-е) проснулся в половине 11-го, пил молоко, морс. Пил с охотой, с жадностью — стакан молока выпил даже залпом. Боялся болей — их не было. И я радовалась и успокаивала его.

Курил — просил дать мундштук, прочищалку, ватку антеникотиную. Говорил: «Странно, странно... Что случилось? Да, я мало ем». Показала фрукты — сказал: «Все съем, положи по одной».

И действительно — съел груши, абрикосы.

Нет, он хотел жить! Не правы те, кто думает, что он хотел смерти. Он думал — беда оттого, что мало ел. И он старался есть больше.

Почему-то часто путал слова. Вместо одних употреблял другие, схожие по первой букве.

Вместо люминала все просил «линолеум»... Я догадывалась, не поправляла его. Делала вид, что все в порядке. Путался, отвечая на вопросы. И это напоминало картину недавней его болезни. Очевидно, все же опять имел место легкий спазм мозговых сосудов.

Когда я просила не курить, уверял, что он не много курит. Однажды схитрил. Я старалась не давать ему люминал, а ему казалось, что люминал ему необходим, что без него он не будет спать и будут боли. Поэтому попросил меня уйти — сказал, что хочет в уборную. Я вышла. А он нашел люминал и выпил немного.

В половине первого ночи ему показалось, что утро, что надо вставать, что он в городе. Говорил: «Сейчас встану. Где газета?» Потом выпил молока, попросил папиросу. Курил в дремоте. Охал. Наконец успокоился, уснул.

В ту ночь я спала в его комнате на раскладушке.

Часто просыпалась. Снова беспокойство из-за люминала: «Неужели опять взяла?» Вспомнил: спрятал под подушку. Стали вместе искать в постели — не нашли. Но он так волновался, что пришлось дать другую коробочку. Тогда успокоился.

Уснул, но меньше, чем через час проснулся.

Вижу — лежит на животе, охает...

Эту позу он часто принимал и раньше, почти всегда перед сном он пристраивался на постели как-то «на четвереньках», чему я всегда удивлялась. И голову опускал вниз — я всегда боялась, что у него будет прилив крови к мозгу. Но он уверял, что ему так лучше, легче.

В пять часов в понедельник приехал из Ленинграда Иригонников и пришел Бессер — снова обследовали его. Во время обследования — дремота, полная пассивность. После обследования — сон.

Врачи. Ну что ж сказали врачи?

Рака, очевидно, нет, но тяжелый сердечный больной, хорошо бы в больницу. Хоть на три дня, чтобы сделать все анализы.

Предложили ему — опять отказался. Просил дать поспать. Спрашивала я Бессера — стоит ли настаивать на больнице? Отвечал как-то неуверенно.

Говорил, что у них больница переполнена, отдельной палаты предоставить нельзя, а в общей ему будет беспокойно, будет хуже, чем дома. Советовал пригласить сестру, чтобы имелась возможность делать уколы и вливания аккуратно и по мере надобности, без промедления.

Я позвонила заместительнице Слупского, просила прислать кого-нибудь. Та обещала.

И действительно, вскоре явился молодой человек с девушкой. Сказал, что он — бывший фельдшер, теперь студент медицинского института, а девушка — его жена, медсестра. Предложил свои услуги. Я с радостью согласилась, хотя он запросил 50 р. за 12-часовое дежурство. Я была так рада — теперь я смогу обеспечить ему постоянное медицинское наблюдение, постоянную помощь, я устрою больницу на дому, все будет хорошо, он должен поправиться!

Сговорились — они приступят к дежурствам на следующий же день, а может быть, даже приедут и в тот же день, к ночи. (Им нужно было съездить в Ленинград за необходимыми вещами.)

Радик (так звали молодого человека) предложил заказать в городе недостающее лекарство, купить необходимый медицинский инвентарь — шприцы, узнать, достал ли Валя судно, если нет — купить, а также зайти в Литфонд и похлопотать, чтоб прислали на дом рентген, а также — профессоров, специалистов-сердечников. Кроме того, Литфонд обещал выслать деньги на лечение, и мне необходимо было переслать им заявление.

Все это Радик взялся исполнить с величайшей готовностью и усердием. Я вздохнула спокойно — мне показалось, что судьба посылает мне спасение в их лице, что при их помощи Михаил быстро поправится, встанет на ноги, ведь больница сама пришла к нему — врач, фельдшер, сестра, все нужные лекарства, все будет обеспечено.

В 9 часов вечера я разбудила его, уговаривала поесть — отказывался. Говорил сначала: «Я много ем!» Потом: «Я мало ем, не хочу». Закурил. Но курил в дремоте. Папироса выпадала изо рта. Я боялась — не устроил бы пожар, не поджег бы свою постель. И все время, пока курил, сидела рядом.

Вдруг сразу же стал жаловаться на боли. Просил кремлевку, грелку. Дала (по расписанию) иригонниковское лекарство, грелку. Сразу успокоился. Дала два куска сахару — съел с охотой.

Уснул в первом часу ночи. Про люминал забыл, не требовал больше. Может быть, подействовали слова врачей, что люминал не нужен, вреден.

В 4.15 (это был уже вторник, 15-е) услышала шорох. Вошла к нему. Оказалось, он без моей помощи слез с постели. Когда я вошла, он пил молоко, но вместо молока подлил в стакан простоквашу. Сказал: «Молоко кислое». Потом лег, стал засыпать.

Вообще же вечером или ночью, когда он не мог заснуть, я «усыпляла» его — делала руками «пассы» над головой и убаюкивала, приговаривая:

«Шш... шш... спи спокойно, спокойно, спокойно...» — так убаюкивала меня в детстве во время болезни мама.

И он так доверчиво закрывал глаза, успокаивался и первое время — действительно — засыпал... Да, я всегда должна была бы смотреть на него как на ребенка, как на свое дитя. Он был всегда такой беспомощный и слабый. Помню, в начале нашего знакомства я так и звала его — «детка».

Зачем же я не делала это?

Зачем требовала от него того, чего он дать не мог? Зачем не щадила его больную психику? Зачем требовала от него, как со здорового? Ведь знала же я — к нему нужен особый подход!..

...Радик привез нужные лекарства, шприцы, судно, даже резиновый круг — на всякий случай. Со знанием дела сделал вливание.

Михаилу я объяснила, что теперь ему будет делать уколы Радик, который его очень любит как писателя, что теперь он под постоянным медицинским надзором, что все пойдет хорошо.

Радик решил бороться с курением — стал прятать папиросы, говоря, что их сушит Валя.

С каким нетерпением стал он ждать Валиного приезда! Как трогательно просил дать ему покурить!

В среду, 16-го, все как будто было хорошо. Он как будто проникся доверием к молодежи, называл их «комсомол» и даже слушался их. Леля говорила, что ей удалось накормить его, что он хорошо кушал.

В этот день приезжала из Ленинграда присланная Литфондом доктор Покатинская, ассистент специалиста-сердечника профессора Хвиливицкой. Внесла кое-какие изменения в лечение — посоветовала заменить одно лекарство другим. В истории болезни пометила: «Состояние средней тяжести». Сказала: «Ну, из такого положения можно выкарабкаться».

Это несколько смутило меня, я даже рассердилась в душе на нее — значит, можно и не выкарабкаться? Разве можно говорить такие вещи родным, когда нет серьезной опасности?

В ту же среду утром Радик был в Литфонде и, как сам говорил, поднял там целую «бучу», требовал, чтобы было сделано все возможное для успешного лечения на дому. Обещали прислать рентген, обеспечить деньгами. И, кроме того, пообещали, что в пятницу приедут сами: Николай Михайлович, зав. лечебной частью Литфонда, привезет Прокофьева.

Когда об этом сказали Михаилу, он как-то оживился, обрадовался и, как кажется, в пятницу даже ждал этого приезда.

В четверг, 17-го, день тоже прошел спокойно, было жарко, и Радик распорядился открыть окно у него в комнате, говорил, что необходим

свежий воздух.

Он жадно, но с какой-то грустью смотрел в окно. Я так хорошо помню его печальные глаза в этот миг...

Я боялась — не простудим ли мы его, но Радик уверял, что ему необходим свежий воздух. (В тот день он согласился на уговоры Радика, обещал бросить курить и действительно перестал просить папиросы.)

В этот же день — или как это было во вторник? — он вдруг сказал: «Как странно, как странно... Как я нелепо жил...»

И я заметила: «Ну ничего, вот теперь будешь жить „лепо“, хорошо, все будет хорошо».

А еще как-то в эти дни он вдруг заволновался и сказал мне и Вале: «Валичка, отвези меня в Ленинград, и ты, Верочка, поедешь со мной... Надо деньги...»

Очевидно, он хотел взять деньги с книжки.

Но четверг был последний относительно спокойный день.

В этот день опять зашел разговор о больнице. Бессер (который приходил каждый день) находил, что больница не обязательна, что ничего существенного, кроме рентгена, она не даст, но высказал опасение — как бы в домашних условиях не проглядеть пневмонию. А я даже и тут подумала: «Ну, против пневмонии теперь есть пенициллин! Это не страшно!»

А ночью вдруг началось страшное. Я услышала его кашель и сразу ужасно испугалась — кашель был какой-то удушающий, нехороший. А перед этим несколько дней он совсем не кашлял. Сразу вскочила, бросилась к нему, стала уговаривать сплевывать мокроту, давала ему полотенце, но он никак не хотел или не мог этого делать. И вот, с пятницы, с 18-го, началась беда.

После того как никто не приехал из Союза (а он, очевидно, ждал), он стал беспокоиться, не мог лежать, просил, чтоб его посадили, садился, потом опять ложился.

Радик старался устроить его удобно, сажал на подушки, сделал упоры для ног — надо было предотвратить отек легких, но он недолго находился в нужном положении, сползал вниз, ложился вбок, почти сползал с постели.

В тот день я послала телеграмму Мариэтте Шагинян — я думала, она сразу приедет, поднимет всех на ноги, спасет.

Действительно, сразу по получении телеграммы ее дочь позвонила мне, подробно расспросила о болезни, сказала, что Мариэтта завтра же выедет в Ленинград.

Но когда я сказала ему: «Мишенька, звонила Мариэтта, она завтра

приедет!» — он ответил: «Бог с ней!..»

19-го, в субботу, ночь была беспокойная, спал плохо, приходилось делать уколы, давать лекарство.

Раз даже чуть не довел до обморока самого Радика — не дал делать укол, едва не сломал шприц в вене. Это было ужасно.

В эти последние дни ему, наверное, было очень больно — он все засовывал пальцы в рот, кусал их. Я не понимала, в чем дело, а потом заметила — на тоненьком пальчике прокус. И что же болело, что мучило его? Я так и не знаю.

Я испугалась тогда, когда увидела эту крошечную ранку на безымянном пальце левой руки, сказала: «Мишенька, что ты делаешь? Ты же можешь внести инфекцию, не надо кусать пальцы!»

В 6 часов стал требовать врача. «Позовите вашего профессора», — говорил Радика. Посылали Валю за ним — с трудом отыскал, привел.

Как он мучился, должно быть. Как он тянул ко мне свои руки:

«Пусть я встану!»

«Подними меня, Верочка!»

«Поддержи меня, Верочка!»

«Вытащи меня, Верочка!»

И я поднимала его, поддерживала.

Ноги его я ставила на скамеечку, клала грелку на них, а руки согревала своим дыханием. И он клал голову мне на плечо, и мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, так, как я всегда мечтала...

Потом он стал просить: «Увези меня, Верочка! Везите меня в Ленинград, в больницу!»

Он так хотел жить! Он не хотел умирать!

И в тот же день он первый раз сказал: «Я умираю, Верочка!»

«Что ты? Что ты говоришь? Это невозможно... Тогда и я умру!»

В тот день я нашла письмо Елизаветы, которое куда-то засунула в суматохе. Она советовала вызвать Максимовича, сообщила его телефон в Зеленогорске. Позвонила туда — просила передать о болезни Михаила, просьбу приехать.

Опять была страшная ночь. Наутро, в воскресенье, 20-го, явился Максимович, а следом за ним — Николай Михайлович из Литфонда с каким-то знаменитым профессором.

Максимович вынес страшный приговор: «Немедленно в больницу! Иначе мы потеряем нашего друга!»

После Максимовича обследовал приехавший профессор, потом — консилиум на веранде, внизу. Решение одно — немедленно в больницу,

иначе — смерть!

А когда стали звонить в Свердловку, оказалось — нужно разрешение из горкома. А было воскресенье, и никого на местах не было. К тому же к вечеру вдруг разразилась страшная гроза, ураган, ливень, и телефонная связь была прервана.

Куда только не звонили — и Николай Михайлович, и Максимович, и Радик — все напрасно.

Я снова отправила телеграммы в Москву — на этот раз, кроме Шагинян, Федину. Федин немедленно откликнулся, но он в этот день уезжал за границу. Вот его телеграмма:

«Уважаемая Вера Владимировна! Глубокому сожалению приехать не могу: сегодня уезжаю за границу. Телеграфирую первому секретарю тов. Спиридонову просьбу оказать наилучшую лечебную помощь Мише. Одновременно обращаюсь Союз писателей. Горячий привет. Пожелание выздоровления Мише. Федин».

В тот же день пришла телеграмма от Николая Михайловича — «Телефон испорчен. Госпитализация Свердловку возможна завтра. Столяров».

В воскресенье у него была очень низкая температура, как потом сказали — 34,5. И я долго грела его холодные руки — и согрела, они стали теплыми. И температура тоже поднялась. Погода тогда стояла холодная, и чтобы согреть комнату, чтобы ему было тепло, я поставила на стол Тосин обогреватель. А он заметил и говорит: «Убери диск!» И я спрятала его под стол.

А потом Валя топил печку. Он сначала не хотел этого. И Валя уговаривал его: «Папа, ты же любишь печку, сейчас тебе будет тепло».

В этот вечер, измученная все пережитым, я первый раз за все время болезни сдалась. Пришла в отчаяние. Я легла в комнате Лели, плакала в холодном, безнадежном ужасе. Пробовала заснуть — чтобы бодрствовать ночью.

Около Михаила, кроме врачей (Бессер снова пришел), были Валерий и Тося. Она вместе с Лелей давала ему кислород. Теперь он уже принимал его. Я силилась уснуть — тщетно. Лишь на какие-то минуты я забывалась в дремоте. Наконец, не выдержала, встала, поднялась наверх.

Кошмарная ночь!

Радик делал уколы.

Тося, Леля, Валерий давали кислород.

Вадик, Лерин<sup>[21]</sup> муж — ездил в аптеку за кислородными подушками.

Вот его слова в промежутках между кислородом и уколами:

«Я очень устал... Что случилось? Почему не проходит? Я же бросил курить!»

«Упустили... упустили...»

«Я хочу работать... Дайте мне работать!»

Потом: «Я не могу работать».

И я успокаивала его: «Отдохнешь, поправишься, будешь работать, не волнуйся, успокойся».

В 3.50 ночи, когда ему делали уколы: «Положите меня спать скорее... Скорей, скорей... Не троньте меня! Пусть я уйду... Скорей, чтоб я ушел...», «Скорей поддержи».

«Туши свет».

«Я устал... Устал... Не надо больше меня трогать».

«Не троньте меня больше!»

Вдруг отчетливо, ясно: «Оставьте меня в покое. Закройте двери... Уйдите от меня... Ай... Уйдите... Уйдите... Уйдите... Не надо... больно... Хватит... Хватит... Не надо больше...»

Да, это была страшная ночь! Как выдержали нервы это страшное напряжение — не знаю... И все-таки — вытянули до утра!

И опять появилась надежда.

Утром я вышла в сад. Было чудесное голубое утро, я подошла к земляничным грядкам — о радость! Пospела наша земляника! Он так ждал ее! Я собрала целую баночку, принесла ему, сказала:

«Мишенька, это наша земляничка, видишь, какая крупная! Лучше Дуниной. Кушай!»

И он посмотрел так сознательно, как будто даже улыбнулся довольный.

Я стала класть ему ягоды в рот. И он жадно и с удовольствием кушал.

А потом приехали из Свердловки. Я думала — сейчас его увезут. И я уже решила на это. И Валя, пока врач (женщина) осматривала его, сказал, что надо непременно, непременно везти его в Ленинград именно сегодня, что несколько дней назад он сказал ему: «Валечка, во вторник отвезешь меня в Ленинград!» А когда Валя спросил: «Зачем, папа? Тебе же здесь хорошо!» — ответил решительно: «Мне надо... К нашим!»

И Валя сказал: «Я суеверен, надо обмануть судьбу, надо увезти его сегодня, живого».

И я отвечала: «Конечно, если надо, если можно — нужно везти. Может быть, там спасение!» Но тут же ждало разочарование — врач после осмотра наотрез отказалась везти: «Больной не транспортабельный. Везти сегодня нельзя. Может быть, завтра...»

То же подтвердил и Бессер. Валя настаивал.

И фельдшер, приехавший со «скорой», ручался: «Довезем. Устрою кислородную палатку. Лекарства все есть...»

И все же врач не согласилась везти.

А я... я молчала... Или я не хотела, чтобы его увезли? Или надеялась на что-то?

Но я даже договорилась с приехавшим со «скорой» фельдшером, что на другое утро он придет, чтобы сменить Радика, дежурить в очередь с ним, так как тот буквально валился с ног.

Да, я не допускала мысли, что близок конец, что это — смерть. И когда фельдшер просил, чтобы завтра утром ему позвонили, чтобы ему не пришлось приехать напрасно, я настаивала: «Приезжайте непременно! Никаких изменений не может быть!»

Потом вдруг приехал рентген, и к нему ввалилась целая группа людей — стали делать снимок. Зачем? Только мучили напрасно и волновали. И, может быть, этим еще ускорили развязку. Да к тому же чуть не устроили пожар: дура-санитарка обернула электрическую лампочку полотенцем, которое, конечно, вспыхнуло — и ему пришлось дышать этим дымом!

Когда я поднялась наверх (я не присутствовала при снимке — там много было народу и без меня, поместиться негде), я сразу почувствовала запах паленого и в ужас пришла, когда узнала, в чем дело... Потом приходили брать кровь... Ах, сколько волнений причинили они ему, бедняжке, в тот последний его день!

И меня отвлекли от него — если б не эти ненужные процедуры, я бы не отошла от него ни на минуту!

Потом Радик стал требовать, чтоб сварили куриный бульон. Я бросилась искать курицу — сначала к Дуне, но Дуня посоветовала лучше обратиться к соседке Дусе — у той курицы моложе. Наконец, достали курицу... Потом Радик стал кормить его обедом. И, помню, крикнул с балкона: «Все съел! Несите второе!» Он так хорошо ел в этот последний день!

И утром, кроме молока и ягод, съел много меду, который прислала ему Зуева. Бедняжка, бедняжка — он хотел спастись, он думал — беда в том, что он мало ест, он стал есть больше. Он бросил курить, стал есть — он не хотел умирать, он хотел жить, жить!..

Но после того как я так порадовалась тому, что он ест, когда подумала, что он спасен, и началась трагическая развязка.

И вот подошло шесть часов понедельника, 21 июля.

Я была внизу — кажется, заказывала Ольге обед на завтра. У него был Валя.

И Валя рассказал потом, что он сказал ему: «Достань из пиджака бумажник, деньги». И дал ему 1000 рублей.

Потом вдруг протянул к нему руки, крепко-крепко пожал его руку, так сознательно посмотрел в глаза и сказал:

«Валичка, я умираю... Прощай, мальчик!»

И после этого он начал задыхаться.

Ему давали дышать кислородом, сменяли подушку за подушкой.

Когда я поняла, что это — конец, что началась агония, я пришла в такое отчаяние, почти потеряла рассудок.

Я лежала у Лели, я рыдала, я сходила с ума — я не имела силы подняться наверх. Не могла.

А он звал меня. Принимал за меня то Тосю, то Лелю.

Наконец Лера (спасибо ей!) привела меня в сознание, сказала: «Тетя Вера, идите туда. Вы потом не простите себе, если дядя Миша умрет без вас».

И я поднялась наверх. Бросилась к его постели. Он сидел — высоко в подушках. Глаза были открыты — мои любимые, прекрасные черные глаза.

Но различал ли он что-нибудь, уже не знаю.

Я села на скамеечку перед его постелью, грела его руки, целовала их. Я молила в душе: «Только бы он не умер, только бы не умер, не умер», — и я чувствовала — моя мольба бессильна!

Потом ему стали делать уколы, я отошла, встала в ногах постели, прислонилась к теплой печке — мне было смертельно холодно — и замерла, в ужасе глядя ему в лицо.

Он часто и трудно дышал. После уколов — опять кислородные подушки, их сменяли Валерий и Радик — оба стояли у его изголовья.

Тут же были Тося и Леля. В соседней комнате — доктор Бессер. И вдруг Валя крикнул: «Доктора!»

Поспешно вошел Бессер. Что-то сделал. Потом Радик стал делать укол. Один, другой. Крикнул: «Спирт!»

И вдруг: «Не надо!»

Я поняла — конец!

Было 12 часов 45 минут, начинался новый день — вторник, 22 июля...

Трудно передать словами все мое огромное горе, мое отчаяние, мою безутешную тоску.

Ими полны все мои записи за последние годы. И, наверное, будет так вплоть до последних дней... Да, до последних дней.

30 ноября 1972 г.

## ПИСЬМО Л. ПАНТЕЛЕЕВА Л. К. ЧУКОВСКОЙ<sup>[22]</sup>

Разлив  
6. VIII-58.

...Вы просите меня написать о последних днях Михаила Михайловича. Ничего не знаю, давно не видел его, перед отъездом на дачу собирался заехать, навестить — и не собрался.

О его смерти я узнал из коротенького объявления в «Лен. Правде». Я все еще болен был, лежал, но упросил Элико<sup>[23]</sup> взять меня на похороны. Между прочим, мы боялись, что его уже похоронили. Как и следовало ожидать, телефон СП не откликался. Элико позвонила Л. Н. Рахманову и выяснила, что панихида и вынос — в Союзе, в 12 ч. Чудом поймали на шоссе такси и вовремя прибыли на ул. Воинова.

Народу было много, но, конечно, гораздо меньше, чем ожидали некоторые. Власти прислали наряд милиционеров, однако у П. Капицы, ответственного за все это «мероприятие», хватило ума и такта удалить их.

Экссессов не было. И читателей почти не было. На такие события отзывается обычно молодежь, а молодежь Зощенко не знала. Все-таки ведь 12 лет подряд школьникам на уроках литературы внушали, что Зощенко это — где-то рядом с Мережковским и Гиппиус. И в библиотеках его много лет не было.

И все-таки наше союзное начальство дрейфило.

Гражданскую панихиду провели на рысях.

Заикаясь и волнуясь, с отвратительной оглядкой, боясь сказать лишнее или недостаточно сказать в осуждение покойного, выступил Прокофьев. О Зощенко он говорил так, как мог бы сказать о И. Заводчикове или М. Марьенкове<sup>[24]</sup>.

Выступил Б. Лихарев. Позже жена его призналась Элико, что все утро он так волновался, что поминутно пил валерьянку и глотал какие-то таблетки.

Вытаращив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Запомнилась мне только последняя его фраза. Сделав полуоборот в сторону гроба, шаркнул толстой ногой и сухо, с достойным, вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек:

— До свиданья, тов. Зощенко.

И вдруг —

— Слово предоставляется Леониду Ильичу Борисову.

Это малопрятный человек. Многие отзываются о нем дурно в высшей степени. Выступает он всегда с актерским наигрышем. И здесь, у гроба М. М. Зощенко, когда Борисов, получив слово, выдвинувшись из толпы, прикусил «до боли» губу, потом минуты две щелкал (буквально) зубами, как бы не в силах справиться с волнением. — мне вспомнилось, как смешно и похоже изображал Борисова Е. Л. Шварц. Точно так же, не в силах справиться с волнением, щелкал Борисов зубами, выступая на траурном митинге, посвященном Сталину. Тогда он, говорят, еще и воду пил.

Но на этот раз он сказал (из каких побуждений — не знаю) то, что кто-то должен был сказать.

Начал он свое слово так:

— У гроба не лгут. У всех народов, во всех странах и во все времена у верующих и неверующих был и сохранился обычай — просить прощения у гроба почившего. Мы знаем, что М. М. Зощенко был человек великодушный. Поэтому, я думаю, он простит многим из нас наши прегрешения перед ним вольные и невольные, а их, этих прегрешений, скопилось немало.

Сказал он и о том месте, какое занимает Зощенко в нашей литературе, о патриотизме его, о больших заслугах перед Родиной и народом.

Одно место в этой речи показалось (и не мне одному) странным. Он сказал, что Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он — не изменил.

Сразу же после Борисова слово опять взял Прокофьев:

— Товарищи! У гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии. Но я, так сказать, не могу, так сказать, не ответить Леониду Ильичу Борису...

И не успел Прокофьев ступешаться — визгливый голос Борисова:

— Прошу слова для реплики.

Борисов оправдывается, растолковывает, что он хотел сказать.

Прокофьев подает реплику с места.

В толпе, окружившей гроб, женские голоса, возмущенные выкрики...

В тесном помещении писательского ресторана жарко, душно пахнет цветами, за дверью, на площадке лестницы четыре музыканта безмятежно играют шопеновский марш, а здесь, у праха последнего русского классика идет перепалка.

Вдова М. М., подняв над гробом голову, тоже встречает в эту, «так сказать», дискуссию:

— Разрешите и мне два слова.

И не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова:

— Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа.

Становится жутко. Еще кто-то что-то кричит. Суется, мечутся в толпе перепуганные устроители этого мероприятия.

А Зоценко спокойно лежит в цветах. Лицо его — при жизни темное, смуглое, как у факира, — сейчас побледнело, посерело, но на губах играет (не стынет, а играет!) неповторимая зоценковская улыбка-усмешка.

Панихиду срочно прекратили. Перекрывая другие голоса и требования вдовы «зачитать телеграммы», Капица предлагает *родственникам* проститься с покойным.

Я тоже встал в эту недлинную очередь, чтобы последний раз посмотреть в лицо М. М. и приложиться к его холодному лбу. И тут, когда все вокруг уже двигалось и шумело, когда швейцары и гардеробщики начали выносить венки — над гробом выступил-таки читатель. Почти никто не слышал его. Я стоял рядом и кое-что расслышал.

Пожилой еврей. Вероятно, накануне вечером и ночью он готовил свою речь, думая, что произнесет ее громогласно, перед лицом огромного скопища людей. А говорить ему пришлось — почти наедине с тем, к кому обращены были его слова!

— Дорогой М. М. С юных лет вы были моим любимым писателем. Вы не только смешили, вы учили нас жить... примите же мой низкий поклон и самую горячую, сердечную благодарность. Думаю, что говорю это не только от себя, но и от лица миллиона Ваших читателей.

Тут же, в этой шумной суеде, подошел ко мне незнакомый, очень высокий человек и сказал:

— 50 лет я знал Мишу. Вместе в 8-й гимназии учились.

Хоронили Михаила Михайловича — в Сестрорецке. Хлопотали о Литераторских Мостках — не разрешили.

Ехали мы в автобусе погребальной конторы. Впереди меня сидел Леонтий Раковский. Всю дорогу он шутил с какими-то дамочками, громко смеялся. Заметив, вероятно, мой брезгливый взгляд, он резко повернулся ко мне и сказал:

— Вы, по-видимому, осуждаете меня, А. И. Напрасно. Ей-богу. М. М. был человек веселый, он очень любил женщин. И он бы меня не осудил.

И этой растленной личности поручили «открыть траурный митинг» — у могилы. Сказал он нечто в этом же духе — о том, какой веселый человек был Зоценко, как он любил женщин, цветы и т. д.

Следующим выступил с большой речью — Н. Ф. Григорьев. Он рассказал собравшимся о том, какой Зоценко был интересный,

своеобразный писатель. Осмелев, Н. Ф. сообщил даже, что ему «посчастливилось работать с М. М.». Все решили, что Зощенко редактировал Григорьева. Оказывается, наоборот, — Григорьев, будучи редактором «Костра», редактировал рассказы Зощенки.

— Работать было легко и приятно. С молодыми иной раз бывает труднее работать.

Стиль был выдержан до конца.

По просьбе кого-то Григорьев соврал, сказав, что хоронят М. М. в Сестрорецке — по просьбе родственников.

На кладбище приехало много народа, пожалуй, больше, чем на панихиду. Из москвичей я узнал Д. Д. Шостаковича, Ю. Нагибина.

Не раз в этот день вспоминали мы с друзьями Конюшенную церковь, вагон для устриц и пр. [\[25\]](#)

Но на кладбище хорошо: дюны, сосны, просторное небо. День был необычный для нынешнего питерского лета — солнечный, жаркий, почти знойный.

Вы пишете: «Какая это потеря для нашей литературы!» Зощенко был потерян для нашей литературы 12 лет назад. Он сам это понимал. Еще тогда, в 48 году он сказал Жене Шварцу:

«Хорошо, что это случилось сейчас, когда мне уже исполнилось 50 лет и я сделал почти все, что мог сделать».

И все-таки очень горько было — и читать эти холодные казенные слова в узенькой черной рамке, и стоять у свежего холмика на кладбище, и снова ехать в город, где уже нет и не будет Михаила Михайловича.

(В письме упоминаются фамилии членов ленинградской писательской организации.)

## ИЛЛЮСТРАЦИИ



*Мать — Елена Осиповна Зощенко.*



*Отец — Михаил Иванович Зоценко.*



*Миша Зоценко с родителями и сестрами Еленой и Валентиной.*



*Гимназист.*



*Петербург. Начало XX в.*



*Прапорщик М. М. Зоценко. Петербург. Август 1915 г.*



*М. М. Зоценко. Поручик 16-го Мингрельского кавказского полка. 1916 г.*



↑  
«Золотополомная свисток» в  
1916 году на фронте.  
Господа офицеры Милитарского  
полка Кавказск. Гренад. Дивизии.  
Я командир роты. В центре  
Группка идеологички не видер-  
жена. Наша молодая общественность  
Простите меня — был очень молод!  
В то время мне не было 20 лет  
М. Желе

Любительская фотография из альбома, составленного А. Е. Крученых.  
ЦГАЛИ.



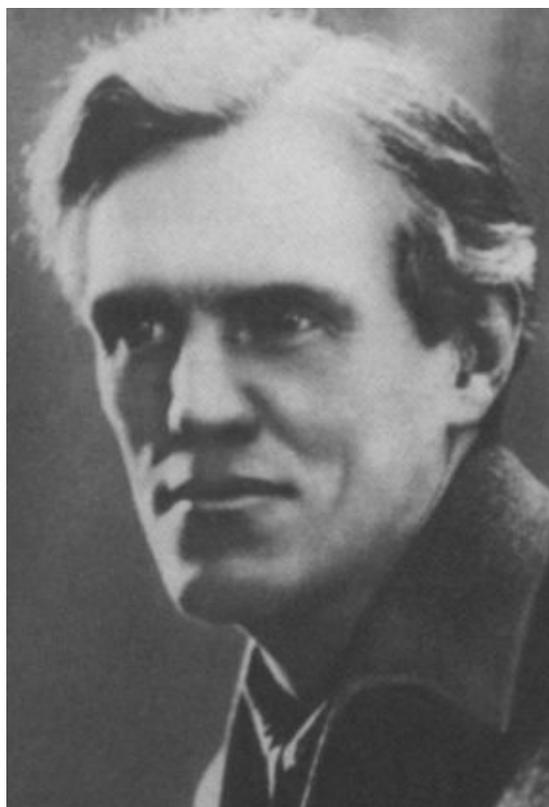
**«Серапиевны братья». Справа налево: В. А. Каверин, И. А. Груздев, Н. Н. Никитин, М. М. Зощенко, Е. Г. Полонская, Н. С. Тихонов, М. А. Слонимский, К. А. Федин. Снимок из журнала «Литературные записки». 1922.**



*К. И. Чуковский.*



*Л. Н. Луиц.*



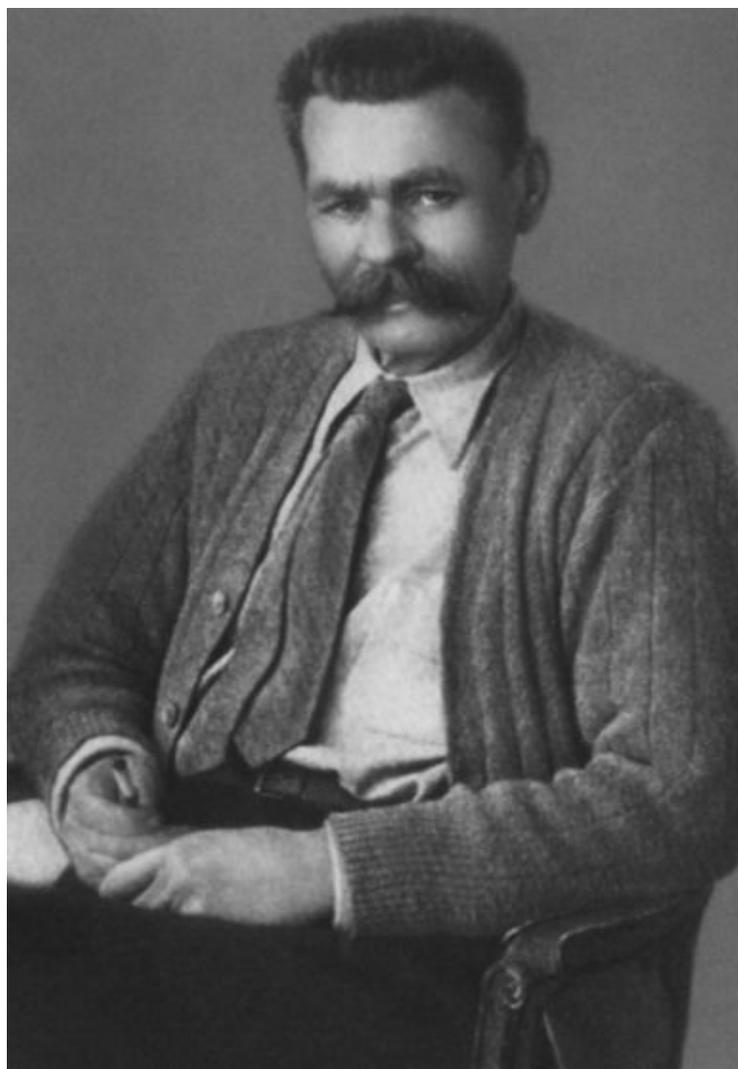
***Н. С. Тихонов.***



***В. Б. Шкловский.***



***К. А. Федин.***



*А. М. Горький.*



*М. М. Зоценко. 1923 г.*



*В. В. Зоценко. 20-е гг.*



***В. В. Маяковский.***



*М. М. Зоценко и М. С. Шагинян. 20-е гг.*



***А. А. Блок.***



*О. Д. Форш.*



*О. Э. Мандельштам.*



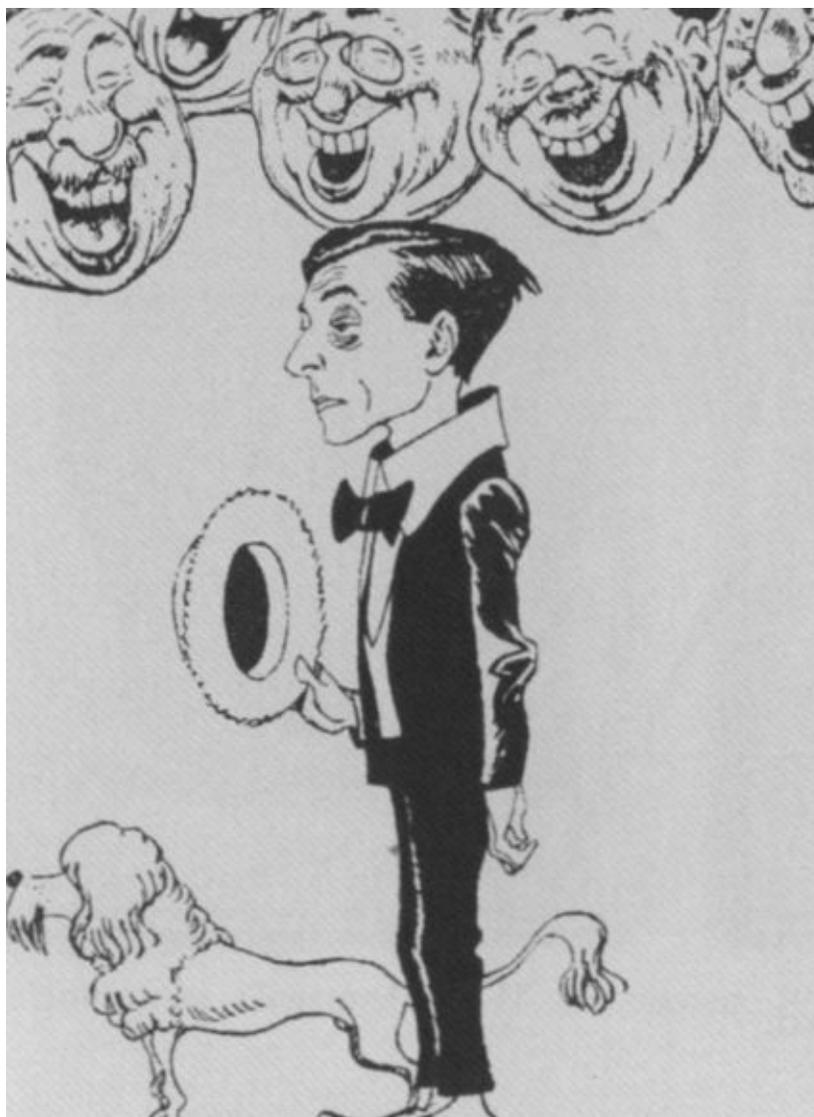
*М. М. Зощенко. Портрет Ю. П. Анненкова. 1921 г.*



Обложки книг М. М. Зощенко.



*Первая книга именной серии «Мастера современной литературы» издательства «Academia» была посвящена М. М. Зощенко. 1928 г.*



*М. М. Зощенко. Шарж Б. Е. Ефимова.*



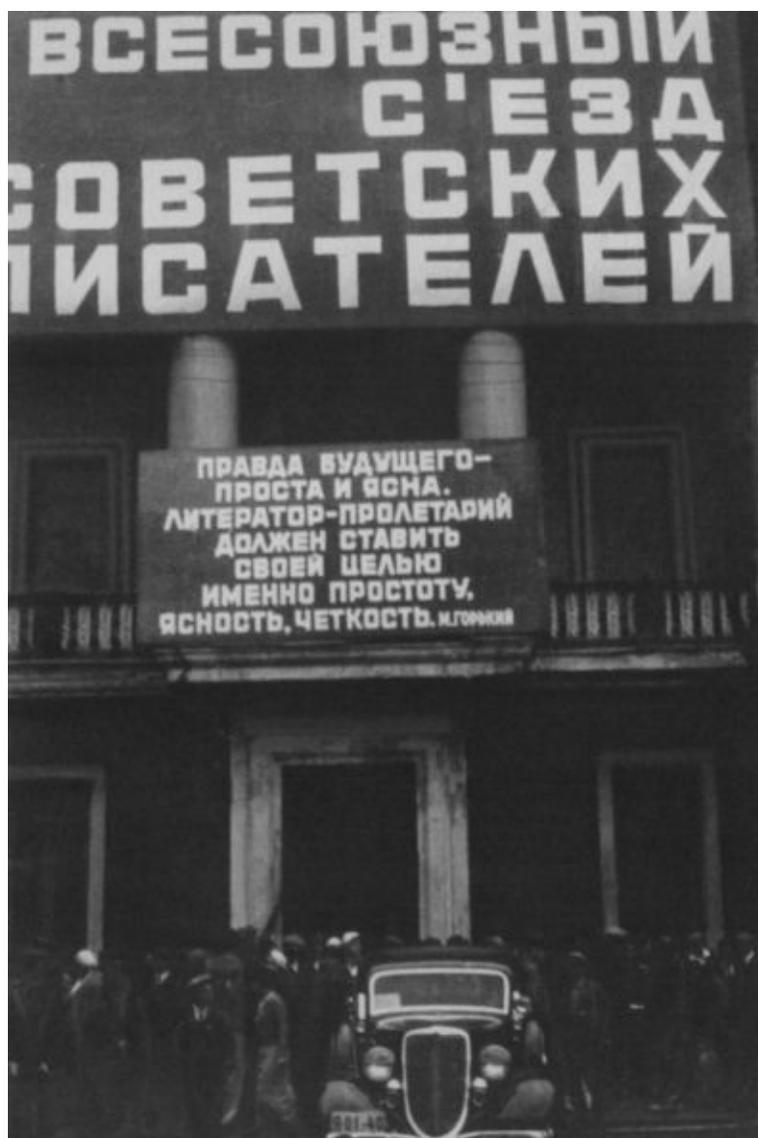
*М. М. Зощенко. Москва. 1923 г.*



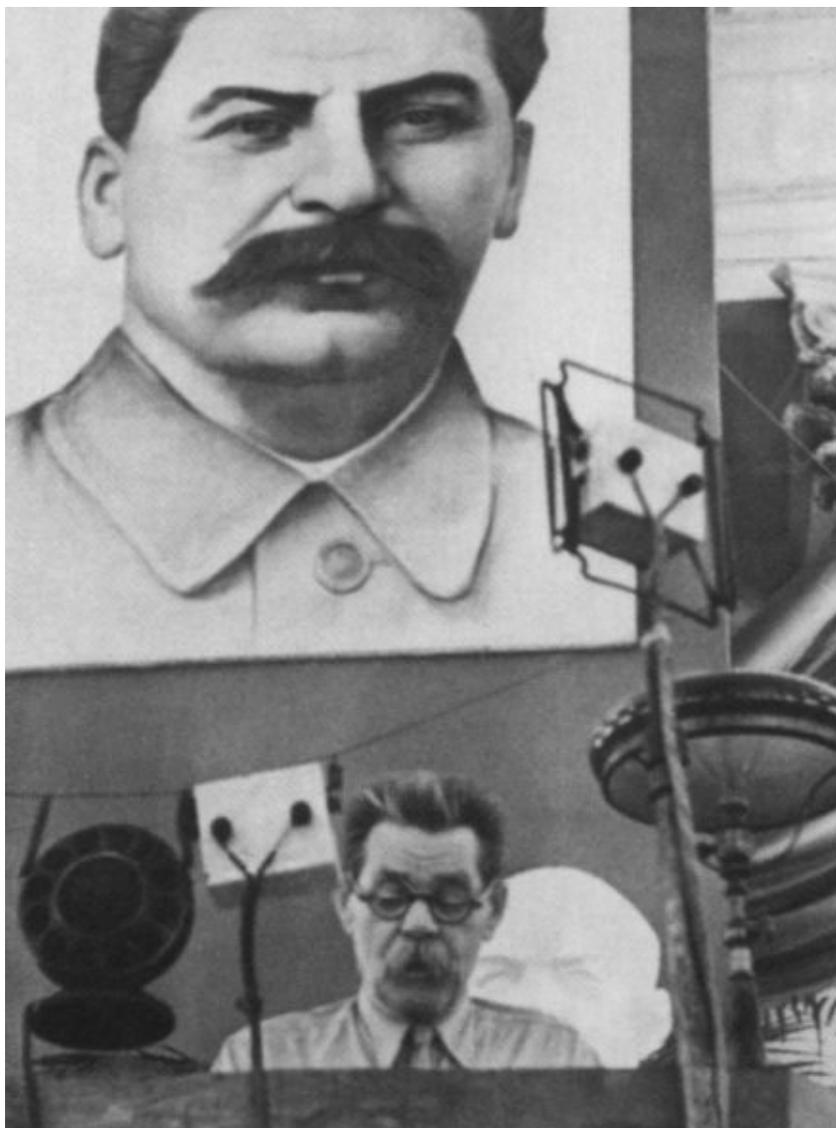
*М. М. Зоценко. 1923 г.*



*М. М. Зоценко. Портрет конца 20-х гг.*



*Всесоюзный съезд советских писателей. Москва. Дом Союзов. 1934 г.*



*Доклад А. М. Горького на I съезде советских писателей.*



*М. М. Зощенко с Ю. К. Олешей.*



*М. И. Калинин вручает М. М. Зощенко орден Трудового Красного Знамени. 17 февраля 1939 г.*



***В. А. Каверин.***



***Е. Л. Шварц.***



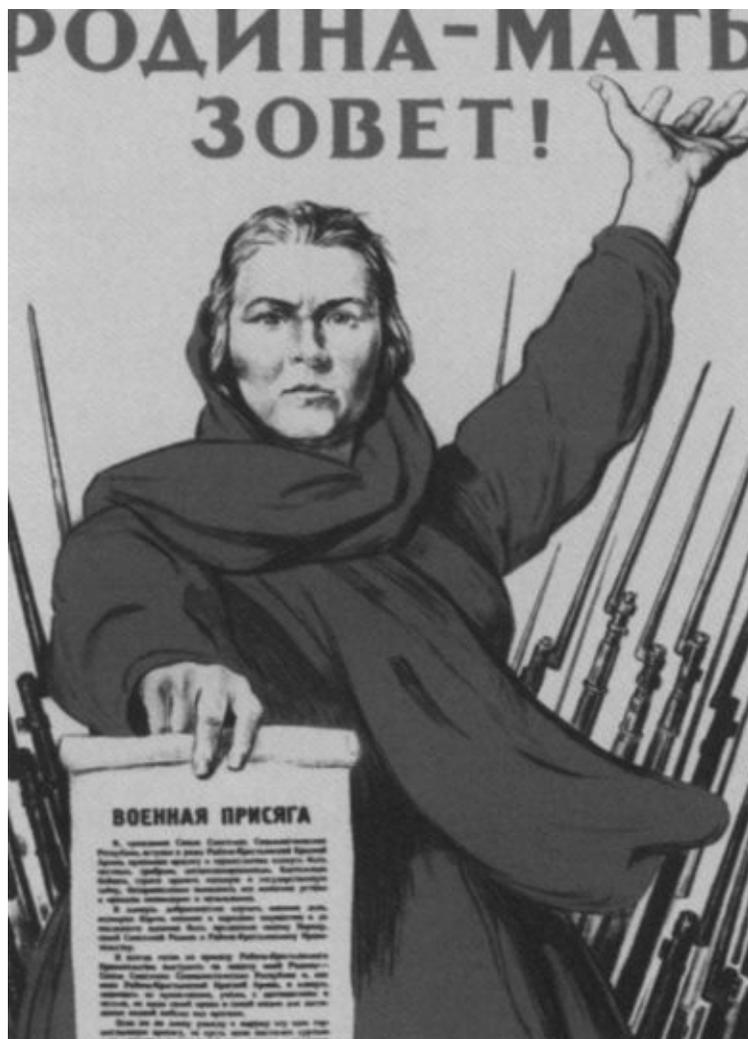
***Д. Д. Шостакович.***



*На даче под Ленинградом (станция Ольгино). Рядом — Л. А. Чалова.  
Лето 1940 г.*



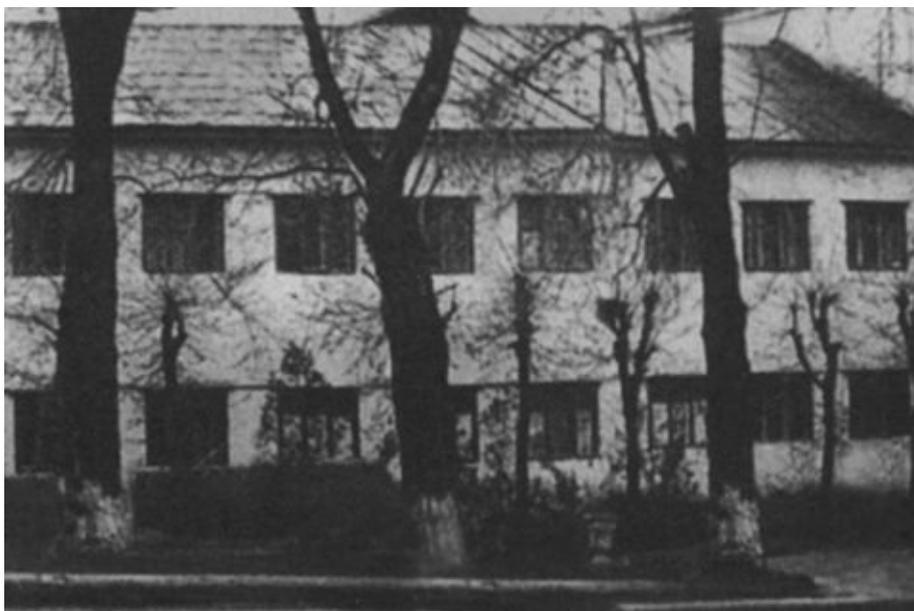
*Ленинград. Канал Грибоедова, 9. Дом, где жил М. М. Зощенко с 1934 по 1958 год.*



*Плакат И. М. Тондзе. 1941 г.*



*22 июня 1941 года.*



**Дом в Алма-Ате, где Зоценко жил в эвакуации.**



**Журнал «Октябрь», в котором в 1943 году началась публикация повести М. М. Зоценко «Перед восходом солнца».**



*Член Политбюро ЦК ВКП(б) секретарь ЦК по идеологии А. А. Жданов.*

# О журналах «Звезда» и «Ленинград»

*Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.*

ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно.

В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями советских писателей, появилось много безидейных, идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакция «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безидейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодёжь и отравить её сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» («Звезда» № 5—6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с бивальескими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности опровергается антисоветскими выпадами.

Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам

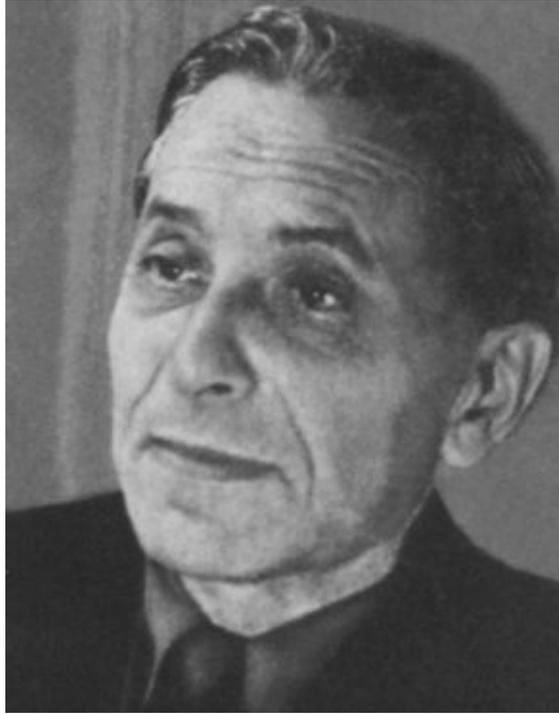
они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством Советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодёжи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодёжи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безидейности.

Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодёжь, ответить на её запросы, воспитать новое поколение бойцами, верящими в своё дело, не боящимися препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия.

Поэтому всякая проповедь безидейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах.

Недостаток идейности у руководящих работников «Звезды» и «Ленинграда» привёл также к тому, что эти работники поставили в основу своих отношений с читателем

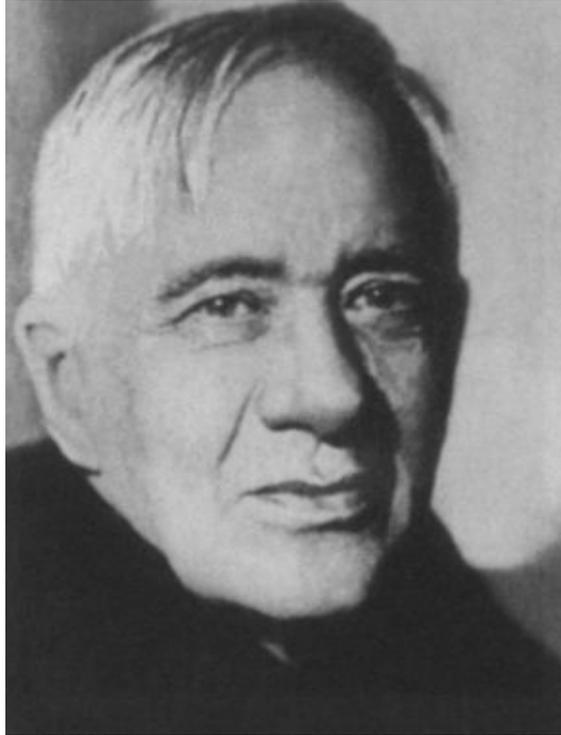
**Публикация в газете «Правда» от 21 августа 1946 года.**



*М. М. Зоценко. 50-е гг.*



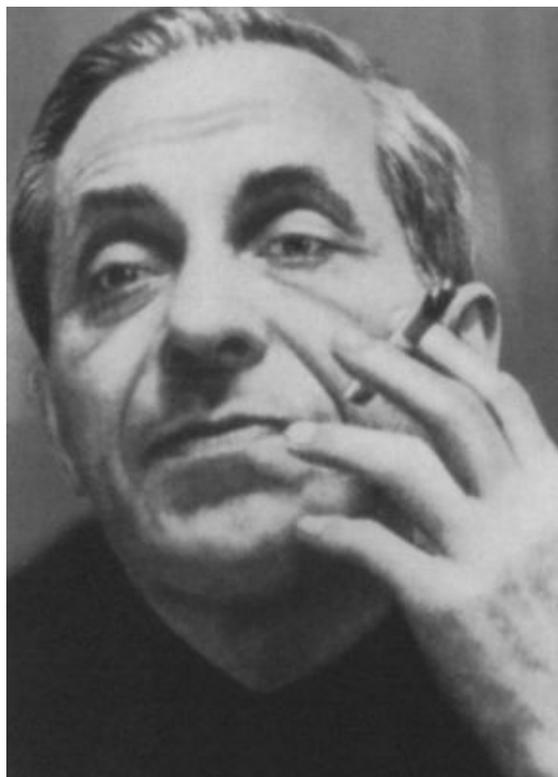
*А. А. Ахматова. 50-е гг.*



*К. И. Чуковский — признанный мэтр и летописец советской литературной жизни, высоко ценивший и поддерживавший М. М. Зощенко.*



*Берег Финского залива около Сестрорецка.*



*М. М. Зоценко. 1958 г.*



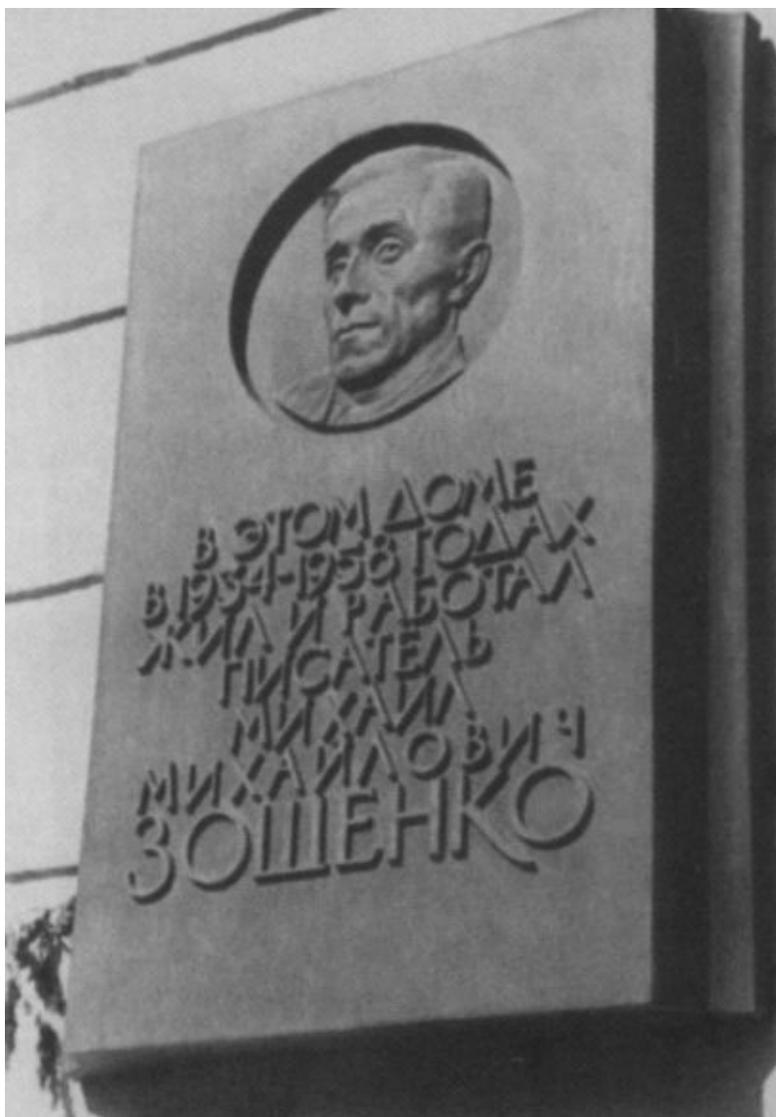
*Комната М. М. Зоценко на даче в Сестрорецке.*



*Дача М. М. Зоценко в Сестрорецке.*



*Похороны М. М. Зощенко. Гражданская панихида в Ленинградском доме писателей. Июль 1958 г.*



*Мемориальная доска на доме 9 по каналу Грибоедова.*



*Памятник М. М. Зощенко на могиле писателя. Здесь же похоронены его жена и сын.*



*Одна из последних фотографий М. М. Зощенко.*

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. М. ЗОЩЕНКО

**1894, 28 июля (9 августа н. ст.)** — в Петербурге родился Михаил Михайлович Зощенко.

**1903** — Михаил Зощенко поступает в восьмую с. — петербургскую гимназию.

**1907** — смерть отца, художника-мозаичиста М. И. Зощенко.

**1913** — окончание гимназии. Поступление на юридический факультет С.-Петербургского университета.

**1914, апрель** — отчисление из университета после первого курса «за невзнос платы».

**1 августа (н. ст.)** — начало Первой мировой войны (объявление Германией войны России).

**Сентябрь** — Зощенко поступает в Павловское военное училище на ускоренные курсы военного времени.

**1915, февраль** — окончание четырехмесячных военных курсов с присвоением младшего офицерского чина военного времени — прапорщик.

**Март** — прибытие на фронт в 16-й гренадерский Мингрельский полк Кавказской дивизии на должность младшего офицера пулеметной команды.

**Ноябрь** — легкое ранение в ногу во время атаки немецких позиций. В этом же месяце награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

**Декабрь** — назначен начальником пулеметной команды и произведен в подпоручики.

**1916, февраль** — награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

**Июль** — произведен в поручики.

**20 июля** — отравление газами во время газовой атаки немцев под белорусским селением Сморгонь. Лечение в госпитале.

**Сентябрь** — награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами.

**Ноябрь** — награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. Произведен в штабс-капитаны. Зощенко становится командиром батальона.

**1917, январь** — представлен к званию капитана и к ордену Святого Владимира 4-й степени (ни того, ни другого не получил в связи с

госпитализацией по болезни).

*Февраль* — демобилизация из армии по болезни сердца.

*Лето* — комендант петроградского почтамта и телеграфа при Временном правительстве.

*Сентябрь* — командировка в Архангельск, где был адъютантом местной дружины и выборным секретарем полкового суда.

**1918, март** — отказ от предложения уехать из большевистской России во Францию.

*Апрель* — возвращение из Архангельска в Петроград. Работает подмастерьем в сапожной мастерской, телефонистом в пограничной охране (Кронштадт), инструктором по кролиководству и куроводству (совхоз Маньково Смоленской губернии).

*Октябрь* — первая (неудачная) попытка опубликовать рассказ.

**1919, январь-апрель** — уходит добровольцем в Красную армию и участвует в боях под Нарвой и Ямбургом в должности полкового адъютанта 1-го Образцового полка деревенской бедноты.

*Апрель* — демобилизован из Красной армии по болезни сердца. Работает агентом уголовного надзора, старшим милиционером, затем (после увольнения с милицейской службы по состоянию здоровья) конторщиком и помощником бухгалтера.

*Июнь* — поступает в студию при издательстве «Всемирная литература» на отделение, руководимое К. Чуковским. Пробует себя в критических статьях и обзорах, в литературной пародии. Знакомство с Н. Гумилевым, Е. Замятиным, В. Шкловским.

*Ноябрь* — открытие в Петрограде Дома искусств, куда переезжает студия.

**1920, январь** — смерть матери.

*Июль* — регистрация брака с В. В. Кербиц-Кербицкой. Начало интенсивной творческой работы Зощенко над рассказами.

**1921, февраль** — образование литературной группы «Серапионовы братья», куда вошел и М. Зощенко.

*Май* — родился сын Валерий. Зощенко приглашается к Горькому, который одобряет его рассказ «Старуха Врангель» (прочитанный Горьким в рукописи).

*Август* — одобрение Горьким рассказа «Рыбья самка» (также прочитанного в рукописи).

**1922**— широкая публикация рассказов Зощенко в периодической печати — в журналах, альманахах и сборниках.

*Июль* — издание первой книги Зощенко «Рассказы Назара Ильича

госпоина Синебрюхова». Пг.: Эрато (тираж 2 тыс. экз.).

*Август* — публикация первой статьи-автобиографии «О себе, об идеологии и еще кое о чем» в «Литературных записках» (№ 3).

*Осень* — переселяется жить отдельно от семьи в Дом искусств (ДИСК), где уже обосновались Александр Грин, Ольга Форш, Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Владислав Ходасевич, Мариэтта Шагинян, Владимир Пяст, Виктор Шкловский и другие писатели.

*Декабрь* — второе издание «Рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова» (Пг.; Берлин; Эпоха).

**1923, февраль** — публикация повести «Коза», которой был начат цикл «Сентиментальных повестей». Выход в свет (в разных издательствах) книг рассказов «Разнотык», «Юмористические рассказы», «Рассказы». Многочисленные публикации их в периодической печати.

*Ноябрь* — первая (журнальная) публикация рассказа «Аристократка», ставшего одним из шедевров творчества Зощенко и своего рода эмблемой его сатиры и юмора.

**1924** — издание сборников рассказов «Аристократка», «Веселая жизнь». Активно сотрудничает во многих юмористических журналах («Красный ворон», «Дрезина», «Бузотер», «Смехач», «Бегемот» и др.). *Август* — журнальная публикация повести «Мудрость» (вошедшей затем в цикл «Сентиментальных повестей»).

**1925** — издание сборников «Рассказы», «Обезьяний язык», «Избранные юмористические рассказы», «Собачий нюх» (тиражи — 50 тыс. экз.). Продолжает активно сотрудничать в сатирической периодике. *Июнь* — публикация повести «О чем пел соловей» (вошедшей также в цикл «Сентиментальных повестей»).

**1926** — обострение невротического недуга. Лечение в санаториях. Изучение медицинской литературы и стремление к самолечению.

Издание одной из наиболее значительных и полных книг сатирических рассказов Зощенко — «Уважаемые граждане». Многочисленные переиздания уже вышедших сборников.

**1927** — в течение одного этого года — второе, третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое издания книги «Уважаемые граждане» (М.; Л.: Земля и Фабрика). Продолжает активно печатать в сатирических журналах новые рассказы.

*Март* — выход в свет книги «О чем пел соловей. Сентиментальные повести».

*Июнь* — издание книги сатирических рассказов «Нервные люди». *Август* — появление в газете «Известия» резко отрицательной рецензии

под названием «Обывательский набат» на книгу Зощенко «О чем пел соловей».

*Декабрь* — второе издание книги «О чем пел соловей». Продолжаются многочисленные переиздания вышедших ранее сборников рассказов. Публикуются новые рассказы. Выходят в свет в заграничных и эмигрантских издательствах книги Зощенко «Веселая жизнь», «Уважаемые граждане», «О чем пел соловей», «Царские сапоги», «Черт знает что такое», «Рассказы».

**1928, январь** — восьмое издание книги «Уважаемые граждане». (Затем в течение года последовали девятое и десятое издания.) Выход в свет еще одной столь же капитальной книги его сатирических рассказов «Над кем смеетесь?!» (три издания за один год). Продолжается издание сборников рассказов Зощенко как приложений к журналам «Бегемот», «Смехач» и в дешевых массовых сериях крупных издательств. Выходят также новые книги в эмигрантских издательствах на русском языке. Выход в свет первой исследовательской книги о творчестве Михаила Зощенко в серии «Мастера современной литературы» в наиболее солидном советском издательстве «Academia».

**1929** — выходят в свет «Избранное», третье издание «О чем пел соловей», четвертое издание «Над кем смеетесь?!». Продолжает печататься в сатирических журналах и в эмигрантских издательствах. Издание новой книги — «Письма к писателю».

*Октябрь-декабрь* — выход в свет трех томов шеститомного собрания сочинений.

**1930, март** — издан четвертый том собрания сочинений.

*Май* — премьера пьесы М. Зощенко «Уважаемый товарищ». Изданы книги: «Лишние люди», повесть «Сирень цветет», второе издание «Избранного».

*Декабрь* — журнальная публикация повести «Воспоминания о Мишеле Синягине».

**1931, февраль** — издан пятый том собрания сочинений.

*Март* — книжное издание повести «Воспоминания о Мишеле Синягине».

*Июль* — вышел из печати шестой том собрания сочинений.

*Декабрь* — издание книги «Избранные рассказы».

**1932** — второе издание собрания сочинений (вышло в свет два тома).

**1933** — опубликованы: книга «Избранное», две комедии — «Свадьба» и «Преступление и наказание», повесть «Возвращенная молодость», отдельные рассказы в журнальной периодике.

*Август* — поездка в составе большой группы советских писателей на строительство Беломорско-Балтийского канала.

*Сентябрь* — Зощенко избирается председателем Ленинградского отделения Всероссийской комиссии по драматургии (Всероскомдрама).

**1934** — изданы книги: «Избранное», «Личная жизнь», «Рассказы», «Возвращенная молодость» (второе издание), «История одной жизни» (в первой публикации «История одной перековки»).

*Октябрь* — вселяется в собственную квартиру в писательском жилищном кооперативе.

**1935** — изданы книги: «Избранные рассказы», «Возвращенная молодость» (третье издание). Закончена журнальная публикация «Голубой книги».

**1936** — издано: «Голубая книга», «Исторические рассказы», «Забавное приключение», «История одной жизни» (второе издание), «Избранные рассказы».

*Июль* — участвует в похоронах М. Горького в Москве на Красной площади.

**1937** — в числе других писателей выступает на общем собрании и в печати с резким осуждением и требованием суровой кары известных «троцкистов», над которыми проходил показательный судебный процесс в Москве.

В течение года опубликованы новые произведения — «Шестая повесть И. П. Белкина» (к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина), повесть «Возмездие», первая книга Зощенко для детей «Смешные рассказы». Изданы книги: «Рассказы», «Избранные повести», «1935–1937. Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика».

**1938** — опубликована новая повесть — «Бесславный конец» («Керенский»), написанная к 20-й годовщине Октября. Вышла в свет книга «Рассказы 1937–1938». Избран в президиум Ленинградского отделения ССП.

**1939, февраль** — М. М. Зощенко награжден орденом Трудового Красного Знамени (в числе других советских писателей). Опубликована новая повесть «Тарас Шевченко». Изданы книги для детей «Умные животные», «Рассказы о Ленине». Выход в свет книги «Избранное». Покупка дачи в Сестрорецке.

Продолжается издание книг Зощенко за рубежом (в Риге).

**1940** — публикация пьесы «Опасные связи». Выходят книги для детей «Самое главное», «Хитрые и умные». Изданы книги: «Рассказы 1935–1937», «Уважаемые граждане».

1941 — переиздания книги «Рассказы о Ленине». М. Зощенко избирается в состав правления Ленинградского отделения ССП.

22 июня — начало Великой Отечественной войны.

В соавторстве с Евг. Шварцем пишет сатирическую антифашистскую пьесу «Под липами Берлина» (премьера состоялась в августе). *Сентябрь* — по распоряжению руководства города уезжает в эвакуацию (в ряду других наиболее известных невоеннообязанных писателей).

*Октябрь* — прибытие в Алма-Ату (Казахстан). Работает в сценарном отделе студии «Мосфильм».

1942 — пишет сценарии для «Мосфильма». Работает над повестью «Перед восходом солнца», материал к которой собирал в течение семи предвоенных лет. Публикует рассказы и фельетоны в «Крокодиле» и других журналах.

1943 — переезд в Москву — по вызову отдела культуры ЦК ВКП(б). Зощенко становится членом редколлегии журнала «Крокодил».

Журнал «Октябрь» публикует две части повести «Перед восходом солнца», после чего на публикацию налагается запрет. Обращение с письмом к Сталину с разъяснением цели своего сочинения и с просьбой помочь объективному подходу и оценке повести.

На расширенном заседании президиума ССП повесть «Перед восходом солнца» признается «антихудожественным, чуждым интересам народа» произведением. Зощенко выводится из редколлегии «Крокодила».

1944, январь — разносная статья «Об одной вредной повести» в журнале «Большевик», главном партийном журнале ЦК ВКП(б). Апрель — возвращение Зощенко в Ленинград.

Июнь — вызов на беседу в Ленинградское управление НКГБ.

1945 — после годичного перерыва начинает вновь печататься в периодике. В журнале «Мурзилка» опубликован детский рассказ «Приключения обезьянки».

1946 — в первой половине года: журнальная публикация комедии «Очень приятно»; премьеры комедий «Парусиновый портфель» и «Очень приятно»; издание книг «Фельетоны. Рассказы. Повести», «Избранные произведения», «Рассказы». В числе других писателей награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». По решению Ленинградского горкома ВКП(б) введен в состав редколлегии журнала «Звезда».

Во второй половине года: разгромное для художественной литературы постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», в котором главными фигурантами беспощадной критики явились М. Зощенко

и А. Ахматова. Второе письмо Зощенко Сталину. Исключение Зощенко (и Ахматовой) из Союза писателей. Фактический запрет на публикацию. Расторжение с Зощенко всех издательских договоров.

**1947** — публикация в журнале «Новый мир» десяти небольших «партизанских» рассказов из подготовленной целой книги «Никогда не забудете».

**1948** — приступает к переводческой работе. Опубликовано в переводе Зощенко повесть финского писателя Лассила «За спичками».

**1949–1950** — новые переводы с финского. Неудачные попытки опубликовать и получить разрешение на постановку комедии «Здесь вам будет весело».

**1953, июнь** — Михаил Зощенко заново принят в Союз писателей.

**1954** — на встрече с группой английских студентов выражает свое несогласие с личностными оскорблениями, которые были высказаны в его адрес в докладе Жданова в связи с постановлением ЦК ВКП(б). Подвергнут второму кругу проработки в печати и на собрании ленинградских писателей.

**1956** — издается книга М. Зощенко «Избранные рассказы и повести. 1923–1956».

**1957** — Ухудшение состояния здоровья.

**1958** — Последний приезд в Москву — по случаю празднования 90-летия со дня рождения Горького (в конце марта — начале апреля). Выход в свет книги «Рассказы и фельетоны». Резкое ухудшение состояния здоровья.

**22 июля** — Кончина М. М. Зощенко.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

### КНИГИ

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. М.: Гос. изд-во «История фабрик и заводов», 1934.

*Вольпе Ц. С.* Искусство непохожести: Михаил Зощенко. М.: Советский писатель, 1991.

Воспоминания о Михаиле Зощенко. СПб.: Художественная литература, 1995.

*Зощенко М. М.* Социальная грусть / Составление, вступ. статья, эссе «Алиби Михаила Зощенко», комментарии Б. С. Бубена. М.: Школа — Пресс, 1996.

Из архива печати. *Зощенко М. М.* Уважаемые граждане / Составление, вступ. статья, материалы к биографической хронике, комментарий и дополнения М. З. Долинского. М.: Книжная палата, 1991.

*Каверин В. А.* Эпилог: Мемуары. М.: Московский рабочий, 1989.

Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн.1. СПб.: Наука, 1997.

Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн.2. СПб.: Наука, 2000.

Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн. 3. СПб.: Наука, 2002.

Литературное наследство. Т. 70 (М. Горький и советские писатели). М.: Наука, 1963.

*Мандельштам Н. Я.* Вторая книга: Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1990.

*Мандельштам О. Э.* Сочинения. В 2 т. Т. 2. Проза. М.: Художественная литература, 1990.

Мих. Зощенко. Мастера современной литературы. Л.: Academia, 1928.

Михаил Зощенко в воспоминаниях современников. М.: Советский писатель, 1981.

Неизвестная Россия. XX век. М.: Историческое наследие, 1992.

*Рубен Б. С.* Алиби Михаила Зощенко: Повествование с документами. М.: Аграф, 2001.

*Чуковский К.И.* Дневник (1901–1929). М.: Советский писатель, 1991.

Чуковский К. И. Дневник (1930–1969). М.: Современный писатель, 1995.

Чуковский К. И. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2 [ «Современники»]. М.: Художественная литература, 1965.

Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: Изд. дом «Медуза», 1993.

## ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ

Бабиченко Д. «Повесть приказано ругать...»: Политическая цензура против Михаила Зощенко // Коммунист. 1990. № 13.

Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Культура и жизнь. 1946. 30 сентября.

Зощенко В. Так начинал Михаил Зощенко // Вопросы литературы. 1975. № 10.

К 100-летию со дня рождения М. М. Зощенко // Звезда. 1984. № 8. М. М. Зощенко. Из писем и дневниковых записей (1917–1921 гг.) Публикация Ю. Томашевского / Новый мир. 1984. № 11.

Об одной вредной повести // Большевик. 1944. № 2.

«Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации». М. М. Зощенко: письма, выступления, документы 1943–1958 годов Публикация Ю. Томашевского / Дружба народов. 1988. № 3.

Сарнов Б., Чуковская Е. Случай Зощенко // Юность. 1988. № 8. Серапионовы братья о себе // Литературные записки. 1922. № 3. Синявский А. Мифы Михаила Зощенко // Вопросы литературы. 1989. № 2.

Чумандрин М. Чей писатель Михаил Зощенко? // Звезда. 1930. № 3.

---

---

notes

## **Примечания**

А. М. Еголин (1896–1956) — в 1934–1944 гг. заведом художественной литературы, замначальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В 1946 г. утвержден главным редактором журнала «Звезда».

Речь идет о статье А. М. Еголина «За высокую идейность советской литературы», опубликованной в 10–11 (май — июнь) номере журнала «Большевик» за 1944 г.

*Д. А. Поликарпов* (1905–1965) — в 1943 г. председатель Комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР, в 1944 г. был назначен оргсекретарем правления ССП СССР.

Имелась в виду статья Н. С. Тихонова «Отечественная война и советская литература», опубликованная в 3–4 номере журнала, в основу которой было положено его выступление как председателя правления ССП на девятом расширенном пленуме ССП СССР в начале февраля 1944 г. в Москве.

*Б. П. Корнилов* (1907–1938) — советский поэт. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.

*П. Н. Васильев* (1910–1937) — русский советский поэт. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.

*Я. С. Агранов* (1893–1939) — в 1930 г. начальник секретного отдела ОГПУ.

*В. В. Полонская* — актриса МХАТа и театра им. Ермоловой.

*А. А. Прокофьев* (1900–1971) — советский поэт.

*Г. И. Мирошниченко* (1904–1985) — советский писатель.

А. А. Кузнецов (1905–1950) — в 1944–1946 гг. первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). С апреля 1946 г. секретарь ЦК ВКП(б). Курировал органы внутренних дел и госбезопасности. Расстрелян в связи с так называемым «ленинградским делом» 1 октября 1950 г. 30 апреля 1954 г. был полностью реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР.

*В. С. Абакумов* (1908–1954) — в 1946–1951 гг. министр государственной безопасности СССР. В июне 1951 г. исключен из партии и арестован. В декабре 1954 г. по приговору военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян.

Материал на М. М. Зощенко был направлен В. С. Абакумовым А. А. Кузнецову, так как тот по решению Оргбюро ЦК ВКП(б) от 9 августа 1946 г. входил в комиссию по разработке проекта постановления ЦК «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

*Н. Н. Тимофеев* (1898–1979) — в 1943 г. главный психиатр Красной армии.

В. А. Кочетов.

Аплодировали И. Метгер, А. Володин, И. Шварц, В. Глинка, И. Кичанова-Лифшиц.

Тося — жена Валерия (Вали) Зоценко.

Ольга — женщина, помогавшая В. В. Зоценко по хозяйству.

Леся — приятельница В. В. Зощенко.

Вера — младшая сестра В. В. Зоценко.

Максимович — врач, пользовавшийся доверием М. М. Зощенко.

Лера — племянница М. М. Зоценко.

*Л. Пантелеев (Алексей Иванович Еремеев)* — прозаик детский писатель. *Л. К. Чуковская* — писательница, дочь К. И. Чуковского.

*Элико Семеновна Пантелеева — жена Л. Пантелеева.*

Заурядные ленинградские писатели-лапповцы 20–30-х годов.

Имеются в виду тайное отпевание Пушкина и перевозка в Москву гроба с телом Чехова.